Чулков Георгий Иванович
Императоры: Психологические портреты

Содержание

Г. И. Чулков — писатель, ученый, революционер

Литературная история России первых десятилетий XX века до сих пор изучена далеко не полностью, и не все ее явления, в том числе и выдающиеся, современному читателю достаточно известны: многие события и факты этой истории затерялись, забылись, по разным причинам на долгое время исчезая из поля зрения читателей и вновь возникая годы и даже десятилетия спустя, а некоторые имена и произведения возвращаются из забытья только сегодня.

К числу несправедливо забытых и почти вычеркнутых из литературной истории принадлежат многие писатели

предреволюционной России, писатели-эмигранты, наконец, писатели, пострадавшие или отстраненные от литературной деятельности в период сталинизма. Среди таких давно забытых писателей оказался и Георгий Иванович Чулков, в предреволюционные годы известный поэт и прозаик, литературный и театральный критик, а после революции — литературовед и историк, издатель русского классического наследия, мемуарист.

С первых лет столетия до своей смерти в 1939 году Чулков был активнейшим участником литературной жизни не только как писатель, выступавший в разных жанрах, но и как искусный и тонко чувствующий дыхание времени организатор этой жизни. «У Чулкова было какое-то, — пишет Г. Д. Хохлов, — поэтическое чутье, которое помогало ему улавливать творческое дыхание современности...»{1} Однако оригинальность и обаяние Чулкова как одного из примечательных литературных деятелей своей эпохи было не просто в его поэтическом чутье, но и в широте, а порою и необычности его творческих интересов, в основательности знаний, в умении [5] всегда быть в самой гуще событий общественной, культурной и литературной жизни страны.

Обширность и многообразие давно не переиздававшегося литературного наследия Чулкова, отсутствие и несобранность биографических сведений до сих пор не дают возможности составить исчерпывающее представление о роли и месте писателя в культурной, литературной и общественно-политической жизни страны от начала века до лет, непосредственно предшествовавших Великой Отечественной войне. Однако, предваряя разговор о Чулкове как авторе возвращаемых читателю психологических очерков «Императоры», необходимо хотя бы несколько слов сказать о его жизни, литературной и революционной деятельности.

Георгий Иванович Чулков родился в Москве в 1879 году в дворянской семье, не чуждой литературных интересов. Достаточно сказать, что он был племянником двух популярных в то время драматургов В. А. Александрова и И. В. Шпажиннского, в имениях и салонах которых завязались его первые литературные и особенно театральные знакомства (К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, М. Л. Роксанова, М. Н. Ермолова и др.). Здесь же состоялись его первые выступления в любительских спектаклях в качестве драматурга, а порою и актера.

Социально-философские и художественно-эстетические воззрения будущего писателя формировались в напряженной атмосфере кануна первой русской революции. «Два демона были моими спутниками отроческих лет — демон поэзии и демон революции», — вспоминал он позднее. Они во многом и предопределили его будущее. В 1898 году, после окончания Московской классической гимназии, Чулков стал студентом медицинского факультета Московского университета, но медиком или биологом ему стать было не суждено. «...И в естествознании, и в философии я остался дилетантом. Литература влекла к себе неудержимо», — писал он в автобиографии. В 1902 году за организацию политической демонстрации в защиту рабочих Чулков был арестован и сослан в улус Амга Якутской области (три тысячи верст от железной дороги), где за несколько лет до него коротал свои ссыльные дни В. Г. Короленко. Ссылка дала Чулкову жизненный опыт и материал для многих его произведений, закалила духовно и физически, научила упорству и настойчивости в достижении поставленных целей: в последующей литературной деятельности, полной борьбы, оживленных полемик и редакционно-издательских хлопот, эти качества оказались весьма полезными и обусловили успех многих его начинаний. [6]

В автобиографии, хранящейся в Пушкинском доме, в собрании С. А. Вонгерова, Чулков сообщает: «Писать начал с тринадцати лет». Первым печатным выступлением будущего писателя стал рассказ «На тот берег», появившийся в московской газете «Курьер» в 1899 году. Профессиональным же литератором он стал позже, уже после возвращения из сибирской ссылки, когда получил разрешение проживать в Нижнем Новгороде. Постоянный, увлеченный и деятельный сотрудник газеты «Нижегородский листок», Чулков накануне первой русской революции печатает на ее страницах стихи, небольшие рассказы и серьезные литературно-критические и публицистические статьи, а пишет он в это время много, беспрестанно расширяя проблематику своих произведений, пробуя силы то в поэзии, то в прозе, то в критике или публицистике, уверенно и настойчиво завоевывая известность в литературных кругах.

Знаменательным в творческом развитии Чулкова как писателя и мыслителя стал 1905 год, отмеченный в его жизни двумя важными событиями: во-первых, он получил разрешение проживать в столицах и переехал в Петербург; во-вторых, тогда же судьба свела его с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, поручившими ему секретарские обязанности в издаваемом ими журнале «Новый путь». К этому времени Чулков уже заслужил репутацию многостороннего и широко образованного человека, не чуждого революционных и поэтических увлечений: как поэт и прозаик он по своим взглядам и творческим принципам принадлежал к группе «младших» символистов, вдохновителем и выдающимся представителем которых был Александр Блок. Между ними установились теплые, дружеские отношения, особенно оживленные в 1907 — 1908 годах: Блоку Чулков посвятил стихотворение «Да, мы убоги, нищи, жалки...». Впрочем, к художественному творчеству Чулкова А. Блок относился достаточно сдержанно и большого значения ему не придавал,

но и не считал возможным выступать с критическими приговорами в адрес произведений писателя, ему близкого и им уважаемого.

Идейные и художественные тенденции «младших» символистов четко просматриваются во всех поэтических произведениях Чулкова, особенно относящихся к первым годам нашего века. Они заметны в стихах первой книжки Чулкова — «Кремнистый путь» (М., 1903), а также в его последующих поэтических сборниках «Весною на Север» (СПб., 1908), «Золотая ночь» (Пг., 1916), в поэме «Мария Гамильтон» (Пг., 1922), в его переводах из Метерлинка и Верхарна. Творческие

позиции совершенно откровенно заявлены Чулковым на страницах журналов «Новый путь», «Вопросы жизни», в альманахе «Факелы», издававшемся им в 1906 — 1907 годах: формулируя свое понимание современного литературного развития, Чулков выдвинул теорию так называемого «мистического анархизма», представляющую собою неудачную попытку совмещения символизма с практическим радикализмом. Позднее сам Чулков признал неконструктивность «мистического анархизма», тем не менее полемика вокруг него стала знаменательным явлением литературной жизни эпохи. «С 1904 до 1908 года, — справедливо отмечает в автобиографии Чулков, — я был во власти мучительного вихря литературных споров, которые совпали не случайно с грозными днями нашей революции. Мои повествовательные опыты вернули меня тишине». Действительно, это был самый бурный и тревожный период в творческой биографии писателя: его имя не сходило со страниц журналов и газет, привлекая к себе всеобщее внимание и находясь в центре жарких споров, дискуссий и полемических схваток.

Обсуждение теории «мистического анархизма», в котором такое деятельное участие принимал Чулков, сыграло свою роль в развитии отечественной критической мысли, литературной и театральной. Многочисленные его выступления в этой области в основном посвящены проблеме «кризиса символизма» на общем фоне развития литературы и театрального искусства начала XX века. Впрочем, среди критических работ увлеченного символизмом поэта встречаются и обстоятельные, не лишенные проницательности и тонкого художественного чутья статьи, посвященные Чехову, Горькому, А. Добролюбову и другим писателям, далеким от символистского искусства или относящимся вообще к иным эпохам (Тургенев, Тютчев и др.). Собранные вместе, литературно-публицистические и критические статьи в 1909 году были изданы отдельной книгой под названием «Покрывало Изиды», которая представила читателю Чулкова как одного из авторитетных критиков своего времени, сумевшего заинтересовать современников оригинальными размышлениями о литературно-театральном движении и его дальнейшем развитии в стране (статья «Принципы будущего театра»).

Статьи и рецензии Чулкова прокладывали дорогу новому театру: именно в эти годы идея символистского театра носилась в воздухе, но еще не было театрального деятеля, который бы «дерзнул на рискованный опыт». Таким деятелем вскоре стал В. Э. Мейерхольд, не без помощи Чулкова перебравшийся в Петербург. Его репертуар и театральные принципы [8] стали предметом постоянного внимания Чулкова, приветствовавшего реформу театра и всегда связывавшего ее с именем Мейерхольда. Выступления Чулкова как театрального критика способствовали возникновению зыбкого и непродолжительного творческого содружества В. Ф. Комиссаржевской и В. Э. Мейерхольда, отмеченного возобновлением постановки «Кукольного дома»

и перенесением на. театральную сцену замечательной феерии Блока «Балаганчик».

В 1910 году, когда утихли споры по поводу «мистического анархизма», Чулков полностью посвящает себя прозе: в дореволюционную пору пользовались известностью его романы «Сатана», «Метель», «Сережа Нестроев», сборники рассказов «Люди в тумане», «Посрамленные бесы». Многие рассказы Чулкова изобилуют автобиографическими параллелями, в основном относящимися к революционным страницам жизни писателя.

Февральскую революцию Чулков встретил восторженно и сразу же включился в литературную работу, регулярно выступая по вопросам культуры и общественно-политической жизни на страницах издававшейся им газеты «Народоправство». С наступлением революции завершился тот этап в творчестве Чулкова, который был связан с его практическим и теоретическим участием в развитии символистского искусства в России. Конечно, нельзя сказать, что после революции коренным образом изменились воззрения Чулкова, но теперь в литературном творчестве он стал обращаться к исторической тематике, которая ранее его не увлекала. Занятия историей русского общественного и литературного движения вскоре захватили его настолько, что стали широко известными в научных кругах и главенствующими во всей его деятельности. В эти годы он работает в литературе и в науке с той же поразительной настойчивостью и неутомимостью, с упорством и удивительной плодовитостью, как и в дореволюционные годы. «В сущности, я стал настоящим писателем именно после Октябрьской революции, а у меня репутация дореволюционного литератора», — сетовал он в написанных на закате жизни воспоминаниях.

Психологическая проза в творчестве Чулкова в послереволюционные годы уступила место прозе исторической: появляются повести, психологические очерки, историко-публицистические эссе, посвященные декабристам и связанные с пушкинско-декабристской эпохой: «Мятежники 1825 года» (1925), «Братья Борисовы» (1929), Salto mortale, или Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском» (1930), ненапечатанными остались биографическая повесть о Рылееве, [9] роман о петрашевцах. Параллельно с декабристской темой в деятельности Чулкова развиваются серьезные пушкиноведческие интересы, реализуемые в десятках статей, публикаций, рецензий, посвященных Пушкину. Углубившись в изучение его творчества, Чулков вскоре пришел к мысли о необходимости создания научной биографии поэта. Будучи великим тружеником и человеком решительным, Чулков, не откладывая дела в долгий ящик, взялся за ее создание, и в 1927 году написанная им биография поэта появилась на страницах журнала «Новый мир», а в следующем году вышла отдельным изданием, почти одновременно с аналогичными трудами Н. Л. Бродского и Л. П. Гроссмана. Правда, критика встретила эту работу Чулкова далеко не восторженно, отмечая ее методологическое несовершенство, но тем не менее она сыграла свою роль и оказалась весьма полезной для дальнейшего развития советского пушкиноведения.

Будучи приверженцем психологического метода Достоевского в своей художественной практике, Чулков в 1920-е годы обратился к наследию великого писателя в своей научной деятельности и стал одним из виднейших в стране исследователей его творчества. Он выступает с лекциями, докладами и статьями о Достоевском, входит в редколлегию его Сочинений, наконец, в результате упорных и длительных разысканий создает капитальную монографию «Как работал Достоевский», изданную в 1939 году. Это была последняя

книга Чулкова, увидевшая свет при его жизни. Творческая лаборатория Достоевского и история создания многих его шедевров впервые стали предметом внимательного изучения, основанного на глубоком анализе многочисленных и разнообразных документально-биографических источников.

Историко-литературные интересы Чулкова поразительно широки и многообразны: декабристское движение, биография Пушкина, творческая лаборатория Достоевского. Он до сих пор остается одним из самых авторитетных исследователей биографии и творчества Ф. И. Тютчева. Начав с изучения проблемы «Тютчев и Запад» (статьи «Тютчев и Гейне», «Переводы Ф. И. Тютчева из «Фауста» Гете»), он перешел к изучению биографии Ф. И. Тютчева, выпустив в 1928 году небольшую книжку «Последняя любовь Тютчева», а в 1933 году подвел итоги биографических исследований изданием капитальнейшей «Летописи жизни и творчества Ф. И. Тютчева», и посейчас сохраняющей свое научное значение. Эта работа — первый свод биографических сведений о писателе, за которым последовали подобные же своды, посвященные Некрасову, Достоевскому, Тургеневу, Пушкину. Можно сказать, [10] что Чулков был одним из основателей жанра летописи жизни и творчества писателей в советском литературоведении. Много сделал Чулков для собирания и издания наследия Тютчева: в 1922 году он подготовил и со своим комментарием издал книгу «Тютчевиана. Эпиграммы. Афоризмы. Остроты», в 1926 году выходят «Новые стихотворения» Ф. И. Тютчева под редакцией и с примечаниями Чулкова, а в 1933 — 1934 годах он выступает в качестве редактора Полного собрания сочинений Ф. И. Тютчева.

Перечисленные направления, связанные с именами декабристов, Пушкина, Достоевского, Тютчева, не исчерпывают всей деятельности Чулкова в эти годы. Он упорно занимается изучением российской истории, при этом

не ограничивая себя только ее революционными эпизодами, а рассматривая их на широком фоне исторического развития страны. В контексте исторических интересов Чулкова выделяется проблема власти, олицетворявшейся в России на протяжении трех столетий представителями царствовавшего дома Романовых. Именно им и посвятил Чулков одну из своих последних книг, которая так и называется: «Императоры». Эта книга вышла в свет в 1928 году, но материалы для нее собирались и жанр психологического очерка осваивался автором на протяжения нескольких лет параллельно с его историческими занятиями.

Жанр психологического портрета в России, намеченный Ключевским, к тому времени еще окончательно не сложился, но тем не менее в творчестве позднего Чулкова он занял видное место: двумя годами раньше «Императоров» Чулков в этом жанре написал и издал книгу «Мятежники 1825 года», содержавшую восемь очерков, посвященных выдающимся деятелям декабристского движения. В книге «Императоры» объединены психологические портреты пяти царей, занимавших русский престол в XIX веке (от Павла I до Александра III). Обращение поэта-символиста и участника революционного движения к художественному осмыслению образов русских царей, прежде всего в их психологической характеристике, вызвано желанием раскрыть «внутреннюю трагедию павшей монархии».

История русской монархии стала предметом разысканий и исследований еще в дореволюционную пору, когда появились труды Н. К. Шильдера, К. Валишевского, В. А. Бнльбасова, Д. Кобеко и др. Многочисленные научные публикации, раскрывавшие политическую, социальную и даже бытовую историю ушедшей в прошлое монархии, появлялись и в первые послереволюционные годы, но все они были ориентированы на специальную аудиторию, для массового

же читателя [11] эта тема долгое время оставалась раскрытой далеко не полностью, а порою и запретной.

Одним из инициаторов художественной разработки ее в России в 1920-е годы был Чулков. Работая над книгой «Императоры», он тщательно обследовал массу источников, проливающих свет на историю романовской династии и деятельность известнейших ее представителей: в книге использованы исторические документы, переписка Романовых, мемуары современников, исторические исследования, художественная литература, а иногда и собственные впечатления о событиях, особенно в главе об Александре III, в царствование которого прошли детские и юношеские годы Чулкова. Основанная на обширном историческом материале, книга «Императоры» тем не менее представляет собою но научное исследование, а художественное произведение: в ней художественное преобладает над историческим, впечатление над фактом. В ной Чулков отказался от политизации образов царей и представления их жизни и деятельности исключительно в негативном освещении. Цари у Чулкова обыкновенные люди, наделенные всеми человеческими достоинствами и пороками: они не только угнетают народ, но порою совершают и благородные поступки, принимают полезные и даже мудрые решения, грустят и переживают, ревнуют и пьянствуют, замаливают грехи, болеют, боятся смерти, то есть перед читателем проходит вереница не политических манекенов, а череда живых людей, олицетворявших высший эшелон политической власти России, исторически точно и беспристрастно изображенный автором, И с исторической, и с художественной точки зрения книга Чулкова в те сложные времена удовлетворила читателя и пользовалась огромной популярностью. Эмигрантская газета «Воля России» писала, что в книге Чулкова «нет серьезных ошибок, это все, что можно от нее требовать». Такая оценка является, пожалуй,

лучшей похвалой книге, которая сохраняет не только историко-познавательное, но и художественное значение и в наши дни.

В. Баскаков

Предисловие автора

В то время как голова Людовика XVI скатилась в корзину гильотины{2}, русская самодержавная императрица Екатерина II еще доживала благополучно свой пышный век. Крестьянско-казацкое восстание Заволжья{3}, задушенное ею в 1774 году, было полузабыто, и цесаревич, опальный, но ревниво мечтавший о короне, не хотел верить, что его судьба будет подобна судьбе несчастного короля. Однако и он был убит бесславно, как его коронованный «брат», правда не всенародно, а в собственной дворцовой спальне руками пьяных гвардейцев.

В книге, предложенной вниманию читателей, я начинаю мой рассказ об императорах именно с Павла, ибо этот государь начал собою то столетие, которое было последним для романовской династии и которое носило на себе на всех этапах своего бытия печать гибели. Петербургская монархия, такая огромная и сложная, пала десять лет тому назад не случайно, конечно: ее падение было предопределено многообразными условиями — экономическими, социальными и политическими. Это дело социологов вскрыть бесстрастным анализом те внутренние язвы, какие стали смертельными для империи. Мое задание было иное.

Я хотел написать портреты пяти царей, которые игрою исторических сил стояли в центре событий, подготовлявших крушение старого порядка. Иные ревнители этого ветхого порядка воображали, что они защищают царское

самодержавие, и противопоставляли эту свою идею эгалитарному{4} народовластию. На самом деле никакого самодержавия в петербургский период [13] русской истории не было. Сами цари были игрушкою в руках правящих классов. И романтикам не следует тешить себя напрасно мечтою о «сыновстве» народа и о «царе-батюшке».

Император Павел верил в свое провиденциальное право быть главою не только государства, но и церкви. Эту мысль внушили ему прусские масоны, когда он был еще наследником, в надежде, что могущественный русский император будет им полезен для их целей. Но безумный государь ничего не успел сделать. Однако, как это ни странно, его болезненная мечта, почерпнутая из столь двусмысленного источника, стала как бы «идеей», а потом даже и официальной доктриной нашей монархии.

Если эта идея нисколько не влияла на объективный исторический процесс, зато она имела немалое значение для психологии самих государей. В моих рассказах я старался раскрыть эту внутреннюю трагикомедию павшей монархии. Вот почему в самом изложении фактов я как бы становлюсь время от времени на точку зрения самих царей.

Такова задача портретиста и психолога.

Мне кажется, наступило время, когда мы можем писать не только страстные памфлеты против поверженных монархов, но и спокойно зарисовывать их личины. События и люди красноречивы сами по себе.

Георгий Чулков

Сентябрь 1927 г.

Император Павел

I

В комнате было душно, жарко и пахло пряными духами и еще чем-то — должно быть, распаренным человеческим телом. Шторы были спущены; мерцал ночник, и, хотя был день, с трудом можно было различить в полумраке согбенные фигуры женщин в огромных кринолинах; старухи, темные и недвижные, были похожи на больших сонных птиц, которые расположились на вечерний покой. Нахохлившись, они сидели вокруг пышной колыбели, где были навалены какие-то покровы и ткани. Тут был лисий черно-бурый мех, стеганное на вате атласное одеяло, бархатное одеяло, еще какое-то одеяло, и под этой грудой задыхался на перинах крепко и плотно спеленутый младенец{5}.

Когда молодую великую княгиню, бывшую ангальт-цербстскую принцессу, Софию-Августу-Фридерику, именовавшуюся теперь Екатериной, ввели в эту комнату, она едва не лишилась чувств от спертого воздуха и сладкого дурмана духов. Ей дали восковую свечу, и когда княгиня решилась поднять кисею колыбели, она увидела крошечное розовое личико с двумя темными и мрачными глазами, совсем не по-младенчески глянувшими на нее. Нос у младенца был смешной, как пуговица.

Это жалкое крошечное существо был будущий «самодержец всероссийский, князь эстляндский, лифляндский, курляндский, повелитель и государь царей грузинских, наследник норвежский, герцог шлезвиг-голштинский и ольденбургский, великий магистр Державного ордена святого Иоанна Иерусалимского и прочая и прочая». [16]

С первых дней своего существования этому самодержцу пришлось испытать невыносимую духоту царской спальни. Императрица Елизавета{6}, фрейлины и мамушки душили ребенка пеленками и одеялами, как будто желая

приуготовить его к тому шарфу, который затянули ему на шее пьяные гвардейцы 11 марта 1801 года.

Кто был этот младенец? Чей был он сын? До сих пор никто этого не знает. Сам он был убежден, что Петр III, бывший герцог голштейн-готторпский, злополучный император, год кривлявшийся на русском троне и потом задушенный одним из деятелей 1726 года, был действительно его отцом. Другие сомневались в этом, предполагая, что отцом Павла был Салтыков, любовник Екатерины. Иные уверяли, что от красивого Салтыкова не мог родиться курносый мальчик и что Екатерина родила мертвого ребенка, которого заменили новорожденным чухонцем из деревни Котлы, расположенной недалеко от Ораниенбаума{7}.

Жизнь Павла оказалась не менее загадочной и фантастичной, чем его происхождение.

Та, которую он считал впоследствии своей матерью, редко появлялась у его колыбели. Зато императрица Елизавета навещала младенца раза два в сутки, иногда вставала с постели ночью и приходила смотреть будущего императора. Подрастая, он привык к женщинам — к фрейлинам, к нянькам — и боялся мужчин. В 1760 году, когда Павлу не было и шести лет, Елизавета Петровна назначила камергера Никиту Ивановича Панина{8} обер-гофмейстером при Павле. Панину было тогда сорок два года. Он почему-то казался маленькому цесаревичу угрюмым и страшным стариком. Его парик и голубой кафтан с желтыми бархатными обшлагами внушали ребенку непонятное отвращение. Он встретил своего воспитателя слезами, полагая, что теперь у него отнимут мамушек и все «веселости». Впрочем, он скоро должен был получить новые впечатления, которые заинтересовали его не менее, чем игры с няньками. Он присутствовал на спектакле, где французские актеры декламировали пышные монологи и где юные

девицы танцевали прелестно, восхищая зрителей. Когда ему минуло шесть лет, иностранные посланники представлялись ему торжественно. Это было немного страшно, но он уже чувствовал, что его судьба необычайна, что он предназначен быть повелителем. [17]

Но будущему императору надо было учиться. Грамоте его стали учить уже в 1758 году и тогда же надели на него модный кафтанчик и парик, который одна из нянь заботливо окропила святой водой.

Странный страх всегда сопутствовал Павлу с младенческих лет. Ему постоянно мерещилась какая-то опасность. Хлопнет где-нибудь дверь — он лезет под стол, дрожа; войдет неожиданно Панин — надо спрятаться в угол; за обедом то и дело слезы, потому что дежурные кавалеры не очень-то с ним нежны, а мамушек и нянюшек нет: их удалили, ибо они рассказывают сказки, поют старинные песни и вообще суеверны, а цесаревич должен воспитываться разумно. Ведь то был век Вольтера и Фридриха Великого. Тогда еще Павел не увлекался коронованным прусским вольнодумцем{9}, и ему были милы сказки про бабу-ягу. Впрочем, это не мешало мальчику обнаруживать способности к наукам и остроумие. Однажды после урока истории, когда преподаватель перечислил до тридцати дурных государей, Павел крепко задумался. В это время от императрицы принесли пять арбузов. Из них только один оказался хорошим. Тогда цесаревич сказал: «Вот из пяти арбузов хоть один оказался хорошим, а из тридцати государей ни одного!»

Императрица Елизавета умерла в 1761 году, когда Павлу было семь лет. Петр Федорович по своему легкомыслию не мог заняться воспитанием маленького Павла. Впрочем, однажды голштинские родственники принудили его посетить какой-то урок цесаревича. Уходя, он сказал громко: «Я вижу, этот плутишка знает предметы лучше нас». В знак своего

благоволения он тут же пожаловал Павла званием капрала гвардии.

То, что случилось летом 1762 года, осталось в памяти Павла на всю жизнь. 28 июня, утром, когда Павел не успел еще сделать свой туалет, в его апартаменты в Летнем дворце в Петербурге вошел взволнованный Никита Иванович Панин и приказал дежурному камер-лакею одеть цесаревича поскорее. Впопыхах напялили на него первый попавшийся под руки камзол и потащили в коляску, запряженную парой. Лошади помчали Панина и его воспитанника к Зимнему дворцу. Маленький Павел дрожал, как в лихорадке, и, пожалуй, на этот раз для его испуга были немалые причины. В эту ночь Екатерина была провозглашена [18] императрицей. Павла вывели на балкон и показали народу. На площади толпились простолюдины, купцы и дворяне. Проходившие гвардейцы, расстраивая ряды, буйно кричали «ура». Эти крики пугали мальчика, и он почему-то думал о том, которого считал своим отцом. В Зимнем дворце был беспорядок. Придворные и офицеры толпились в шляпах, и Павлу послышалось, что кто-то говорит «наш кривляка», «наш дурачок», и какой-то камергер, заметив Павла, дернул болтуна за рукав. О ком они говорили? О каком кривляке? О каком дурачке?

Впоследствии Павел все узнал. Он узнал, как Екатерина совершила свой победный поход во главе гвардии в Петергоф и как ее растерявшийся супруг, отрекшийся от престола, был отвезен в Ропшу. Он нашел также в бумагах Екатерины после ее смерти письмо Алексея Орлова: «Матушка, пощади и помилуй, дурак наш вздумал драться, мы его порешили»...{10}

Но Павел не считал дураком Петра Федоровича и даже любил его. Этот человек не успел еще обидеть чем-нибудь мальчика. А Никита Иванович Панин, к которому Павел скоро привык,

внушал ему искусно некоторые странные и беспокойные мысли об императрице. Нашлись и другие, которые растолковали мальчику, что после смерти Петра III надлежало императором быть ему, Павлу, а супруга удавленного государя могла быть лишь регентшей и правительницей до его, Павла, совершеннолетия. Павел это очень запомнил. Тридцать четыре года думал он об этом дни и ночи, тая в сердце мучительный страх перед той ангальт-цербстской принцессой, которая завладела российским престолом, вовсе не сомневаясь в своем праве самодержавно управлять многомиллионным народом.

Итак, надо было воспитывать наследника. Екатерина решила действовать энергично. Поклонница западной цивилизации, она решила пригласить воспитателем Даламбера. Но из этого ничего не вышло. Он отверг предложение императрицы, как отверг приглашение Фридриха Великого, который предлагал ему свое гостеприимство. Знаменитый энциклопедист, намекая на «геморроидальные колики», от которых, по официальной версии, умер Петр III, писал Вольтеру: «Я очень подвержен геморрою, а он слишком опасен в этой стране», то есть в России.

Пришлось ограничиться российскими воспитателями. [19] Среди них был, между прочим, известный своими «Записками» Семен Андреевич Порошин{11}, человек весьма честный и образованный. Кроме того, учили цесаревича Эпинус{12} и Остервальд. Павел изучал историю, географию, математику, русский язык, немецкий, французский. Знал немного по-латыни. Позднее других приглашен был в качестве преподавателя архимандрит Платон{13}, впоследствии митрополит. Прежде чем назначить этого монаха учителем, его пригласили на обед ко двору, и сама императрица с ним беседовала, желая убедиться в том, что будущий воспитатель цесаревича не суеверен. Ученица Вольтера, как известно, больше всего опасалась суеверий. По-

видимому, Платон с честью выдержал экзамен и был допущен как доверенное лицо к наследнику престола. Но положение его было трудное. Князь Щербатов, автор известного сочинения «О повреждениях нравов», писал, между прочим, что Екатерина «закон христианский (хотя довольно набожной быть притворяется) ни за что почитает...». «И можно сказать, — поясняет Щербатов, — что в царствование ее и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала...» Такого же мнения о Екатерине был и вольнодумец Фридрих прусский, который был уверен, что она, притворяясь благочестивой, в сущности, вовсе не религиозна. Впрочем, строгий монах, храня веру, удивлял, однако, своим красноречием и ученостью даже скептиков. Его книги известны были в Европе. Сам Вольтер лестно отзывался о силе его проповедей. У несчастного Павла не было недостатка в разнообразных воспитателях. Известная пословица «у семи нянек дитя без глаза» лучше всего определяла его судьбу. В самом деле, кто окружал Павла? Образованный, но ленивый и не всегда искренний Панин; екатерининские вельможи, подражавшие виконтам и маркизам Людовика XVI; голштинские и прусские выходцы, застрявшие в России после бесславной гибели их царственного покровителя, — все эти люди не очень стеснялись в присутствии малолетнего наследника, и на обедах, которые ежедневно устраивал Панин, Павел слышал подчас разговоры весьма двусмысленные, смущавшие его детский ум. Те, которые не утратили еще аппетита к жизненным усладам, говорили за стаканом вина о сердечных причудах, и скоро подраставший Павел стал интересоваться любовными темами, которые в ту эпоху назывались «маханием». [20]

За обедами велись также и политические разговоры, причем мальчик догадывался, что не все были довольны политикой Екатерины. Приходилось ему нередко слышать и цитаты из

«Девственницы» Вольтера, которые комментировались придворными вольнодумцами так, что мальчик невольно сопоставлял их, недоумевая, со строгими поучениями своего воспитателя Платона. О быте дворца и личности отрока Павла можно составить себе представление по дневнику его учителя Порошина. Дневник начинается как раз с 20 сентября 1764 года, дня рождения цесаревича. Ему исполнилось тогда десять лет. Архимандрит Платон произнес после обедни в назидание мальчику проповедь на тему — «В терпении стяжите души ваша». Были официальные поздравления. Потом «его высочество с танцовщиком Гранжэ менуэта три протанцевать изволил». Вечером был бал и ужин. Вот обстановка, в которой складывался характер цесаревича. Десятилетним мальчуганом ему уже приходилось выступать на торжествах и танцевать на балах не только с Гранжэ, но и с фрейлинами императрицы. Это не мешает ему иногда капризничать и даже плакать, как ребенку, и Панину приходилось «гораздо журить» воспитанника. Порошин заметил в мальчике непостоянство его симпатий. У него, оказывается, «наичеловеколюбивейшее сердце», и он вдруг «влюбляется почти в человека, который ему понравится», но так же быстро он склонен разочароваться в своем увлечении. Вся тогдашняя дворцовая повседневность проходит перед нами, и мы видим маленького Павла т« за уроком физики, то на балете «Наказанная кокетка», то на приеме иностранных дипломатов… В учении — особенно в математике — он делает успехи, несмотря на рассеянность, и Порошин замечает по этому поводу: «Если бы его высочество человек был партикулярный и мог совсем предаться одному только математическому учению, то бы по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем»{14}.

Павел много и внимательно читает. Если иногда его суждения бывают опрометчивы, как это случилось однажды в его разговоре о Ломоносове, он всегда готов признать свою

ошибку. Он, конечно, знает не только Сумарокова, Ломоносова, Державина и прочих российских пиитов, но и западных писателей. Театр Расина, Корнеля, Мольера ему хорошо известен. Он твердит [21] наизусть монологи из «Федры», «Атали»{15} и классических французских комедий. Он знает Вольтера. Он имеет понятие о Руссо. Он жадно читает странную и увлекательную книгу великого испанца о том изумительном рыцаре, который был так великодушен, добр, умен, храбр, благороден и так... смешон{16}. Маленькому Павлу хочется покинуть дворец, где за ним бродят, как тени, придворные лакеи; где умный, но слишком озабоченный, самолюбивый и суетный Панин распоряжается его судьбой, как опекун; где так неуютно и жутко. Ему хочется, как этому — чудаку Дон-Кихоту, уехать куда-нибудь в поисках прекрасной Дульцинеи, не боясь насмешек. За торжественными обедами, особенно когда присутствует императрица, у Павла начинается необъяснимая тоска, и он плачет, смущая иностранных дипломатов и вызывая гнев Екатерины и раздражение Никиты Ивановича. А тут, как нарочно, эти придворные обеды тянутся непонятно долго. Ему, Павлу, всегда хочется как можно скорее покончить одно дело, чтобы взяться за другое. Ему кажется почему-то, что надо спешить, что ему предстоит сделать что-то важное и что надо торопить дни: как можно раньше ложиться спать и вставать на рассвете. Если ужин затягивается на четверть часа, Павел горько жалуется, а встает так рано, что заспанные камердинеры, зевая, с трудом натягивают ему чулки и спросонья то и дело роняют подсвечники, бьют посуду, вызывая упреки цесаревича в нерадении. Почему Павел так торопится жить? Не потому ли, что жизнь страшна, особенно здесь, во дворце, где разговаривают часто о страшном? То Никита Иванович расскажет о казни Волынского{17} при императрице Анне Иоанновне, и от этого рассказа о пытках и муках на голове шевелятся волосы; то подслушает цесаревич ужасную повесть об императоре-отроке Иоанне

Антоновиче{18}, которого веселая императрица Елизавета с младенчества держала в тайных казематах крепости; то Порошин разболтает что-нибудь о деле подпоручика Мировича{19}, который пытался освободить этого таинственного узника в 1764 году, но, ворвавшись в тюрьму, нашел там бездыханное тело и сам за дерзость свою поплатился головой по повелению императрицы Екатерины… Что такое Тайная Канцелярия? Что это такое «слово и дело»? «Не входя в подробности, — рассказывает Порошин, — доносил я его высочеству, сколько [22] честных людей прежде сего от Тайной Канцелярии пострадало и какие в делах от того остановки были. Сие выслушав, изволил великий князь спрашивать: где же теперь эта Тайная Канцелярия? И как я ответствовал, что отменена, то паки спросить изволил, давно ли и кем отменена она? Я доносил, что отменена государем Петром III. На сие изволил сказать мне: так поэтому покойный государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее?» Это сообщения неосторожного Порошина наводили маленького Павла на мысли, которые едва ли приятны были императрице.

Во дворце говорили, впрочем, не только о страшном. Любили говорить о смешном. Но и смешное почему-то пугало сердце, и нельзя было понять, откуда этот ужас и этот смех. «Его превосходительство Никита Иванович изволил сказывать о смешных и нелепых обещаниях, какие оный Мирович делал святым угодникам, если намерение его кончится удачно. При сем рассказывал его превосходительство о казни одного французского аббата в Париже. Как палач взвел его на виселицу и, наложив петлю, толкнул с лестницы, то оный аббат держался за лестницу ногой, не хотелось повиснуть. Палач толкнул его в другой раз покрепче, сказав: сходите же, господин аббат, не будьте же ребенком. Сему весьма много смеялись». Но Павел не смеялся и ночью кричал во сне: ему

представлялись широко раскрытые глаза этого аббата и губы, белые, как бумага.

Разговоры о казнях, муках, пытках сменялись разговорами о любви, о веселостях, о «махании». Павел доверчиво рассказывает Порошину свои сердечные истории. То ему нравится одна фрейлина, то другая. Он сочиняет даже стихи, при помощи, быть может, Порошина, в честь одной прелестницы:

Я смысл и остроту всему предпочитаю,
На свете прелестей нет больше для меня.
Тебя, любезная, за то я обожаю,
Что блещешь, остроту с красой соедини.

Когда Екатерина, взяв с собою Павла, навестила однажды монастырь, где воспитывались благородные девицы, ей вздумалось мило пошутить. Она спросила Павла, не хочет ли он жить с этими девушками. Его высочество изволил ответить, что нет... Однако женское общество ему, по-видимому, [23] более мужского, и он охотно занимается «маханием», хотя ему еще нет двенадцати лет.

Все способствовало пробуждению в Павле чувственности, и удивительно, что в нем сохранились некоторые стыдливость и целомудрие, несмотря на все эти любовные соблазны. Впрочем, его воспитатель предсказывал прозорливо, что «он не будет со временем ленивым или непослушным в странах цитерских».

Сам Панин подавал пример нравственной слабости, особливо когда ему вскружила голову графиня Строганова, про которую муж говорил, что она обладает приятностями, кои другим раздаются, а ему из них ничего не достается.

«Шутя говорили, — пишет в своих записках Порошин — что приспело время государю великому князю жениться. Краснел

он, и от стыдливости из угла в угол изволил бегать; наконец изволил сказать: «Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне иметь крайне не хочется. Да то беда, что я очень резв, намедни слышал я, что таких рог не видит и не чувствует тот, кто их носит». Смеялись много о сей его заботливости».

Атмосфера екатерининского двора была томная и душная. Изнеженные, избалованные и беспечные царедворцы, усвоившие охотно легкомысленную философию парижских салонов, и здесь, в Зимнем дворце, продолжали вести рассеянную и чувственную жизнь, не стыдясь своего ребяческого разврата.

Григорий Орлов, фаворит Екатерины, предложил однажды Павлу нанести визит фрейлинам. Императрица охотно допустила эту вольность. И Павел переходил из комнаты в комнату, восхищаясь девицами. После этих приятных визитов он «вошел в нежные мысли и в томном услаждении на канапе повалился». Потом он делился с Порошиным своими чувствами к некоей его «любезной», которая «час от часу более его пленяет». В этот вечер он искал во французском энциклопедическом словаре слово «любовь».

Наконец имя его возлюбленной стало всем известно. Это была Вера Николаевна Чеглокова, круглая сирота, которую воспитала Екатерина и сделала своей фрейлиной. Когда Павлу пришлось ехать в карете с императрицей и против него сидела его любезная, он искал ее глаза и, встретив благосклонный взор, был безмерно счастлив. Через несколько дней ему удалось [24] танцевать с ней на придворном маскараде, и Порошин заметил, как его воспитанник пожимал нежно маленькую ручку. Через три дня у великого князя был припадок ужасной ревности. В самом деле, на куртаге не было его возлюбленной, у которой будто бы заболела губка. Но в это же время на куртаге не

было молодого князя Куракина. Из этого Павел сделал надлежащие выводы. Ревность, однако, скоро угасла, потому что губка у милой прошла и она опять встретилась с Павлом на маскараде. Танцуя в польском шен, он успел ей сказать: «Если бы пристойно было, то я поцеловал бы вашу ручку». Тогда она, потупя глаза, сказала, что «это было бы уж слишком». Были, однако, и новые приступы страстной ревности. Павлу показалось, что его возлюбленная нежно смотрит на камер-пажа Девиера. По этому поводу у влюбленных были серьезные объяснения...

II

Павел подрастал. Он уже не заползает теперь под стол от страха, не пугается нищих, как это с ним случилось однажды в детстве, когда он из окна дворца увидел человека в лохмотьях, в котором, быть может, его государево сердце смутно прозрело грядущего санкюлота — грядущее возмездие обитателям дворцов. Павел умеет теперь скрывать свой страх, который отравлял его душу с младенческих лет. Но и теперь ему кажется, что во дворце не все благополучно. Он окружен попечением. К его услугам десятки лакеев; с ним всегда воспитатели и лекторы; за обедом присутствует опекающий его Никита Иванович; но скучно, неуютно и одиноко в его покоях. В чем дело? Не в том ли, что У цесаревича нет матери? В самом деле, разве эта полная, моложавая сорокапятилетняя женщина, окруженная фаворитами и весело управляющая государством, как своей вотчиной, похожа на родную мать Павла? Разве она не равнодушна к нему? Разве нашелся у нее досуг, чтобы заглянуть в его душу? Разве она знает, чем теперь занят этот странный мальчик, взволнованный и своенравный? Она не видит даже, как ревниво и гневно наблюдает иногда на куртаге за своей улыбающейся матерью этот отрок, не забывающий страшной июньской ночи 1762 года. Призрак задушевного [28] Петра III стоит перед глазами маленького Павла. Он никому не

говорит об этом своем воспоминании, по ему иногда хочется спросить кого-то: зачем, собственно, он живет здесь во дворце, в сущности, никому не нужный и чужой? А что, если те самые люди, которые убили его отца, готовят и ему такой же конец? Ну, если не те, то подобные им? Вчера он случайно видел, как резал повар кур. Царей, кажется, режут так же. просто. Об убитых государях читывал кое-что цесаревич в книгах, которые приносил ему неосторожный Семен Андреевич Порошин. Его теперь удалили неожиданно от Павла. И мальчику жаль добрейшего Семена Андреевича. К нему иногда можно было забраться на диван и рассказать откровенно о своих думах и сердечных тайнах — обо всех, за исключением одной. Об этой единственной тайне нельзя было говорить ни с кем, даже с Порошиным. А между тем эта ужасная тайна, эта постоянная мысль об убитом отце, мучает и терзает Павла. Кто эти люди вокруг него? Не убийцы ли? Вчера подали суп совсем сладкий. Не отрава ли? Павел не стал есть супа. А Никита Иванович гневался и вывел цесаревича из-за стола. Иногда на цесаревича нападает тоска. Тогда он кривляется и «все головою вниз мотает», точь-в-точь как покойный Петр Федорович. Но такие странные припадки у мальчика бывают редко. Обычно он умеет скрывать свои чувства. Он почтителен к матери и любезен с окружающими его. Однако многие замечают, что между матерью и сыном создались отношения не совсем понятные. Это заметили даже иностранные послы и писали об этом донесения своим государям.

Маленький Павел страшится надменных любимцев императрицы. Они ужасно высокомерны. А когда кто-нибудь из них вдруг станет с ним ласков, как одно время с ним был ласков Григорий Орлов, то это внимание, пожалуй, мучительнее, чем прямая грубость. Этот любовник царицы был особенно внимателен к Павлу как раз в то время, когда у Екатерины родился от него сын, впоследствии граф

Бобринский. Этого нельзя было утаить от Павла, рано узнавшего альковные тайны коронованной любострастницы. Сентиментальный и целомудренный мальчик уже стыдился своей развратной матери.

Петр III до конца своих дней оставался ребенком. Это не нравилось его супруге. Павел, напротив, рано [26] созрел и порою казался даже маленьким старичком. И это не нравилось государыне. Петр III был слишком беспечен и все шутил — даже у гроба Елизаветы. Павел, с другими приветливый, смотрел на свою мать странными, требовательными и недоверчивыми глазами, а придраться к нему было трудно, ибо он был почтителен и вежлив, и Екатерина не знала, как с ним быть.

Когда Павлу исполнилось четырнадцать лет, решено было учить его государственным наукам. Порошина теперь не было. Главным преподавателем сделался Остервальд. Кроме того, Павлу читали курсы Николаи, Лафермьер и Левек — все иностранцы, и с ними Павел не очень ладил. Порошин умел удерживать своего воспитанника от увлечения военным делом, а немцы сами преклонялись перед традициями прусской системы, и Павел заразился той же страстью, как и Петр III. Теперь экзерцирмейстерство и парады стали на первом плане. Екатерина называла это военным дурачеством.

Впрочем, еще при Порошине приходилось Павлу участвовать в военных упражнениях, — например, на маневрах под Красным Селом в 1765 году. Мальчуган в это время числился командиром кирасирского полка. Он был в восторге, что на нем кираса, а в руках настоящий палаш. Но тогда все еще было невинно. Павел «на месте баталии, верхом сидя, покушал кренделя» и мирно поехал домой спать в сопровождении своего миролюбивого воспитателя. Теперь четырнадцатилетний Павел чересчур озабочен вопросами военной дисциплины. При Порошине он только мечтал о

разных баталиях, воображал себя дюком де-Сен-Клу и располагал армию в Иль-де-Франсе. Все эти мечтания носили фантастический характер и отчасти рыцарский. Случайно пришлось ему прочесть Вертотову «Историю об ордене Мальтийских кавалеров»{20}. Это было как масло в огонь. Мальчишка вообразил себя рыцарем. К несчастию, к четырнадцати годам мечты были уже приурочены к тогдашней действительности, и у Павла явилось пристрастие не к героизму и рыцарству, а к прозаическим и жестоким порядкам прусской солдатчины.

Этому способствовали и политические обстоятельства. В 1768 году наши армии были брошены на юг для войны с Оттоманской Портой. Началась Польская [27] кампания, которая закончилась, как известно, разделом Польши. Цесаревичу приносили карты и реляции генералов. Он живо интересовался военными делами. Нашлись и советчики, которые критиковали насмешливо политические планы коронованной женщины. Ему внушали, что он, Павел, как мужчина и государь, мог бы лучше руководить иностранной политикой и военными операциями.

В то время, когда Екатерина и ее фавориты удивляли Европу своею роскошью, превосходным знанием французского языка и умением наслаждаться прелестями счастливой Цитеры{21}, народ задыхался в тисках крепостного права, рекрутчины и произвола судейских. Павлу пришлось и об этом подумать, особливо когда в Москве появилась моровая язва, а потом начался бунт. Павлу казалось, что эти веселящиеся вельможи готовят ему плохое наследство. Ему в это время было шестнадцать лет.

Царедворцы были тесно связаны с дворянством и с гвардией. Екатерина получила корону с их помощью. Всю жизнь, с первых лет царствования, императрица сознавала свою зависимость от этих привилегированных кругов. Но Павлу

были ненавистны избалованные аристократы и распущенные гвардейцы. Они все представлялись ему цареубийцами. Он привык уже критиковать политику Екатерины. Эта политика ему казалась лицемерной. В самом деле, не она ли, императрица, созвала депутатов в «Комиссию для сочинения проекта нового уложения»? Не она ли сочинила для них «Наказ», где излагала с присущей ей самоуверенностью идеи Монтескье и Беккариа?{22} Не она ли мечтала об общем благе и справедливости? Но разве ее поступки соответствовали тем идеям, которые она исповедовала в письмах к Вольтеру? Никогда еще дворянство не пользовалось такими преимуществами, как теперь. Екатерина как будто платила за те услуги, которыми она воспользовалась в 1762 году. И Павел возненавидел дворян. Нет, он будет не на словах, а на деле заботиться об общем благе. Никаких привилегий! Он — законный претендент на престол. Ему не надо ничьих услуг. И ему не придется оплачивать этих титулованных холопов.

Его отец Петр III едва ли уже был так неразумен и плох, как об этом рассказывают фавориты Екатерины. Недаром где-то на Урале воскрес его призрак. [28]

Говорят, какой-то смельчак назвал себя императором Петром и двинулся на запад, вербуя своих сторонников и громя дворянские усадьбы. Со странным чувством следил Павел за восстанием Пугачева. Военные отряды, посланные царицей, разбиты и бежали. Крестьяне и казаки идут все дальше и дальше, занимая Поволжье, угрожая отрезать от столицы огромные пространства. О, конечно, это идет вор и разбойник. Но нет ли в этом страшном мятеже справедливого возмездия за убийство «законного» царя, за это окончательное закрепощение народа, за эту безумную расточительность развратных фаворитов?

В это время Никита Иванович Панин, ревностный масон, давал читать Павлу таинственные рукописные сочинения, где доказывалось, что император должен блюсти благо народа, как некий духовный вождь. Император должен быть посвященным. Он помазанник. Не церковь должна руководить им, а он церковью. Эти безумные идеи смешались в несчастной голове Павла с той детской верой в промысел божий, которую он усвоил с младенческих лет от царицы Елизаветы, мамушек и нянек, которые лелеяли его когда-то. И вот Павел стал мечтать об истинном самодержавии, которое осчастливит весь народ. Поскорее бы только осуществить свое право!

Нашлись, конечно, люди, которые внушали Павлу, что его час настал. 20 сентября 1772 года был день его совершеннолетия. Многие были уверены, что Екатерина привлечет к управлению страною законного наследника. Но этого, разумеется, не случилось. Павлу пришлось запастись терпением. Он даже признался матери, что дипломат Сальдерн соблазнял его немедленно настаивать на его, цесаревича, правах. Гнев Екатерины был велик. А Павел писал в это время покаянные письма своему коварному любимцу, графу Андрею Разумовскому. У Екатерины были свои агенты, которые зорко следили за Павлом, и она прекрасно знала, какой романтический бред о самодержавии владел головой наследника. Трезвая царица решила отвлечь Павла от этих, по ее мнению, сумасбродных идей. Молодого человека надо было женить. Выбор Екатерины остановился на Вильгельмине, дочери ландграфини гессен-дармштадтской. Этому сватовству предшествовали весьма сложные придворные интриги и дипломатическая игра. В конце концов ландграфиня с [29] Вильгельминой и ее сестрами согласилась приехать в Петербург.

Ассебург в письме к графу Панину из Дармштадта дал характеристику невесты Павла: «Принцесса Вильгельмина до

сих пор еще смущает каждого… заученным и повелительным выражением лица, которое редко ее покидает… Удовольствия, танцы, парады, общество подруг, игры, наконец, все, что обыкновенно возбуждает живость страстей, не затрагивает ее… Среди всех этих удовольствий принцесса остается сосредоточенной в самой себе… Нет ли сокровенных страстей, которые овладели ее рассудком? Тысячу раз ставил я себе этот вопрос и всегда сознавался, что они недосягаемы для моего глаза… Насколько я знаю принцессу Вильгельмину, сердце у нее гордое, нервное, холодное, быть может, несколько легкомысленное в своих решениях…»

Павла вовсе не посвящали в предварительные переговоры по делу о его браке. В Любек была отправлена особая эскадра, которая должна была привезти в нашу столицу гессен-дармштадтское семейство. Одним из фрегатов командовал граф Разумовский. Он был всего только на два года старше Павла, но уже успел приобрести немалую опытность. Он учился сначала в Петербурге у Шлецера, потом в Страсбургском университете, а военное свое образование завершил службой в английском флоте. Вернувшись из Англии, он внушил Павлу чрезвычайное расположение к себе. Павел, кажется, не знал одной особенности Разумовского. Этот блестящий молодой граф пользовался необыкновенным успехом у дам, прелестями коих он любил наслаждаться, не считаясь с правилами строгой нравственности. Путешествие от Любека до Ревеля Разумовский совершил на фрегате, где находилась старая ландграфиня со своими дочерьми. По-видимому, он произвел тогда же сильное впечатление на невесту Павла, Вильгельмину.

Павел в свою очередь влюбился в девицу, которая ему предназначалась в жены. Архиепископ Платон, учитель Павла, наставлял ее православию. Она приняла имя Натальи Алексеевны. В августе отпраздновали ее обручение с

наследником. То, что Вильгельмина приняла православие, дало повод для острот Вольтеру и Фридриху II. Их веселость разделяла и Екатерина, которая сама, однако, настояла на принятии принцессой [30] церковного вероучения, ибо это было, как она думала, необходимо по соображениям политическим.

Бракосочетание состоялось 29 сентября 1773 года. Среди пышных торжеств и празднеств Павел сохранял любезный и приветливый вид, о чем свидетельствуют иностранные дипломаты. Однако жениха и молодожена волновала какая-то мрачная мысль. Надо было побороть это опасное настроение. У Павла явилась потребность поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Он решил, что лучше всех его поймет граф Разумовский. И он тогда же написал ему: «Дружба ваша произвела во мне чудо: я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности, но вы ведете борьбу противу десятилетней привычки и побораете то, что боязливость и обычное стеснение вкоренили во мне. Теперь я поставил себе за правило жить как можно согласнее со всеми. Прочь химеры, прочь тревожные заботы». Однако освободиться от этих тревожных забот и химер не так было легко. Трудно даже понять иногда, где начинается действительность и где сон. Едва окончились празднества по поводу бракосочетания цесаревича, как в Петербурге было получено известие о пугачевском мятеже. Слухи были так загадочны, что это давало повод для всевозможных сумасшедших проектов, в коих имя Павла называлось неоднократно. Даже Андрей Разумовский, заметив в простом народе расположение к Павлу, будто бы в порыве искренних чувств затеял разговор с цесаревичем о его правах на престол, и Павлу пришлось грозным взглядом принудить дерзкого к молчанию.

Все тревожило Павла — и такие огромные события, как пугачевский бунт, и такие мелочи, как осколки стекла,

случайно попавшие в блюдо сосисок, которое было подано на ужин его высочеству. Павел, разгневанный, пришел к Екатерине и заявил, что дворцовые слуги покушаются на его жизнь.

И вообще все шло не так, как надо. В это время высоко поднялась на государственном небосклоне звезда Потемкина. Это уже был не «дуралей» Орлов и не Васильчиков, человек незначительный, а умный, способный и надменный временщик, презиравший высокомерно бесправного наследника.

По мнению Павла, этот Потемкин ничего не понимал в государственных делах. У него, Павла, есть своя программа. В 1774 году он представил императрице [31] записку — «Рассуждения о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов».

Смысл записки был в том, что России надо вести не наступательную, а оборонительную политику. Расширять пределы России нет надобности. Армию надо сократить, по зато подчинить ее строгой регламентации. Надо стремиться к экономии прежде всего. Одним словом, в этой записке была резкая критика екатерининской программы. Императрица поняла тотчас, что ее пути с наследником разошлись окончательно. Она не очень скрывала от него свои чувства. А Потемкин относился с грубой небрежностью к этому юному претенденту на власть.

Сторонники Екатерины презирали Павла. Пугачевский бунт, хотя и задушенный правительством, странным образом напоминал знати о тех требованиях, какие предъявлял Павел. Мятежники как будто перекликались с наследником престола. И Пугачев и Павел тревожили тень убитого Петра III, приписывая ему добродетели, каких у него, вероятно,

вовсе не было. Правда, Павел был в ужасе от побед страшного самозванца, но он доказал впоследствии, что у него к дворянству было не меньше ненависти, чем у этого беглого казака.

Музыка придворных празднеств, шум екатерининских дворцов, звон бокалов и пение кантат — ничто не могло заглушить мятежных воплей, которые доносились до столицы из дебрей Урала и степей Поволжья. Пылали дворянские усадьбы; бежали в панике отряды, руководимые испытанными генералами; передавались бунтовщикам тысячи казаков, крестьян и горожан; находились даже попы и офицеры, присягавшие Пугачеву в надежде, что он отнимет власть у Екатерины… Понадобилось послать Петра Папина и самого Суворова, чтобы они усмирили губернии, охваченные огнем восстания. Павел, быть может, догадывался о смысле этого огромного бунта. Быть может, он понял слова самого Пугачева, сказанные им графу Панину: «Я вороненок, а ворон-то еще летает». 10 января 1775 года отрубили голову тому, кого Пушкин назвал «славным мятежником». Память о нем сохранилась навсегда не только в народе, но и во дворце. И среди услад брачного алькова Павлу мерещились окровавленные головы казненных. [32]

Павел был влюблен в свою жену. Он слепо ей верил. И когда однажды Екатерина, раздраженная честолюбивыми мечтаниями великой княгини, постаралась внушить Павлу недоверие к жене и к его и ее другу А. М. Разумовскому, из этих внушений ничего не вышло. Ему, Павлу, Наталья Алексеевна казалась существом прекрасным и безупречным. Ее дружба с Разумовским была, как он думал, исполнена чувств совершенно невинных и целомудренных. Только в апреле 1776 года, когда после неблагополучных родов она умерла, несчастный Павел убедился, что жена его била любовницей того самого Разумовского, с которым он так доверчиво делился сокровенными чувствами и мыслями.

Екатерина нашла в шкатулке покойной письма ее возлюбленного и не утаила их от молодого вдовца.

III

Незадолго до женитьбы цесаревича на Вильгельмине гессен-дармштадтской с ним случилась странная история{23}.

Однажды Павел засиделся до поздней ночи со своими друзьями, разговаривая и куря трубку. Светила ярко луна, и он решил прогуляться по Петербургу инкогнито в обществе князя Куракина. Была ранняя весна. Тени ложились по земле длинные и густые, а воздух весь был пронизан стальным, прохладным сиянием.

Князь Куракин, не замечая меланхолии Павла, шутил насчет запоздавших прохожих. Петербург был, как всегда, таинственный и прекрасный. Дворцы Растрелли и Кваренги казались в эту лунную ночь волшебным сном, ни с чем не сравнимым.

При повороте в одну из улиц, где мощные гранитные стены были неожиданно похожи на призрачные декорации, Павел заметил на крыльце одного дома высокого и худого человека, завернутого в плащ, вроде испанского, и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он, казалось, поджидал кого-то, и как только молодые люди миновали его, он вышел из своего убежища и подошел к Павлу с левой стороны, не говоря ни слова. Невозможно было разглядеть черты его лица, только шаги его по тротуару издавали странный звук, как [33] будто камень ударялся о камень. Этот спутник показался Павлу не совсем обыкновенным. Он шел рядом, почти касаясь цесаревича, и Павел почувствовал, как остывает его левый бок, как будто он прислонился к глыбе льда.

Павла охватила дрожь, и он, обернувшись к Куракину, сказал:

— У нас странный спутник.

— Какой спутник? — спросил Куракин.

— Вон тот, что идет слева и стучит каблуками. Но Куракин никого не видел.

Зато Павел не сомневался в том, что его преследует кто-то. Цесаревич стал внимательно рассматривать незнакомца. Павел заглянул к нему под шляпу и встретил взгляд, который покорил и очаровал его.

Павел дрожал не от страха, а от холода. Какое-то странное чувство овладевало им и проникало в сердце. Ему казалось, что кровь у него стынет.

Вдруг из-под плаща раздался глухой и грустный голос:

— Павел!

Цесаревич невольно откликнулся, удивляя Куракина:

— Что тебе нужно?

— Павел, — повторил тот. — Бедный Павел! Бедный государь!

— Слышишь? — спросил цесаревич Куракина. Но и на этот раз Куракин ничего не слышал. А спутник продолжал говорить Павлу:

— Не увлекайся этим миром. Тебе недолго в не жить, Павел.

Молодые люди вышли на площадь около Сената.

— Прощай, Павел, — сказал незнакомец, — ты меня снова увидишь здесь...

И Павел тотчас узнал орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку прадеда.

Они стояли как раз на том месте, где по воле Екатерины воздвигнут был впоследствии Фальконетом памятник Великому Петру{24}.

Сам Павел придавал своей галлюцинации особый смысл и был уверен, что видение не было случайной игрой больного воображения. Однажды, будучи за границей, он рассказал о своем видении. Этот рассказ летом 1782 года был записан баронессой Оберкирх. О дал серьезный повод предположить, что голова бедного [34] наследника не в порядке, что рано или поздно на российский престол взойдет безумец.

Надо сказать, что во время этой фантастической прогулки по лунному Петербургу Павел был уже причастен тайнам масонства. Масоном был и его спутник Куракин. Суеверие великого князя и трезвость его друга легко мирились с тогдашней практикой «вольных каменщиков». В ложах не было строгой идейной дисциплины: позволялось мыслить, покорствуя личным склонностям. Суть дела была в одном — в отрицании материализма, с одной стороны, и в соперничестве с христианской церковью — с другой. Очевидно, митрополит Платон сознательно или невольно уступил своего воспитанника Н. И. Панину, который был, как известно, влиятельный масон. И. В. Лопухин даже восхвалял в стихах графа Панина за то, что он ввел Павла в сообщество иллюминатов:

О старец, братьям всем почтенный,
Коль славно,
Панин, ты успел:
Своим премудрым ты советом
В храм дружбы сердце царско ввел…

Грядущий за твоим примером,
Блажен стократно он масон…

Кроме того, Павел, следуя примеру Петра III, весьма чтил Фридриха Великого, который покровительствовал масонам. Из Пруссии получались масонские книги и рукописи. Их жадно читал цесаревич, в надежде, что он познает истину. Братья масоны внушали между прочим мечтателю, что его будущее самодержавие провиденциально, что он, как посвященный, будет возглавлять не только государство, но и церковь. Эти идеи не казались Павлу жалким бредом. Он с ужасом смотрел на свою коронованную мать, которая, по его представлению, кощунственно владела престолом. Безбожница! Она смеялась над святыней. Нет, он, Павел, будет молиться часами перед иконами. Ему не приходило в голову, что братья масоны лишь до поры до времени терпят его суеверие; он не догадывался, что именно из масонских кругов выйдут не в далеком будущем те самые «якобинцы», которых он впоследствии считал врагами рода человеческого{25}.

Сухой, ясный и насмешливый ум Екатерины не позволял ей отнестись к масонству с доверием и сочувствием. Она изучила масонскую литературу и сочинила на братьев каменщиков три сатирических комедии{26}. [35] Впрочем, наступили дни, когда ей пришлось бороться с вредным, по ее мнению, сообществом иными средствами — арестами и ссылками. Расправа с Новиковым всем известна. Сами масоны объясняли эти кары тем, что были установлены следствием сношения Новикова с цесаревичем. Преступность этих связей в глазах Екатерины усугублялась еще близостью Павла I к дипломатическим агентам Берлина. Иллюминаты{27} возлагали надежды на Павла. В московском издании «Магазин свободно-каменщической» имеются следующие вирши, обращенные к Павлу:

С тобой да воцарятся
Блаженство, правда, мир,
Без страха да явятся
Пред троном нищ и сир;
Украшенной венцом,
Ты будешь всем отцом.

История не оправдала масонского оптимизма. Павлу слишком долго пришлось ждать престола, и он занял его сорока двух лет, с душой уже помраченной больной. Впрочем, масонские вожделения были лучше странных идеалов безумного самодержца.

IV

Екатерина решила утешить обманутого и оскорбленного вдовца. С обычной фривольной игривостью она писала Гримму, как она ловко повела дело и убедила цесаревича в необходимости жениться. Она подыскала ему невесту. Это была виртембергская принцесса, София-Доротея, внучатная племянница Фридриха II, который сочувствовал этому браку. Софии-Доротее, принявшей в православии имя Марии Федоровны, суждено было сыграть немалую роль в жизни Павла.

Эта юная принцесса, миловидная и сентиментальная, воспитанная в духе Руссо, отличалась характером доверчивым и нежным. Павел встретился с нею в Берлине, где Фридрих II, несмотря на свойственную ему скупость, чествовал русского наследника престола с необыкновенной пышностью. Хитрый король готовил себе будущего могущественного союзника. Павел был польщен. Невеста ему понравилась.

«Мой выбор сделан, — писал он Екатерине. — Препоручаю невесту свою в милость вашу и прошу о со [36] хранении ее ко

мне. Что касается до наружности, то могу сказать, что я выбором своим не остыжу вас; мне о сем дурно теперь говорить, ибо, может быть, я пристрастен, но сие глас общий. Что же касается до сердца ее, то имеет она его весьма чувствительное и нежное, что я видел из разных сцен между роднёю и ею. Ум солидный ее приметил и король сам в ней, ибо имел с ней о должностях ее разговор, после которого мне о сем отзывался; не пропускает она ни одного случая, чтобы не говорить о должности ее к вашему величеству. Знания наполнена, и что меня вчера весьма удивило, так разговор ее со мной о геометрии, отзываясь, что сия наука потребна, чтобы приучиться рассуждать основательно. Весьма проста в обращении, любит быть дома и упражняться чтением или музыкою, жадничает учиться по-русски, зная, сколь сие нужно»...

Сентиментальная принцесса влюбилась в Павла не менее, чем он в нее. Она так же, как и он, изливает свои взволнованные чувства в письмах к родным и подругам. Что касается до знаменитого прусского короля, то он, угождая Павлу и его державной матери, по-видимому, не утратил, однако, своей наблюдательности и скептицизма. В его исторических опытах имеются следующие любопытные строки, относящиеся к Павлу: «Он показался гордым, высокомерным и резким (altier, haut et violent), что заставило тех, которые знают Россию, опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, на котором, будучи призван управлять народом грубым и диким (dure et feroce), избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца».

Холодный рационалист, но зоркий соглядатай душ и сердец, Фридрих II как будто угадал судьбу Павла. Это предвидение тем более замечательно, что цесаревич вовсе не на всех производил такое мрачное впечатление. Некоторые

мемуаристы восхищаются внешностью и характером великого князя. Мария Федоровна в числе этих панегиристов. «Великий князь, очаровательнейший из мужей, — писала она подруге своего детства, — кланяется вам. Я очень рада, что вы его не знаете, вы не могли бы не полюбить его, и я стала бы его ревновать. Дорогой мой муж — ангел. Я люблю его до безумия». Вот какие чувства внушил женщине [37] Павел Петрович. Но сам он сознавал особенности своего характера. В интереснейшем письменном «наставлении», которое он приготовил и вручил своей невесте, есть между прочим следующее предупреждение: «Ей придется прежде всего вооружиться терпением и кротостию, чтобы сносить мою горячность и изменчивое расположение духа, а равно мою нетерпеливость». Он мог бы прибавить и еще кое-что о странностях своего характера. По-видимому, вскоре он и сделал это. Павел признался своей возлюбленной, что его душа наполнена призраками, которые внушали ему ужас. Он, великий князь, любезен и приветлив; иным он кажется остроумным и добродушным; у него есть царственная самоуверенность и свой собственный стиль; но за этой маской таится слепой и мучительный страх. Чего он боится? О, разве мало привидений вокруг него! Разве по ночам не стоит перед ним загадочный мертвый Петр III, как будто призывая его, Павла, к отмщению? Разве не мерещится ему красивое, холодное и непонятное лицо покойной великой княгини Натальи Алексеевны, чьи ноги он целовал, не подозревая, что она отдается бесстыдному ловеласу Разумовскому? А разве не страшно живое и как будто светлое, как будто открытое, как будто милостивое лицо императрицы Екатерины? Разве эта самодержавная властительница его судьбы не ужаснее всех покойников? Что у нее на уме, у этой великолепной царицы? Не грозит ли ему, Павлу, такая же участь, какая постигла Иоанна Антоновича или Петра Федоровича?

«Богу известно, каким счастьем представляется для меня вскоре принадлежать вам, — писала Павлу невеста, — вся моя жизнь будет служить вам доказательством моих нежных чувств, да, дорогой, обожаемый, драгоценнейший князь, вся моя жизнь будет служить лишь для того, чтобы явить вам доказательства той нежной привязанности и любви, которые мое сердце будет постоянно питать к вам. Покойной ночи, обожаемый и дорогой князь, спите хорошо, не беспокойтесь призраками (n'ayez pas des fantomes), но вспоминайте немного о той, которая обожает вас».

«Не беспокойтесь призраками»! Легко давать такие советы, но как их исполнить? Удалить призраки не в пашей власти. Они преследуют больную душу. Напрасно несчастный мечтает освободиться от этих видений. А у Павла жизнь складывалась так, что он ей [38] каждым годом становился все более и более мнительным и подозрительным. Для его подозрительности были серьезные основания. При первом знакомстве с Марией Федоровной Екатерина оказала ей свое внимание и расположение. Под первым впечатлением от этой встречи у властолюбивой императрицы явилось желание обласкать и очаровать молодоженов. У них состоялся ряд свиданий, на коих Екатерина держал себя как нежная мать. Павел, со свойственной ему экспансивностью, тотчас же откликнулся на милостивое дружелюбие царицы. Но эта идиллия недолго продолжалась. Главное, у Екатерины и Павла были различные вкусы. В Павле проснулись те самые интересы и настроения, какие были характерны для Петра III, — симпатии к Пруссии, восхищение ее порядками и военной дисциплиной. Политическая программа вытекала из этих увлечений мнимой гармонией прусской государственности.

Павлу не хотелось расширять пределы Российской империи. Ему хотелось сосредоточить ее силы, замкнуть их в рамки существующей территории, привести в порядок весь этот

громоздкий хаос запутанных дел и отношений. А у Екатерины были другие планы. Ей была нужна великолепная панорама империи-победительницы, империи-завоевательницы. Отсюда ее войны на юге, борьба с Оттоманской Портой, с Польшей и невольная война с Швецией. В то же время ей нужно было кокетничать с Европой своим либерализмом. У нее была потребность переписываться с Гриммом, с Вольтером, со всеми знаменитостями, занимавшими воображение европейских салонов. У Павла были другие корреспонденты. Из Берлина, из Швеции, из Москвы он получал тайно письма и сочинения масонов; они старались внушить ему особые понятия о самодержавной власти, которая рано или поздно должна была перейти в его руки. Об этих сношениях подозревала Екатерина. Она понимала, что с се смертью, если Павел взойдет на престол, вся ее государственная программа будет уничтожена в первые же дни его правления. И она задумала отстранить Павла от престола. И он об этом догадывался. Но, кажется, это Решение императрицы и опасения Павла созрели не сразу. Благосклонная мать и почтительный сын, таившие друг от друга взаимную ненависть и презрение, как будто все старались убедить самих себя и других, [39] что еще возможен мир, возможно уладить столкновения, грозившие государству новыми потрясениями.

Жизнь Павла протекала в семейном быте, в политическом бездействии, не лишенном, однако, острого и враждебного внимания к государственным делам. Своими мрачными впечатлениями от политики Екатерины он откровенно делился с Н. И. Паниным, и они единодушно осуждали большой двор, где, по выражению Павла, «боятся нестрашного и смеются несмешному». Весной 1777 года великая княгиня забеременела. Осенью пришлось переехать в Зимний дворец, покинув Павловск, который был подарен Екатериной молодым супругам. Они уезжали в меланхолии,

как будто предчувствуя, что там, в Петербурге, их ожидает что-нибудь недоброе. В самом деле в эту осень постигло столицу ужасное бедствие: приезд великокняжеской четы совпал с самым страшным в летописях Петербурга наводнением. Суеверный Павел в ужасе смотрел на огромные пасти волн, готовые поглотить все на их пути. Ему казалось, что эта темная стихия угрожает безбожному городу, мстя за преступления коронованных убийц.

Едва потускнело в душе Павла мучительное впечатление от буйства непокорной Невы, как на его долю выпало новое испытание. На этот раз в нем был оскорблен не почтительный сын, не ревнивый любовник, не претендент на престол, а муж, отец и семьянин. Когда 12 декабря 1777 года родился в семье цесаревича столь желанный им сын Александр, этот младенец был по требованию императрицы отнят от матери и отца и отдан на попечение особых воспитательниц, назначенных Екатериной. В известные сроки разрешалось Марии Федоровне навещать ребенка, но ни ей, ни Павлу не доверяли воспитание будущего, императора. Екатерина, очевидно, тогда уже рассчитывала подготовить ребенка к судьбе престолонаследника. Так отняты были от родителей все их дети — Александр, Константин, Николай. Той же участи подверглись и дочери Павла. Он должен был покорствовать, стиснув зубы, затаив мучительное чувство. Одного этого испытания было бы достаточно для того, чтобы потерять душевное равновесие. И Павел все менее и менее владел собой.

В 1780 году политика Екатерины определилась очень твердо. Русское правительство порвало связь с [40] Пруссией и сблизилось с Австрией. С таким направлением нашей дипломатии Павлу трудно было мириться. Но Екатерина была непреклонна. В конце 1781 года, в связи с новой политической программой, у Екатерины явился план отправить великокняжескую чету за границу. Согласно ее

программе, Павел должен был посетить Австрию, Италию и Францию. Берлин, о котором мечтал Павел, в маршрут цесаревича не вошел. И на этот раз Павел повиновался, не посмев настаивать на свидании с Фридрихом II.

Павел путешествовал под именем князя Северного. Европейские дворы встречали Павла с таким почетом, какого он не знал у себя в России. Это льстило ему и волновало его честолюбивое сердце. А между тем в Европе многие сознавали, как странно и двусмысленно положение великого князя. В придворном Венском театре предполагалось поставить «Гамлета», но актер Брокман отказался играть, сказав, что, по его мнению, трудно ставить на сцене «Гамлета», когда двойник датского принца будет смотреть спектакль из королевской ложи. Император Иосиф был в восторге от проницательности актера, и представление шекспировской трагедии не состоялось.

Из Вены Павел с женой поехал в Италию. Он посетил Венецию, Падую, Флоренцию, Болонью, Анкону, Рим, Неаполь. В Неаполе он встретился с обольстителем своей первой жены. Разумовский был там нашим послом. В это время он находился в связи с королевой неаполитанской. Рассказывают, что, увидев своего оскорбителя, Павел будто бы обнажил шпагу и предложил ему поединок, который не состоялся благодаря вмешательству свиты. В Риме у Павла было несколько свиданий с Пием VI. Во Флоренции в страстном порыве Павел не удержался от резких порицаний екатерининских фаворитов. Путешественники побывали в Ливорно, Парме, Милане и Турине. Оттуда через Лион князь Северный со свитой поехал в Париж. Это был канун Большой Французской революции.

V

Совершая свою поездку от Лиона до Парижа, будущий император России не мог не видеть резких контрастов сельской жизни. Пышные шато дворян, епископов, [41] откупщиков и нищие, крытые соломой хижины крестьян и фермеров красноречиво говорили о том, что не все благополучно в этой «прекрасной Франции». Правда, глаз будущего властелина мог уже привыкнуть к подобным контрастам и в тогдашней России, но там многомиллионное население дремало и лишь изредка дико кричало в кошмарном сне какой-нибудь пугачевщины. Здесь, во Франции, мятежи стали явлением обычным и вошли в традицию. В одной Нормандии, как точно сообщил один кавалер Павлу, бунты из-за хлеба отметили собою ряд лет — 1725, 1737, 1739, 1752, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 и так далее и так далее. Чем ближе к дням кроткого Напета, тем чаще вспыхивали эти огни, освещавшие сумерки обреченной на гибель ветхой государственности.

Когда Павел со свитой останавливался в городах и селениях, к его удовольствию, он ни в чем не чувствовал недостатка. Он был окружен комфортом, который казался глазевшим на него крестьянам непростительной роскошью и бесстыдной расточительностью. Крестьяне не могли думать иначе. Как раз в этом году в равнине Тулузы они не ели ничего, кроме маиса, и то в небольшом количестве; в других местностях сельскому населению приходилось еще хуже — даже каштаны и гречиха считались лакомством. В Лимуссене питались репой; в Оверни — смесью ячменя и ржи. Крестьяне почти не видели хорошего пшеничного хлеба.

Павел, интересовавшийся армией прежде всего, не мог не обратить внимания на то, что из девяноста миллионов, которые тратила казна Людовика XVI на содержание армии, сорок шесть шло на офицеров и лишь сорок четыре на солдат. Если принять во внимание, что на каждого офицера приходилось до пятидесяти и более нижних чинов, то

становится очевидной безобразная несправедливость в распределении государственных средств. Павлу казалось, что система эта напоминает порядки Екатерины. В народе слагались легенды, также иногда похожие на наши российские мифы о народном царе. Этими легендами охотно пользовались во время мятежей, приписывая королям то, что у нас мужики приписывали царю. «Крестьяне все время говорят, что у нас грабежи и разрушения, которые они учиняют, соответствуют желанию короля».

«В Оверни крестьяне, сжигающие замки, выказывают [42] большое отвращение к подобному плохому обращению «с такими хорошими господами»: они ссылаются на то, что ничего не поделаешь — «приказ непреклонен и они имеют уведомление, что его величество так хочет». Лет через десять легенда о народолюбивом короле была разоблачена, но тогда еще пользовались ею, крича: «Долой подати и налоги! Долой привилегированных!» «Грабили магазины, рынки, замки, сжигали списки недоимщиков, счетные книги, думские архивы, помещичьи библиотеки, монастырские пергаменты — все подлые бумаги, которые создают повсюду несчастных и угнетенных».

Впрочем, Павел об этом скорее мог догадаться, чем точно знать. Пестрая и великолепная панорама аристократической и придворной жизни искажает перспективу истории. Королева Мария-Антуанетта, граф д'Артуа, госпожа де Ламбаль, Полиньяк, герцоги, маркизы и кавалеры ему не представлялись в виде кровожадных вампиров, какими рисовала себе их парижская толпа, состоявшая отчасти из провинциальных неудачников, тщетно искавших счастья в столице.

При въезде в Париж Павел не мог, однако, не заметить, как роскошны золотые экипажи коронованных особ и знати и как нищи и грязны улицы, где за отсутствием тротуаров

несчастные пешеходы рискуют головой: дворяне любили бешено гнать своих лошадей, давя народ. В это время в салонах говорили о правах человека, с наслаждением читали Вольтера, смеялись вместе с веселыми кардиналами над суеверием отцов, цитировали Дидро, вздыхали над Руссо, декламировали непристойные стихотворные повести Лафонтепа. Предчувствовало ли это привилегированное общество свою гибель?

В начале мая великокняжеская чета приехала в Париж. В первый же день Павел инкогнито присутствовал на торжественной мессе и видел процессию кавалеров святого духа. Он был очарован великолепием Версаля. Представляясь королю, он сумел сказать любезные слова, не теряя достоинства, на что застенчивый Людовик XVI отвечал не слишком складно. Мария-Антуанетта была в восторге от визитов Павла и его жены.

Торжества и празднества шли неизбежной вереницей по случаю их приезда. Слушали оперу в волшебной зале Версальского театра, участвовали в блестящем [43] празднике в Малом Трианоне. «Графиня Северная имела на голове маленькую птичку из драгоценных камней, на которую едва можно было смотреть: так она блистала. Она качалась на пружине и хлопала крыльями по розовому цветку»... Сад был чудесно иллюминован. Потом был бал в Зеркальной галерее Версаля, расписанной Лебреном{28}. Роскошь этого бала была необычайна. Павел говорил остроты, которые передавались из уст в уста. На другой день был смотр французской гвардии на Марсовом поле. Потом устроена была поездка в Шантильи, где гостей чествовал принц Кондо. Здесь не любили вольтерьянцев. Вольнодумцы чувствовали себя лучше в Пале-Рояле. В Шантильи после спектакля ужинали на острове Любви, а на другой день охотились на оленей.

Возвращаясь из королевско-аристократического дворца Кондэ, Павел и Мария Федоровна посетили могилу Руссо в Эрменонвиле, очевидно, не подозревая, что они преклоняют свои колени перед тем самым философом, которого в это время благоговейно читал Робеспьер.

Павла и его жену угощали пирами и балами каждый день, между прочим, граф д'Артуа и граф Прованский. Ни Павел, ни эти графы не предвидели, что они встретятся при совершенно иных обстоятельствах: принц Кондэ, граф д'Артуа и граф Прованский спустя несколько лет бежали от огня революции и нашли убежище в России, выпросив субсидии и покровительство у Павла Петровича.

Цесаревич удивлял парижан знанием французского языка и французской культуры. Гримм рассказывал, что, посещая мастерские художников, русский принц обнаружил тонкий вкус и немалые знания. Он осмотрел Академию, музеи, библиотеки и всевозможные учреждения, всем интересуясь. Бомарше читал ему еще не напечатанную тогда «Свадьбу Фигаро». Поэты подносили ему груды мадригалов и од.

И вот в разгаре этих торжеств и успехов Павел неожиданно получил от Екатерины грозное письмо. Оказывается, была перехвачена переписка наперсника Павла, князя Куракина, с Бибиковым, который в своей корреспонденции отзывался неуважительно об Екатерине и ее фаворитах.

Слухи о неладах императрицы с наследником дошли до Людовика XVI, и король однажды спросил [44] Павла, имеются ли в его свите люди, на которых он мог бы вполне положиться. На это Павел ответил с присущей ему выразительностью: «Ах, я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился хотя бы самый маленький пудель, ко мне привязанный: мать моя велела бы бросить его в воду, прежде чем мы оставили бы Париж».

Восьмого июня Павел уехал из столицы Франции. Маршрут дальнейшего путешествия был таков: Орлеан, Тур, Анжер, Лилль и Брюссель. Более месяца Павел и его жена наслаждались семейным счастьем в Этюпе около Монбельяра, где жили родители Марии Федоровны. В Россию они возвратились через Вену, минуя по приказанию императрицы опасный Берлин. Они прибыли в Петербург 20 ноября 1782 года.

Глухая вражда императрицы и Павла продолжалась. Бибиков был сослан. Такой же участи в более мягкой форме подвергся Куракин. Умер Никита Иванович Панин. Цесаревич, лишенный друзей и сочувствующих, был окружен враждебными интригами, и для его мнительности было слишком много поводов. Он был даже удивлен, когда 12 мая 1783 года, после присоединения Крыма, Екатерина удостоила его серьезной беседы по вопросам международной политики. Павел отметил это в своем дневнике как «доверенность ему многоценную, первую и удивительную».

Вскоре у Марии Федоровнк родилась дочь Александра, и Екатерина подарила по этому поводу цесаревичу «мызу Гатчино». Она была куплена у наследников бывшего любовника царицы, знаменитого своей веселостью Григория Орлова, который умер, однако, как многие весельчаки, в припадках дикой меланхолии{29}. Политический разговор Екатерины с Павлом и ее дар — Гатчина были последними ее милостями сыну.

Наступает тринадцатилетний «гатчинский» период жизни Павла. Здесь созрели окончательно политические идеи будущего императора; здесь определился его характер; здесь он создал своеобразный и мрачный быт; здесь душа его, уже отравленная ревнивыми мечтами о власти, ничем не ограниченной, заболела страшным недугом.

Екатерина зорко следила за отстраненным от власти Павлом. Ее любимый внук Александр был окружен новыми воспитателями и учителями. Среди них был [45] швейцарский вольнодумец Фридрих Лагарп{30}. И этот воспитатель, как и все прочие, был назначен императрицей без ведома Павла. Было очевидно, что престол не ему предназначался. С цесаревичем вовсе не считались. Но Павел не мог с этим примириться. В письмах к графу Н. П. Румянцеву его сетования похожи на вопль: «Тридцать лет без всякого дела!» Чтобы чем-нибудь занять себя, Павел стал настоящим гатчинским помещиком. В этом хозяйстве, однако, был свой стиль — «павловский стиль». Гатчина и Павловск — резиденции великокняжеской четы — остались до наших дней, несмотря на новые планировки и перестройки, памятниками эпохи Павла. В Павловске преобладал вкус Марии Федоровны, в Гатчине — Павла. Впрочем, муж и жена, по-видимому, искали художественного компромисса, и это выразилось в некотором эклектизме зодчества и интерьеров. В Павловске работали замечательные мастера — Камерон, Кваренги, Бренна, Скотти, Гонзаго, Баженов… Но Екатерина была скупа, когда денег просил Павел. Поэтому зодчие и художники были связаны экономией. От этого великолепные замыслы казались странными и смешными, как, например, псевдороманская крепость Бип{31}. Зодчий Бренна по воле Павла построил в Павловске средневековую крепость с донжоном{32}, с остроконечными башнями, со всеми грозными атрибутами воинственной эпохи, но эта постройка, благодаря своему малому масштабу, производит впечатление игрушечное и комическое. Бедный Павел! Будучи взрослым и зрелым человеком, он играл роль самодержавца в своем небольшом поместье, как мальчики играют, забавляясь ненастоящими крепостями и ненастоящими армиями.

И Павел создал в Гатчине свою особую армию. Сначала она состояла всего лишь из восьмидесяти человек. Ими командовал капитан Штейнверг, которому были известны все тайны и тонкости экзерцирмейстерства Фридриха П. Впрочем, с каждым годом эта игрушечная армия увеличивалась благодаря настойчивости Павла. Введена была та военная дисциплина, какая применялась в Пруссии. Вся эта затея напоминала Екатерине военные увлечения ее покойного супруга, но она не считала возможным отнять у Павла его забаву. Императрица не угадала в гатчинской армий той военной и политической идеи, которая надолго [46] определила судьбу нашей государственности. Эта идея пережила безумного императора. Она пережила и самого вдохновителя этой идеи — Фридриха Великого, который умер в 1786 году. С ним Павел находился в постоянных сношениях вплоть до его смерти, о чем Екатерине неизменно доносили ее агенты.

Тысяча семьсот восемьдесят восьмой год был годом испытания для России. Нашему правительству пришлось вести две войны — с Оттоманской Портой и с Швецией. Павел решился просить Екатерину о позволении отправиться на театр военных действий. Императрица, боясь столкновения Павла с Потемкиным, не разрешила ему ехать в южную армию. Павел отправился на север, где немедленно поссорился с главнокомандующим Мусиным-Пушкиным. Ему только однажды удалось побывать под огнем неприятеля. Кампания окончилась для нас благоприятно. Павел был отозван Екатериной до окончания военных действий, ибо ему самому пришлось уведомить императрицу, что неприятельские генералы пытались вести с ним, Павлом, переговоры, минуя петербургское правительство. Этого, конечно, Екатерина не могла потерпеть.

О военных подвигах Павла Екатерина отзывалась насмешливо. Он даже не получил Георгиевского креста, на который он имел право рассчитывать.

Снова поневоле уединившись в Гатчине, Павел занялся формированием своей маленькой армии. Теперь у него было уже около двух тысяч солдат; были орудия; был даже игрушечный флот. Люди, правда, были живые, не игрушечные, но маршировали они, как заведенные автоматы. Одеты они были на прусский манер, все в париках с косами, усыпанными мукой. На улицах Гатчины стояли прусские полосатые будки. И на гауптвахтах наказывали солдат совершенно так же, как в Берлине — немилосердно и педантично. Зато кормили солдат изрядно, и офицеры не смели обижать нижних чинов зря, без нарушения дисциплины. Найти офицеру эту среднюю линию поведения — быть строгим и в то же время не давать повода для жалоб, на что все солдаты имели право, было не так-то легко. Воспитывался особый тип гатчинского служаки — покорного царского раба и жестокого фронтовика. Идеальным типом такого офицера был Алексей Андреевич Аракчеев, любимец Павла, злой гений Александра.

Надо представить себе лицо или маску Аракчеева, [47] ибо сам Павел без этого спутника не вполне понятен и выразителен. В своих записках Н. А. Саблуков{33} оставил для потомства портрет будущего временщика. «По наружности, — пишет мемуарист, — он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист; в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучить анатомию жил и мышц. Сверх того, он странным образом морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону. Цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот

огромный, лоб нависший. Наконец, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и лукавства. Будучи сыном мелкопоместного дворянина, он был принят кадетом в кадетский корпус, где он настолько отличился своими способностями и своим прилежанием, что вскоре был произведен в офицеры и назначен преподавателем геометрии; но он оказался таким тираном в обращении с кадетами, что вскоре был переведен в артиллерийский полк»…

Оттуда он попал в Гатчину.

Павел полюбил его. Почему? Кажется, будущий император дорожил им прежде всего потому, что в этом верном рабе он чувствовал какую-то опору. В Аракчееве был какой-то трезвый реализм, которого не было в Павле. А «реализм» так был нужен безумному цесаревичу, который изнемогал в тщетной борьбе с призраками. Почти все мемуаристы говорят об этом бреде Павла. Так и Ф. В. Ростопчин в письме к графу С. Р. Воронцову говорит о том, что Павел постоянно не в духе, ибо голова его «наполнена призраками». Иностранцы также обращали внимание на странности великого князя. Сегюр{34}, например, в своих мемуарах пишет: «Павел желал нравиться; он был образован, в нем замечалась большая живость ума и благородная возвышенность характера… Но вскоре, — и для этого не требовалось долгих наблюдений, — во всем его облике, в особенности тогда, когда он говорил о своем настоящем и будущем положении, можно было рассмотреть беспокойство, подвижность, недоверчивость, крайнюю впечатлительность, одним словом, те странности, которые явились впоследствии причинами его [48] ошибок, его несправедливостей и его несчастий… История всех царей, низложенных с престола или убитых, была для него мыслью, неотступно преследовавшей его *я* ни на минуту не покидавшей его. Эти воспоминания возвращались, точно

привидение, которое, беспрестанно преследуя его, сбивало его ум и затемняло его разум». Эти впечатления относились к 1785 году. Спустя четыре года, возвращаясь во Францию, где его ждали события Большой революции, этот дипломат провел в Гатчине у цесаревича два дня. Наблюдательный француз заметил в Павле те противоречия, которые изумляли и других современников, — любезность, остроумие, образованность и в то же время высокомерие, небрежность, деспотизм и, главное, мнительность, похожую на болезнь души. Француз угадал и причину этой душевной неуравновешенности Павла. Цесаревич изнемогал от страха. «Печальная судьба его отца пугала его, он постоянно думал о ней, это была его господствующая мысль...»

VI

Павел внимательно следил за тем, что происходило во Франции. Когда в 1789 году он узнал о разрушении Бастилии, о «Декларации прав человека и гражданина», о походе черни на Версаль, его разум отказывался верить в реальность этих событий. Не дурной ли это сон? Еще так недавно он сидел в Версале за интимным ужином с Людовиком и его женой, которую буйные парижане называют теперь подлой австриячкой. Павел живо представил себе этого застенчивого и, как ему казалось, добродушного человека, с большим носом, полными губами и короткой шеей, о котором ораторы говорили теперь как о тиране. И эта Мария-Антуанетта! Он вспомнил почему-то, как она произносила французские фразы с едва заметным немецким акцентом... И эта женщина, оказывается, — предмет ненависти всей нации. В чем дело? Правда, в воображении Павла предстала тотчас же толпа голодных оборванцев, которую он видел однажды около Пале-Рояля и которая показалась ему дикой и страшной, но эти санкюлоты, вероятно, сами виноваты в своей нищете. Добрая половина их — порочные пьяницы. Во

всяком случае, не лилии Бурбонов повинны в нищете народа. Впрочем,

Павел не мог уже рассуждать последовательно и здраво. Ему казалось, что дело вовсе не в банкротстве страны, не в нищете, не в привилегиях, а в чем-то ином. Восстали темные дьявольские силы, которые посягают на священное право монархов. Об этих таинственных прерогативах верховной власти было обстоятельно и убедительно написано в масонских книгах, которые он получал от Плещеева, Панина, прусского принца Генриха, шведского короля Густава III и прочих магистров и мастеров братства. Но теперь до Павла дошли странные вести, которые сводили его с ума. Ему стало известно, что будто бы страшные якобинские клубы инспирированы были масонами. В чем смысл и тайна этих безобразных противоречий? Не стал ли он сам и его коронованные друзья жертвой адской интриги? Может быть, масоны руководятся теми же правилами, что и последователи святого Игнатия Лойолы{35}, которые не брезгуют всякими средствами для своей единой цели. Масоны внушили Павлу, что христианская церковь отстала от просвещенного века, что религиозные истины хранятся в тайном учении, которое мудро согласуется с духом времени, что он, Павел, как будущий самодержец, выше епископов и соборов. Эта идея нравилась Павлу. Но вот, однако, всемогущие масоны не могут или не хотят спасти державного Бурбона. Значит, им все равно — монархия или якобинская власть, только бы изничтожить страшную соперницу — церковь. Надо или убить ее вовсе, как хотят якобинцы, или поставить над ней иную, самодержавную императорскую власть и лишить ее свободы. Так бредил Павел.

Совсем по-иному рассуждала Екатерина. Эта поклонница Вольтера, эта холодная разумница вовсе не склонялась к романтическим бредням, не интересовалась таинственным смыслом событий. Ей не приходило в голову отрицать

революцию по существу. В самом деле, не сама ли императрица весьма трезво и точно толковала о правах человека? Какие там высокие санкции, когда не только земные, но и небесные святыни пора сдать в архив! Такой способ рассуждать никак не мог понудить Екатерину противополагать что-либо принципиальное революционным идеям. Зато у нее явились в душе серьезные аргументы против революции в плане практическом. Ей решительно не пришлась по вкусу якобинская тактика. Она вдруг сообразила, [50] что идеи идеями, но, как она любила выражаться, «своя сорочка ближе к телу». Одним словом, если Бурбонам надо пасть, пусть падут, а ей, русской царице, есть еще соблазн поцарствовать. У нее возражения были тактические. Революция, мол, уместна при известном уровне цивилизации, при условии, если абсолютизм оказался непросвещенным и упрямым, но в России все наоборот: правительство весьма просвещенное, а парод еще не успел прочесть энциклопедистов и не заинтересовался Руссо. Надо сначала его обучить по-французски, но, к сожалению, для этого не хватает парижан и денег. И она раздавала тысячи и десятки тысяч этих неучей своим любовникам.

«Пугачеву я дала хороший урок, — думала она, — он из могилы не встанет. Авось в мое царствование второй не явится».

Однажды, когда Павел в ее присутствии, читая французские депеши, воскликнул в негодовании: «Я бы давно все прекратил пушками!» — Екатерина спокойно заметила: «Vous etes une bete feroce!{36}. Или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями?»

Это было сказано, по-видимому, с совершенной искренностью и полной убежденностью.

Она была убеждена, как Робеспьер, что истина вся целиком открыта примерно к средине XVIII века. Они разошлись только в практическом применении этой истины. Прозрачный и простой ум Екатерины естественно отвращался от всего туманного, неопределенного и загадочного. Ей не хотелось вникать в глубокомыслие мартинистов, и она не старалась понять их целей, быть может, не таких уже далеких от целей якобинцев, несмотря на различие их тогдашнего пути. Ей нужны были ясные формулы, вразумительные для всех. Влечение Павла к масонству уже само по себе могло внушить ей враждебные чувства. Она не догадывалась, что ее любимец, ее внук Александр, которого она прочила в наследники престола, значительную часть своей жизни посвятит впоследствии тому самому учению, которое очаровало Павла и которое Екатерина высмеивала в своих комедиях. Этот юноша, красивый, способный к наукам, не лишенный грациозного ума, а главное, умеющий пленять сердца с отроческих лет, [51] однако вынужденный делить свои чувства между двором Екатерины и «гатчинским семейством», — этот обольстительный юноша был, как точно о нем сказал Пушкин, — «в лице и в жизни арлекин»{37}. Екатерина не заметила в характере Александра этой двусмысленности, а иногда и странного коварства, ему свойственного.

В 1793 году, когда женили Александра, Екатерина на тайном заседании ближайших к престолу вельмож решительно поставила вопрос об устранении Павла от короны. В совете нашлись упрямцы, которые помешали единогласному решению этой нелегкой задачи. Пришлось отложить это дело. Но императрица нисколько не поколебалась в своем мнении. Этому предшествовал в 1792 году арест Новикова и его товарищей масонов. Екатерина узнала о сношениях друзей Новикова с Павлом, которые начались еще в 1787 году. Она знала, что знаменитый зодчий Баженов по

поручению московских мартинистов имел свидания с Павлом и снабжал его книгами и документами. Если бы не эта связь с Павлом, может быть, Новикову не пришлось бы сидеть в том самом каземате Шлиссельбургской крепости, где был убит Иоанн Антонович. В указе от 1 августа 1792 года по поводу связи Новикова с Павлом сказано было: «Они (розенкрейцеры){38} употребляли разные способы… к уловлению в свою секту известной по их бумагам особы, — в сем уловлении так, как и в помянутой переписке, Новиков сам признал себя преступником». Насколько Павел был «уловлен» Новиковым, мы не знаем. Мы не знаем также, когда именно Павел был «посвящен», однако едва ли можно сомневаться в том, что он был посвящен. В шведском королевском замке, в галерее коронованных масонов, имеется между прочим портрет Павла, украшенный эмблемами розенкрейцеров{39}.

Для устранения Павла от престола необходимо было согласие на это Александра, и Екатерина старалась обеспечить это согласие, но уклончивый молодой человек вел себя так загадочно, что императрица не вполне была уверена в успехе своего предприятия. Она обращалась даже с этою целью к Лагарпу, но добродетельный швейцарец не пожелал быть орудием императрицы. В начале 1795 года он получил отставку. Уезжая, он добился свидания с Павлом, который считал его якобинцем. Лагарп постарался внушить ему доверие [52] к сыну. Между Павлом и Александром неожиданно для Екатерины установились некоторые сочувственные отношения. Этот «ангел» оказался довольно ревностным служакой гатчинской кордегардии. Можно даже говорить, что Александр был не двулик, а многолик: он был в молодости и якобинцем, и гатчинским экзерцирмейстером, и сентиментальным мечтателем, и хитрым дипломатом…

Павел чувствовал, что кольцо враждебных ему сил становится все уже и уже. Людей к нему доброжелательных

или удаляют, или сажают в крепость, или стараются восстановить против него. Милый мальчик Александр как будто чувствует в нем отца, но что-то непонятное и жуткое в глазах этого юноши. Ложе шестидесятилетней императрицы делит теперь Зубов. Этот негодяй, не обладая способностями Потемкина, распоряжается государством, как своим хозяйством. Екатерина вовсе не скрывает свого намерения лишить Павла его права на престол. Она даже предложила Марии Федоровне убедить мужа в необходимости отречься от власти и требовала, чтобы она подписала документ об отстранении Павла от короны. Растерявшаяся великая княгиня не посмела даже открыть Павлу этого страшного в ее глазах умысла. Но после смерти царицы Павел нашел этот документ в бумагах матери и заподозрил свою жену в предательстве.

Павел жил, как затравленный зверь, всегда готовый к гибели, но все еще не утративший надежды на власть. Чем менее было оснований для этой надежды, тем мучительнее жаждал он этого ускользающего от него самодержавия.

VII

В ночь с 4 на 5 ноября 1796 года Павлу неоднократно снился сон, который тревожил его суеверное сердце. Ему снилось, что некая незримая и сверхъестественная сила возносит его кверху, и он каждый раз просыпался в смятении. Заметив, что Мария Федоровна не спит, он рассказал ей свой сон, и она в свою очередь призналась, что и ей снится тот же самый сон несколько раз.

Перед обедом Павел рассказал за столом Плещееву и другим об этом сне, который казался ему многозначительным. [53] Все молчали, зная странности Павла и причуды его воображения. В три часа прискакал в Гатчину граф Зубов. Он явился к Павлу бледный, испуганный и подобострастный. С

Екатериной случился апоплексический удар. Предусмотрительный граф Н. С. Салтыков послал еще раньше к Павлу офицера с известием об ударе, постигшем царицу, но Зубов опередил его. В четыре часа цесаревич уже поскакал в Петербург в Зимний дворец. Здесь всем руководил Салтыков, никого не допуская к умирающей императрице, которая, впрочем, лишившись языка, едва ли могла бы сделать какие-нибудь неожиданные распоряжения.

В Петербург Павел прибыл вечером. По дороге он встречал длинную вереницу курьеров, которые мчались к нему в Гатчину: все спешили известить Павла о новой его судьбе.

В Софии он встретил Ф. В. Ростопчина и обрадовался ему. Около Чесменского дворца Павел вышел из кареты. Он еще плохо соображал смысл события. Там, в Гатчине, когда ему сообщили о неожиданном приезде графа Зубова, он был в ужасе, предполагая, что тот приехал его арестовать. До Павла в это время дошли слухи о намерении Екатерины заточить его в замке Лоде. И теперь, когда выяснилось, что Екатерина умирает, он боялся поверить этой вести, от которой зависела вся его жизнь. Была тихая, слегка морозная лунная ночь. Павел смотрел на летучие облака, которые то закрывали луну, то снова, летя куда-то, оставляли ее без покрова, нагую и таинственную.

Ростопчин увидел, что Павел плачет. Нелепый курносый нос и безумные глаза были устремлены на луну. Этот сорокадвухлетний человек вдруг почувствовал, что он жалок и ничтожен, что это лунное небо, снежный саван земли и безмолвие — все исполнено тайной мудрости и ему, Павлу, не разгадать этой тайны никогда. Ростопчин схватил Павла за руку, забыв этикет, и пробормотал: «Государь, как важен для вас этот час!» Павел очнулся. Он вошел в роль цесаревича, готового принять власть, и сказал что-то подходящее к

случаю и торжественное. Потом они сели в карету и поскакали дальше.

В Зимнем дворце Павла встретили сыновья — Александр и Константин. Они были в гатчинских мундирах, и это было приятно Павлу. Он тотчас же прошел в спальню к императрице. Грузная, распухшая, она [94] лежала неподвижно, с помутившимися глазами. Редкие хрипы вырывались из груди старухи. Императрицу долго не могли перенести на постель, потому что не хотели пускать в спальню посторонних, а камеристки не в силах были поднять с полу это жирное, тяжелое тело.

Павел расположился в угольном кабинете рядом со спальней императрицы, и являвшиеся к нему должны были проходить через спальню, где лежало тело.

Одним из первых явился Аракчеев. Он был весь забрызган грязью, и Александр повел его к себе, дал ему свою рубашку, которую этот раб свято хранил до конца своих дней. В приемных дворца толпились гатчинцы. Изнеженные вельможи, избалованные гвардейцы шепотом перебрасывались французскими фразами, делясь впечатлениями от этих незнакомцев, которые в своих прусских мундирах, стуча огромными сапогами, расхаживали по залам, как завоеватели.

На рассвете 6 ноября Павел вошел в спальню Екатерины и спросил дежурных медиков, есть ли надежда на выздоровление. Надежды не было. Самодержавная царица умирала. Ростопчин привел к Павлу графа Безбородко, который знал тайну престолонаследия. Существует рассказ, будто хитрый граф, разбирая с Павлом бумаги Екатерины, молча указал на пакет, перевязанный лентой. Через минуту пакет пылал в горящем камине. Павел стал императором.

Безбородко вскоре был осыпан милостями чрезвычайно щедрыми{40}.

Когда Павел сжигал в камине документ об отстранении его от престола, императрица еще дышала. В камер-фурьерском журнале сказано, что страдания ее величества продолжались непрерывно — «воздыхание утробы, хрипение, по временам извержение из гортани темной мокроты...». Наконец из ее горла вырвался последний вопль, и она умерла. По словам Ростопчина, все тотчас же бросились «разыгрывать безумную лотерею безумного счастья».

Крестьяне, вопреки мнению некоторых историков, отнеслись к смерти Екатерины с полным равнодушием, и не мудрено: в ее эпоху крестьянская жизнь характеризуется лучше всего пословицей: «Босоты да наготы изнавешены шесты, а холоду да голоду амбары стоят». В ее царствование крепостное право достигло пределов своего развития. [55]

Но знать и дворяне, избалованные императрицей, искренне оплакивали покойницу. Им казалось чудовищным, что Павел, не щадя ее памяти, повелел извлечь из могилы останки Петра III и перенести их из Александро-Невского монастыря в соборную Петропавловскую церковь. Из ветхого гроба было вынуто тело некогда бесславно умерщвленного царя и положено в новый, богатый гроб. Павел лобызал истлевшие кости своего родителя и приказал сделать то же своим детям. 25 ноября император короновал мертвеца. Он сам вошел в царские врата, взял с престола корону и, сначала возложив ее на себя, потом увенчал ею костяк Петра III. Вся гвардия стояла шпалерами, когда 2 декабря везли гроб из Невского монастыря в Зимний дворец, и Павел, тонко и страшно издеваясь, повелел Алексею Орлову нести за царским гробом корону задушенного им императора.

Первые распоряжения и приказы нового императора касались масонов, гонимых при Екатерине. Императрица еще дышала, а Павел уже послал фельдъегеря к удаленному от двора А. Б. Куракину. Немедленно, приняв власть, Павел отдал приказ об освобождении Новикова из крепости. С И. В. Лопухина был снят надзор. Н. Н. Трубецкой и И. П. Тургенев вернулись в столицу. Возвращен был из Сибири Радищев. Князь Н. В. Репнин произведен был в фельдмаршалы на третий день по воцарении Павла.

Павел, по-видимому, не верил, что Французская революция подготовлялась при участии масонов. Коронованные розенкрейцеры не были, очевидно, посвящены в планы, о которых рассказал Баррюэль, если надлежит верить его рассказам. Как бы то ни было, мы не можем сомневаться в яростной ненависти Павла к якобинцам. Ему мерещились цареубийцы. Судьба Капета и его жены не давала ему спать. Ему противны были даже французские моды, и он поспешил запретить круглые шляпы и фраки. Градоначальник Архаров, как будто желая выставить Павла в смешном виде, отрядил двести полицейских чинов, которые в Петербурге срывали с прохожих якобинское платье. Приказано было всем, даже дамам, выходить из экипажа при встрече с императором, и это наводило ужас на все население столицы. На первом плане у нового самодержца был вахтпарад.

Все эти анекдоты тщательно записывали мемуаристы, [56] почти все, впрочем, так или иначе обиженные новым властелином. Началось четырехлетнее царствование Павла.

Авторы воспоминаний и дневников записывали то, что они видели и слышали, но они руководствовались при этом своими симпатиями и враждой. Когда перечитываешь эти длинные обвинительные акты, предъявленные Павлу его современниками, изумляешься жестоким причудам самодержца{41}. Но жизнь государства не зависит от одного

человека, даже облеченного неограниченной властью. Мнимый самодержец подчинялся фатальному ходу событий, не замечая, что судьба играет им, как он в детстве играл мячом. Тысячи незримых сил влияли на Павла, и он тщетно пытался уверить себя, что он управляет народом самодержавно. От его прихотей зависели иногда те или другие лица, но общий поток жизни он не в силах был остановить или произвольно направить по другому руслу.

Павел верил, что он, самодержец, не связан ни с какой партией, ни с каким сословием. Вопреки екатерининской традиции, он не опирался на дворянство и гвардию. По его представлению, все сословия равны. Нет привилегированных. Он однажды сказал: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». Павел успел лишить дворян некоторых их правовых преимуществ. При нем местное дворянское самоуправление подверглось стеснениям. Зато было приостановлено дальнейшее развитие крепостного права и даже сделана попытка его ослабить. Барщина была ограничена тремя днями в неделю. Это было первое умаление помещичьих прав, важное принципиально, но не имевшее практических последствий. При Павле было запрещено продавать дворовых людей и крестьян без земли с молотка. Однако сам Павел успел раздать немало крестьян своим любимцам, полагая, что частновладельческим крестьянам легче живется, чем крестьянам государственным. Его внешняя политика всецело зависела от сложных международных отношений. Ему приходилось иногда жертвовать своим самолюбием, подчиняясь требованиям обстоятельств. Он делал вид, что он сам желает и может направлять государственный корабль по определенному пути. На самом деле корабль плыл по воле непонятных сил. [57]

Павел хотел вести политику невмешательства в дела Европы, но он был вынужден вступить в 1799 году в коалицию Англии,

Австрии, Турции и Неаполя против Франции. Он не любил Суворова, и он был вынужден призвать гениального полководца для борьбы с французами.

При восшествии на престол Павел тотчас же обнаружил свое нерасположение к герою екатерининских войн. Суворов был водворен в своем нижегородском имении, и к нему был приставлен для надзора какой-то коллежский советник. В феврале 1798 года Павел вызвал Суворова в Петербург, желая, очевидно, с ним примириться, но из этого ничего доброго не вышло... Строптивый старик не спешил явиться к государю: он поехал на долгих, проселочными дорогами. Наконец состоялось его свидание с императором. Тщетно Павел намекал ему, что он не прочь воспользоваться его военными талантами. Суворов рассказывал про Измаил и Прагу, делая вид, что он не понимает сделанных ему предложений. На вахтпараде шутил и чудил, хотя Павел старался обратить его внимание на введенную им дисциплину. Суворов сказал генералам: «Не могу, брюхо болит», — и уехал, пренебрегая этикетом. Он явно издевался над новым обмундированием. Кривлялся на глазах Павла, застрял в каретной дверце, уверяя, что ему мешает шпага, прикрепленная на прусский манер. Не умея будто бы справиться с плоской шляпой, он ее уронил к ногам императора. Бегал и суетился между взводами, проходившими церемониальным маршем, вызывая мрачный гнев Павла. Наконец фельдмаршал получил разрешение снова покинуть столицу.

Ровно через год, однако, Павел по настоянию союзного венского кабинета вызвал Суворова из деревни, дабы поручить ему руководство армией. Генерал-фельдмаршалу Суворову объявлены были разные милости, и между прочим сам Павел возложил на пего с подобающей церемонией большой крест святого Иоанна Иерусалимского. Немедленно Суворов отправился на театр военных действий.

Начались изумительные походы. Суворов в три месяца очистил всю Северную Италию от французских войск. Битва на реке Адде и трехдневная битва на берегах Требии вписаны в военную историю золотыми буквами. Несмотря на австрийское предательство, Суворов, вступивший в Швейцарию, разбил французов у [58] Сен-Готарда, удивляя Европу своей неожиданной тактикой и стратегией.

Недовольный Австрией и Англией, Павел был вынужден порвать с коалицией. У него завязались переговоры с Наполеоном, которому он писал собственноручно, забыв, что он якобинец и узурпатор. В 1800 году Павел отозвал нашего посла из Лондона, негодуя на небрежное и даже коварное отношение англичан к нашему корпусу, который действовал против французов в Голландии. Павел уже намерен был, по соглашению с Наполеоном, сделать военную демонстрацию против Великобритании, угрожая ее владениям в Индии. Донское казачье войско двинулось к Оренбургу. Многим этот поход казался прихотью самодержавного безумца{42}.

VIII

Еще в 1785 году, когда Павел был престолонаследником и одиноко жил в опале, окруженный врагами, опасаясь всех и больше всего своей матери, его внимание привлекла к себе фрейлина его супруги Екатерина Ивановна Нелидова. Ей было тогда двадцать шесть лет, а Павлу тридцать. Нелидова была некрасива, однако еще на выпускном экзамене в Смольном она обратила на себя внимание многих своими способностями, остроумием, живостью характера и грацией в танцах. Екатерина поручила даже Левицкому написать ее во весь рост, танцующей менуэт. По знаменитому портрету и по другим, нам известным, легко себе представить эту прелестную дурнушку с японским разрезом глаз, с иронической и вместе нежной улыбкой на губах. В эту

крошечную женщину с маленькими ножками влюбился будущий император.

У Марии Федоровны, этой красивой дамы с пышным станом, неглупой, образованной, добродетельной и набожной, явилась неожиданная соперница, смутившая семейное счастье великокняжеской четы. Мария Федоровна, плача, жаловалась даже Екатерине на увлечение Павла. Она, Мария Федоровна, знает, что отношения ее мужа к этой «маленькой» носят платонический характер, но неизвестно, чем все это кончится. Многоопытная любовница Екатерина подвела великую княгиню к зеркалу и сказала: «Посмотри на [59] себя. Может ли с такой красавицей соперничать эта смешная дурнушка!» Но Мария Федоровна долго не могла успокоиться.

Уезжая на театр военных действий, на север, Павел оставил Нелидовой записку: «Знайте, что, умирая, я буду думать о вас». Эта нежная дружба, не омраченная грубой чувственностью, продолжалась четырнадцать лет. Несколько раз, тяготясь ревностью Марии Федоровны и сплетнями придворных интриганов, Нелидова удалялась от двора к себе, в Смольный, но эти разлуки продолжались недолго, потому что цесаревич скучал без своего крошечного друга. Тайна этой нежной связи была не только в том, что Павел восхищался остроумием и живостью характера Нелидовой, но и в том, что эта женщина полюбила его, Павла, бескорыстно и самоотверженно. Нелидова прекрасно видела все недостатки и пороки этого сумасбродного принца, но именно эта зоркая любовь, требовательная и откровенная, внушала Павлу доверие к его маленькой возлюбленной. Он пленен был ею, как женщиной, которая сумела сохранить свою власть над ним, не делая уступки его страсти. Сознавая свою силу, она нисколько не боялась Павла, этого, по представлению многих, ужасного тирана. Однажды, когда Павел был уже императором, дежурный во дворце

гвардейский офицер видел, как отворилась дверь из апартаментов фрейлины и оттуда поспешно вышел грозный император, а над его головой пролетел женский башмачок, упавший к ногам гвардейца. Через минуту вышла Нелидова и совершенно спокойно подняла утраченную ею в пылу гнева обувь.

Но, несмотря на подобные сцены, целомудренная связь Нелидовой и Павла никогда не была нарушена, хотя придворные сластолюбцы спешили истолковать эту связь весьма цинично.

Когда в 1790 году Павел серьезно заболел и думал о близкой смерти, он написал Екатерине такое письмо: «Мне надлежит совершить перед вами, государыня, торжественный акт, как перед царицей моей и матерью, акт, предписываемый мне моею совестью перед Богом и людьми: мне надлежит оправдать невинное лицо, которое могло бы пострадать, хотя бы негласно, из-за меня. Я видел, как злоба выставляла себя судьей и хотела дать ложные толкования связи, исключительно дружеской, возникшей между m-lle Нелидовой и [60] мною. Относительно этой связи клянусь тем судилищем, пред которым мы все должны явиться, что мы предстанем пред ним с совестью, свободной от всякого упрека как за себя, так и за других. Зачем я не могу засвидетельствовать этого ценою своей крови! Свидетельствую о том, прощаясь с жизнью. Клянусь еще раз всем, что есть священного. Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяла дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому бог».

Легко представить себе физиономию коронованной блудницы, когда она читала это послание Павла. Этот вопль безумного сердца казался ей сентиментальной глупостью, и, вероятно, в ее голове уже складывалась какая-нибудь новая комедия с каким-нибудь заглавием, казавшимся ей

остроумным, — «Опекун девства» или что-нибудь в этом роде. В ее сознании не вмещался этот рыцарский бред. Ей казалось противоестественным просиживать целыми часами с своей возлюбленной в беседе о Паскале или о Фоме Кемпийском, не смея коснуться ее руки. Она, смеясь, вспомнила, вероятно, длинную вереницу своих бравых любовников, которые не тратили времени на пустяки. И при этом Павел Петрович вовсе не был больным и бессильным человеком. Он успел народить многочисленное потомство, здоровое физически, и вообще был мужем, на которого не жаловалась Мария Федоровна, вовсе не склонная к аскетизму.

Нелидова оказывала влияние на Павла, но у нее не было никакой государственной программы, она, как любящая женщина, хотела охранять Павла от неосторожных и сумасбродных поступков, когда дело шло об отдельных людях или о каких-нибудь дворцовых и придворных делах, но она не могла противопоставить политическим идеям Павла ничего самостоятельного. Романтизм Павла даже импонировал этой чувствительной смольнянке.

Мария Федоровна наконец сообразила, что вовсе неразумно бороться ей с Нелидовой. Фаворитка Павла охотно пошла навстречу жене, потерявшей свои супружеские прерогативы. Обе женщины, искренне любившие Павла, заключили союз, стараясь оградить его от его подозрительной мнительности, похожей на манию преследования. Нелидова являлась постоянной ходатайницей за опальных. Ее способ воздействия на императора мог иногда показаться забавным. Пользуясь [61] правами на известную фамильярность, она, чувствуя, что Павел готов наговорить гневные и несправедливые слова, дергала его за мундир, и это напоминало безумцу о необходимости сдерживать свои порывы.

Но влиянию Нелидовой положен был предел. Ее близость к Марии Федоровне, по-видимому, не нравилась Павлу. Нравственная связь с женой у него была порвана после того, как он узнал, что Екатерина хотела ее привлечь к делу устранения его, Павла, от престола. Нашлись клеветники, которые внушали мнительному императору, что Мария Федоровна не чужда честолюбия. К этому времени и супружеские отношения между ними были прерваны: врачи запретили государыне поддерживать близость с мужем, уверяя, что возможная беременность будет для нее на сей раз смертельна.

Павел, привыкший к женской любви, тяготился одиночеством. Придворные интриганы старались использовать его слабость. На коронационных торжествах ему указали на девятнадцатилетнюю Анну Петровну Лопухину, будто бы в него влюбленную. На ее портрете, написанном Боровиковским, она представлена красавицей брюнеткой. В ней не было, по-видимому, тонкого и острого очарования, какое было в Нелидовой. Это была, вероятно, страстная женщина, хотя, быть может, с несколько томной и сонной чувственностью, которая пробуждается не сразу, но, пробудившись, владеет сердцем до конца.

Сводником явился бывший брадобрей императора граф Кутайсов, который договорился с отцом красавицы сенатором Лопухиным, и все семейство переехало в Петербург в угоду сентиментальному и чувственному царю.

На этот раз Павел не был расположен к платоническим отношениям, и черноглазая красавица разбудила в нем страсть. Когда однажды его ухаживания стали слишком настойчивы, она расплакалась. Смущенный Павел спросил о причине этих слез, и Лопухина призналась ему, что у нее есть жених, князь П. Г. Гагарин, находившийся в то время в армии Суворова. Павел, как рыцарь, немедленно предписал

Суворову прислать под каким-нибудь предлогом Гагарина в Петербург. Князь приехал, привезя известие об очередной победе Суворова. Свадьба Гагарина и Анны Петровны Лопухиной была отпразднована при дворе с необыкновенной [62] пышностью. Впрочем, рыцарские чувства Павла были непрочны. И Гагарин, по-видимому, не слишком был чувствителен к своей чести супруга. Красавица сделалась любовницей Павла незадолго до его смерти. Ей были отведены апартаменты во дворце.

IX

Трудно быть императором! Страшно быть самодержцем! Павлу хотелось иногда забыть о том, что он повелитель миллионов и что нет над ним никакой власти. Но как забыть? Вот разве пойти к княгине Гагариной, которая проста, слишком проста, и, кажется, не в силах уразуметь, что с нею делит ложе тот, кого сам Бог помазал на царство. Для нее Павел всего лишь возлюбленный и, к несчастию, чужой муж. Она его целует, а сама плачет, потому что он прелюбодей и она — прелюбодейка. Об этом она думает, а вот о том, что Павел ответит за судьбу России, она не размышляет вовсе. Об этом он думает один. И не с кем ему поделиться мыслями. В сущности, у самодержца и не может быть друга. Эти мысли сводили с ума императора. Самодержавие он понимал буквально. Он думал, что может управлять государством один. Он стоит в центре, и от него по радиусам исходят повеления. Начальники всяческих коллегий исполняют его волю. Их помощники передают дальше, в низшие инстанции все, что повелевают им свыше. При этом надо все делать незамедлительно. Скорей, скорей! Пусть мир узнает, как плодотворно самодержавие. Нельзя терять ни одного мгновения. Надо ввести поэтому железную дисциплину. Он так и сказал однажды: «Надо управлять железной лозой». После вахтпарада — экзекуции для зевак и лентяев. Солдаты роптали на эти порядки, но все-таки мирились с ними. Было

утешение — хорошо кормили, одевали и, главное, — вся тяжесть дисциплины падала на офицеров. Это они — «потемкинцы», «якобинцы» — виноваты во всем. *С* них, екатерининских баловней, надо взыскивать прежде всего. Введено было своеобразное равенство — равенство бесправия.

Чем дальше от престола, тем спокойнее жилось российским гражданам. Император был беспощаден, если узнавал о злоупотреблениях власти. Боялись брать взятки. Судебная волокита стала легче. Грабеж населения [63] чиновниками ослабел. Но столичные жители, особенно те, кто был причастен двору и гвардии, жили в непрестанном страхе строгого взыскания. Страна принадлежала ему, императору. Высшая сила поручила ему опекать Россию, и он, как отец, устанавливал порядок, мораль и быт. Никто не смел одеваться по своему вкусу, принимать гостей позднее известного часа; на улицах по ночам стояли пикеты полицейских, которые проверяли виды на жительство; город был как в осаде; цензура была дикая. Одно время ввоз иностранных книг был запрещен вовсе. Мимо дворца надо было проходить без шляпы, и обыватели бежали рысью по площади, когда зимний ветер леденил беззащитные головы. Во всех этих полицейских мерах виноваты были не менее Павла не по разуму ревностные исполнители царской воли. А иногда совершалось кое-что и против воли императора. Павел был противником смертной казни, однако на Дону казнен был полковник Грузинов{43}, преданный Павлу. Об этом постарался, кажется, граф Палеи; были кошмарные случаи и в самом Петербурге. Так, например, лейтенант Акимов за эпиграмму на построение Исаакиевского собора сослан был в Сибирь, причем ему предварительно отрезали язык. Пастор Зейдер за то, что он держал у себя в библиотеке какие-то неразрешенные книги, был наказан кнутом. Некий штабс-капитан Кирпичников в мае 1800 года прогнан был

через строй, и ему дали тысячу ударов шпицрутенами:. Впрочем, при оценке этих фактов надо принимать во внимание нравы эпохи и вообще историческую перспективу. Шпицрутены были и до Павла и после него. Шпицрутены были и при «просвещенном абсолютизме» Фридриха Великого. Да и вообще власть имущие делали политику на Западе не в белых перчатках. Безумный император был не хуже иных здравомыслящих королей.

Вводя гатчинский порядок в гвардию, Павел беспощадно удалял неисправных офицеров, иногда отправлял их в ссылку прямо с парада. Офицеры шли на военные смотры, беря с собой деньги на случай внезапного ареста. От репрессий Павла пострадало несколько тысяч человек. В рассказах о режиме Павла были и тенденциозные преувеличения, например, знаменитый анекдот о ссылке целого полка, который будто бы был отправлен в Сибирь прямо с военного парада. Но и без этих анекдотов павловское время не было похоже на [64] счастливую пастору ль, несмотря на сантименты государя и его возлюбленных.

Жить было страшно при Павле, но и самому Павлу страшно было жить. Восемь лет тому назад в Париже отрубили голову Людовику XVI. Павлу спится эта окровавленная голова. И это страшно. В самом деле, какая странная привилегия у королей: они всегда первые кандидаты на казнь. Только на долю счастливцев выпадает казнь публичная и торжественная. Чаще их убивают где-нибудь тайно, и они умирают мучительно, бел покаяния... Что делать? Кто поймет страдания его, Павла? Прежде у него не было друга более близкого, чем жена, Мария Федоровна. Но теперь on знает, что эта женщина утаила от него намерение Екатерины лишить его престола. Не мечтает ли и она, как покойная императрица, завладеть короной мужа? Граф Пален, этот проницательный, слишком даже проницательный человек, намекал на это дважды. Е1го, Павла, могут отравить. Эти

женские нежные руки как будто предназначены для того, чтобы вливать яд в стакан с вином. Хорошо, что теперь у него стряпуха англичанка, которой, кажется, можно довериться. Надо быть осторожным, однако. А сыновья? Нежный Александр и буйный Константин? Они — почтительны. Но он, Павел, помнит, как Саша еще отроком любил щеголять, прицепив к мундирчику трехцветную кокарду. Якобинец! Легкомысленная бабушка внушила своему любимцу безбожие, неуважение к авторитету, нелепые идеи о какой-то мнимой свободе... И почем знать, не честолюбив ли этот скромник. Не таится ли в душе этого вольнодумца развратная и подлая мысль об овладевай престолом. Ведь именно этого хотела Екатерина

А эти пьяные, распутные, наглые, избалованны» гвардейские офицеры, которые привыкли смотреть на государей как на своих ставленников? Разве можно быть уверенным в их преданности взыскательному и строгому императору? А близкие к царю вельможи, которые до сих пор не научились носить мундира по-гатчински и не забыли привилегий, которыми щедро их оделяла расточительная царица? Каждый из ни»; ненавидит Павла. Лицемеры! И есть еще одна ужасная мысль. Они все думают, что он, Павел, сумасшедший Когда к Зимнему дворцу но его приказу прибили ящик, куда всякий мог класть прошения на имя самого императора, и Павел собственноручно разбирал эти [65] жалобы простецов, что находил он там, в этом ужасном ящике? Не находил ли он там рядом с воплями о поруганной справедливости карикатуры на самого себя? Не там ли он нашел ряд жестоких писем, где его называли безумным тираном, жалким идиотом, презренным чухонцем, намекая на то, что он вовсе не сын Петра III, что он незаконнорожденный, что он даже не сын Екатерины, а какой-то неведомый, подмененный нем-то в час рождения? Разве ото не страшный кошмар? Так ведь, пожалуй, и в самом

деле сойдешь с ума! И странно: все, что ему, Павлу, кажется прекрасным и мудрым, добродетельным и благородным, вызывает двусмысленные улыбки у этой придворной черни, которая толпится вокруг тропа и втихомолку смеется над монархом. Он, Павел, в 1798 году возложил на себя корону и регалии великого магистра Мальтийского ордена. Само провидение внушило ему взять под свое покровительство рыцарей Иоанна Иерусалимского{44}. С тех пор как Мальтой овладели французские якобинцы, не прилично ли русскому самодержцу соединиться с верными защитниками христианства и рыцарских традиций? Но над ним все смеются. Даже аббат Жоржель иронизирует по поводу того, что русский император, явный схизматик, оказался вдруг магистром ордена, который признает папу главой церкви. Однако иезуитский патер Грубер{45} понимает сердце монарха. Они вместе обдумали великий план для борьбы с революцией. Сам Пий VII извещал чрез своих агентов русского венценосца, что он не прочь заключить с ним союз дружбы и духовного единения. Какие всемирные перспективы! Какой гениальный замысел! По кругом жалкие глупцы, которые ничего не понимают в великих идеях. Кроме того, эти люди завидуют ему… Они не могут простить ему его духовной высоты. Они готовят ему месть. Они убьют его.

X

Михайловский замок стоит в нашей северной столице особняком, как Эскуриал в Мадриде; но стилю подобных ему зданий нет, но от него, однако, веет своеобразной и мрачной прелестью. Зодчий-масон Баженов сочинил план замка. Разработал этот план и воздвиг желанный Павлу дворец архитектор Бренна. [66]

Сам император влиял на труды зодчих. Это здание проникнуто его меланхолией. Странное барокко исполнено неожиданной силы и суровой красоты. Замок был отделен от

города лугом и рвами. Император торопил художников и мастеров. Ему надо было приготовить себе великолепную усыпальницу.

В замке был мрачный лабиринт зал, и лишь в конце этих пышных комнат находился кабинет и спальня императора. Здесь стояла статуя безбожника Фридриха II, а над узкой походной кроватью висел сентиментальный ангел Гвидо Рени{46}. Все прочее было сухо и строго в этой келье. Роскошен был только письменный стол, который покоился на ионических колонках из слоновой кости, с бронзовыми цоколями и капителями. В спальне было несколько дверей. Одна, вскоре запертая Павлом наглухо, вела в покои императрицы. Была и потаенная дверь, ведущая вниз по винтовой лестнице в покои царской любовницы Гагариной.

Еще не просохли стены, когда император повелел двору переехать в полюбившийся ему дворец. «Ничто не могло быть вреднее для здоровья, как это жилище, — рассказывает Коцебу в своем описании дворца{47}. — Повсюду видны были следы сырости, и в зале, в которой висели большие исторические картины, я видел своими глазами, несмотря на постоянный огонь в двух каминах, полосы льда в дюйм толщиной и шириной в несколько ладоней, тянувшиеся сверху донизу по углам». Темные лестницы и жуткие коридоры, в которых постоянно горели лампы, придавали дворцу вид страшный и таинственный. В нем легко было заблудиться. На площадках дул непонятный ледяной ветер. Везде были сквозняки. И двери хлопали неожиданно, наводя ужас.

Первого февраля императорская фамилия переехала в Михайловский замок, а на другой день был маскарад. Приглашено было три тысячи человек. Гости робко бродили по залам, пораженные необычайностью обстановки, но трудно было оценить роскошь и великолепие убранства,

потому что от холода, сырости и дымных печей все залы были наполнены синим туманом, и, несмотря на множество свечей, люди возникали из полумрака, похожие на привидения.

Император держал себя странно, пугая придворных неожиданностью своих заявлений. Впрочем, казалось иногда, что он сам худо понимает то, что происходит [67] вокруг него. Кто он в самом деле? Самодержец или игрушка невидимых и враждебных сил? Главное — одиночество, томительное и ужасное. Некому верить. Все враги. Пришлось удалить в Москву Никиту Петровича Панина, который был когда-то близок ему. Разве мог он не удалить его, когда он слышал собственными ушами, как этот человек в разговоре с сыном Александром употребил слово «регентство»? Правда, он больше ничего не слышал. Но о каком регентстве шла тогда речь? Они считают Павла сумасшедшим, они хотят .заключить его в крепость, они хотят объявить регентетво! И этот кроткий вольнодумец Александр, баловень бабушки, с грустной улыбкой заточит его, Павла, в каземат. Дружба этого Панина с английским послом Впртвортом более чем подозрительна. Он даже явно стремился противодействонать политике императора, отказавшегося от союза с Великобританией. Этот человек не понял великой идеи Первого Консула, который скачал, что Россия и Франция созданы для того, чтобы управлять Европой. Жалкий, прозаический ум дипломата Панина не оценил гения Бонапарта. Но Павел протянет руку этому необыкновенному якобинцу, ибо дело идет на сей раз о чудотворном умиротворении всей Европы. Они поделят мир — Бонапарт и Павел. Они, как братья, будут управлять земным шаром. И граф Панин был выслан из Петербурга.

Как жаль, что пришлось выслать также Аракчеева, этого верного раба. Жаль, очень жаль! Этот верный нес готов разорвать всякого, кто приблизится с враждебной целью к

чертогам императора. Но все-таки пришлось выслать Аракчеева: он провинился по службе, старался спасти своего негодного родственника и свалил вину на другого, невинного. И Аракчеев сидел у себя в Грузине, не смея просить о помиловании. А как нужен сейчас этот верный раб!{48}

Вот кто мил сердцу Павла — это юный принц Вюртембергский Евгений, который гостит в Петербурге. Издеваясь над законным наследником престола, Павел уже несколько раз говорил, что он, император, возведет юношу на такую высоту, которая удивит мир{49}. Павел не знал, что его любовница Гагарина, не решавшаяся говорить ему о грозящей опасности, предупреждала об этом юного Вюртембергского принца. Она даже предложила ему укрыться у нее, Гагариной, если [68] наступят страшные события. И не мудрено, что Гагарина догадывалась о возможном перевороте. Любовник ее матери, был в числе заговорщиков.

Весь Петербург знал, что существует заговор. Надо было выбрать человека умного, сильного, тонкого, смелого, находчивого и вручить ему власть для обеспечения государства и трона. Павел выбрал для этого графа Палена.

В руках графа Палена были сосредоточены решительно все нити государственного управления, а главное, ему был подчинен петербургский гарнизон и государственная почта. Он перлюстрировал письма. Он был вездесущ и всевластен. Заговор не мог бы осуществиться, если б он того не захотел. Но он захотел. Он помнил, как четыре года тому назад Павел послал ему выговор, именуя его действия подлостью. И он понимал, что нет никаких гарантий от новых оскорблений и какой-либо иной мрачный час. И он стал во главе заговора. К загонору присоединились многие, в том числе Орлов, Чичерин, Татаринов, князь Голицын, Талызин, Мансуров, Уваров, князь Яшвиль, Бенигсен, братья Зубовы.

Но этого было мало. Нужен был Александр. С ним уже вел переговоры Н. П. Панин, когда он еще не был выслан. Хитрец уверял его, что дело идет о регентстве. Ведь управлял же Великобританией принц Уэльский, когда заболел Георг III; ведь было же регентство в Дании при Христиане VII. Россия гибнет, ибо государь заболел душевно. И Александр поверил.

В качестве регента он предоставит отцу его любимый Михайловский замок. Павел не почувствует заточения. Там можно будет устроить гипподром. Он будет кататься верхом по парку. В театре для его развлечения будут даваться спектакли. В его распоряжении будет прекрасная библиотека... Сам бы Александр согласился на такое уединение.

Утром 7 марта в кабинет Павла вошел с рапортом о положении столицы граф Пален. Император рассеянно слушал доклад. Потом он спросил:

— Господин Пален, где вы были в тысяча семьсот шестьдесят втором году?

— Я был в Петербурге, государь.

— Итак, вы были здесь?

— Да, государь. Но что вы хотите сказать, ваше величество? [69]

— Вы участвовали в революции, когда моего отца лишили трона и жизни?

— Я был, государь, только свидетелем, но сам не действовал. Я был очень молод. Я служил в гвардии унтер-офицером... Но почему вы задаете мне этот вопрос, ваше величество?

— Почему? Да потому, что хотят повторить тысяча семьсот шестьдесят второй год...

И глаза Палена встретились с глазами императора.

— Да, государь, этого хотят... И я сам в заговоре.

Павел удивился, но, кажется, не очень. Все было

так странно и безумно, что еще что-то новое, непонятное и страшное не слишком поразило воображение Павла. Может быть, так надо, чтобы заговорщики вдруг сообщали откровенно своей жертве о намерении ее убить. Однако Павел решился спросить:

— Вы в заговоре тоже? Что это значит, господин Пален?

Пален обстоятельно стал объяснять угрюмому императору, что он, Пален, сосредоточил в своих руках все нити заговора и скоро все разоблачит и всех арестует. Пусть только император не мешает ему исполнить задуманный план.

Павел смотрел на вельможного провокатора и думал о том, что негодяя надо арестовать прежде всех. Он, Павел, знает, кто сумеет арестовать этого всемогущего царедворца. Такой человек есть. Это — Аракчеев. Надо послать ему письмо с повелением немедленно охать в столицу. Павел не знал, что письмо будет перлюстрировано Паленом, что будет отдан приказ задержать Аракчеева у заставы.

— Ступайте, господин Пален, и будьте ко всему готовы.

Когда граф ушел, Павел со страхом оглядел свой кабинет. Дверь к императрице наглухо заперта. Эта изменница не ворвется к нему с кинжалом. У других дверей верные гайдуки. Во дворе кордегардия. Везде караулы. Надежны ли эти караулы? Неизвестно, что у них в головах, у этих

якобинцев. На днях, он зашел к сыну Александру. Цесаревич читал вольтеровского «Брута». Ага! Вольтерьянец! Ага! Якобинец! Тебе нравится, что цезарь убит. Ты забыл, негодный, участь царевича Алексея Петровича. Не всегда убивают цезарей. Иногда убивают и непокорных, восставших против помазанников божьих! В воскресенье 10 марта [70] в замке был концерт. Павел был рассеян и мрачен. Все безмолвствовали, не смея поднять головы. Перед выходом к вечернему чаю распахнулись двери, появился Павел, подошел, тяжко дыша, к императрице, остановился перед нею, скрестив руки и насмешливо улыбаясь; потом с той же гримасой он подошел к Александру и Константину. За чаем была гробовая тишина. Потом император удалился, не прощаясь.

Даже на улицах Петербурга было мрачно и жутко. Все принимали друг друга за шпионов. Разговаривали шепотом. После пробития зори, в 9 часов вечера, по большим улицам ставились рогатки и пропускались только врачи и повивальные бабки.

За несколько дней до события Павел катался верхом по парку. Погода была туманная. Солнце уже давно не заглядывало в Петербург. Вдруг Павел обернулся к сопровождавшему его обер-штальмейстеру Муханову и стал жаловаться на удушье.

— Как будто меня кто-то душит, — сказал император, — я едва перевожу дух. Мне кажется, я сейчас умру.

— Это от сырой погоды, — сказал Муханов, почему-то дрожа. — Это, государь, иногда бывает, когда туман...

Утром 11 марта патер Грубер, единственный человек, который входил к императору без доклада, принес свой проект о соединении церквей. Это была последняя редакция, которую

Павел должен был утвердить. Граф Пален загородил дорогу патеру и властно потребовал, чтобы он подождал. Войдя в кабинет к Павлу, он *так* утомил Павла длиннейшими докладами, что тот отложил свидание с иезуитом. Надо было ехать на развод. Соединение церквей пришлось отсрочить надолго.

В этот день Александр и Константин вторично приносили присягу императору. Они были под арестом и не знали своей дальнейшей судьбы. Однако к вечеру их пригласили к императорскому столу. Павел развеселился. Он громко говорил и шутил. Он несколько раз заговаривал с сыном Александром. А тот сидел, бледный и молчаливый, опустив глаза вниз.

Взглянув в зеркало, император сказал Кутузову:

— Какое смешное зеркало. Я себя вижу в нем с шеей на сторону.

После ужина вместо обычного приветствия Павел неожиданно сказал: [71]

— Чему быть, того не миновать!

Вечером 11 марта состоялось последнее собрание заговорщиков. Пален и Бенигсен, руководившие собранием, были трезвы и знали, что делают. Но они охотно угощали вином гвардейцев. Шампанское рекой лилось на этой мрачной попойке. Предполагалось, что тиран подпишет отречение от престола. Кто-то сочинял даже конституционные «пункты». Но этим не очень интересовались. Надеялись, что легко будет поладить с молоденьким Александром. Кажется, не все понимали, что, собственно, готовится. Объединяла ненависть к самовластному императору, который посмел сказать, что в России тот вельможа, с кем он, Павел, разговаривает и пока

он с ним разговаривает. В чаду попойки какой-то молодой человек вдруг громко спросил: «А что делать, если тиран окажет сопротивление?» Пален тотчас же ответил французской пословицей: «Когда хочешь приготовить омлет, надо разбить яйца». Все засмеялись, впрочем, не очень весело. И снова захлопали пробки от шампанского.

Командиры Семеновского и кавалергардского полков привели своих солдат. Талызин привел батальон преображенцев. Солдаты не знали точно, куда и зачем их ведут, но догадаться не так уж было трудно.

Пален предложил разделиться на два отряда и с двух сторон подойти к. замку. Одним отрядом командовали Бенигсен и Зубов, другим — сам Пален.

Ночь была холодная. Моросил дождь. Когда заговорщики вошли в Летний сад, сотни ворон поднялись со старых лип, оглашая туманную ночь зловещим карканьем.

Гвардейцы остановились, страшась идти дальше; Зубов пристыдил солдат. Они-де идут защищать цесаревича Александра, которому грозит беда. Александра любили солдаты за кроткий характер. Отряд двинулся дальше. Перешли замерзшие рвы.

Преображенский адъютант, состоявший в охране замка, без труда провел наговорщиков. Когда они очутились перед покоями императора, дежурные гайдуки-гусары попробовали не пустить ворвавшуюся банду, Одного из них ранили, другой убежал .и поднял тревогу. Солдаты на карауле заволновались, но офицер-заговорщик пригрозил шпагой, и восторжествовала павловская дисциплина: солдаты повиновались командиру. Пока отряд шел по коридорам и лестницам замка, некоторые из заговорщиков отстали и заблудились в дворцовом лабиринте. Немногие ворвались в

спальню императора. Тут были Платон и Николай Зубовы и Бенигсен. Пален со своим отрядом куда-то исчез. Это промедление, хитрое и коварное, было, разумеется, не случайно.

Когда заговорщики вошли в царскую спальню, Платон Зубов бросился к кровати. Она была пуста. Все озирались, недоумевая. Кто-то подошел к ширме и отодвинул ее. За нею стоял босой, в ночной рубашке, император. Блестящие и страшные глаза были устремлены на этих непонятных ему теперь людей, в орденах и лентах, со шпагами в руках. Бенигсен сказал, стараясь не смотреть на белое, как у Пьеро, лицо Павла:

— Государь, вы перестали царствовать. Александр — император. По его приказу мы вас арестуем.

В это время ворвалась в спальню новая толпа отставших офицеров. Пока Павел стоял недвижно, никто не смел его коснуться. Один из братьев Зубовых, совсем пьяный, решился заговорить с ним. Заплетающимся языком он стал упрекать в чем-то Павла, называя его тираном. Павел, перебив его, вдруг заговорил:

— Что вы делаете? За что?

Его голос, раздражавший их, знакомый голос, к которому офицеры привыкли на вахтпарадах, тотчас же пробудил у всех страсти. Толкая друг друга, офицеры окружили императора. Кто-то коснулся его руки. Павел брезгливо ее оттолкнул. Это было началом конца. Николай Зубов ударил императора в висок тяжелой табакеркой. Павел бросился в угол, ища оружия. На него зверски набросился пьяный князь Яшвиль. Павел закричал, защищаясь. Тогда все, в кошмаре хмеля, опрокинули императора на пол. Кто-то схватил шарф и, накинув петлю, затянул ее на шее самодержца. Бенигсен

подошел к Павлу, когда он уже не дышал. Император лежал недвижно, с изуродованным и окровавленным лицом.

Когда весть о смерти императора Павла разнеслась по городу, обывательская жизнь мгновенно изменилась. Сняты были рогатки повсюду; появились кавалеры в запрещенных круглых шляпах и жилетах; пышные выезды цугом с гайдуками загремели по улицам. Знать и дворяне ликовали. Все почувствовали, что ожил [73] потемкинский и екатерининский дух, ненавистный убитому императору.

Мемуаристы пишут, что ликовали все сословия и классы. На самом деле это было не так. Ликовали привилегированные. Народная, крестьянская масса была равнодушна к смерти Павла. Мужикам при Павле жилось так же трудно, как и при Екатерине, как впоследствии при Александре и Николае. Мужикам жилось худо, но не хуже, чем до Павла или после пего. Час крестьянской России еще не пробил. На сцене истории господствовало дворянство. Это они, дворяне, оставили нам свои пристрастные записки об императоре. Крестьяне тогда еще не писали своих дневников, и мы знаем их мнения лишь **по** случайным рассказам и живому преданию.

Мы знаем, что крепостные возлагали на царя особые надежды, оказавшиеся, правда, тщетными. Мужики поняли, что Павел не расположен к дворянству. Это давало повод рассчитывать на изменение крепостной зависимости, но расчеты эти оказались неверными.

Отказавшись от екатерининской политики по отношению к привилегированным. Павел не посмел или не успел опереться на крестьян. Лично он старался проявить к ним благожелательность, о чем свидетельствуют многочисленные документы, но это «народолюбие» Павла не шло дальше частных случаев. Он принимал меры во время голода,

отправляя в голодающие губернии сенаторов «насытить голодных»; он делал попытки к оздоровлению сельского населения, посылая на места врачей; он неоднократно разрешал в пользу крестьян дела о «тиранстве» помещиков, карая насильников… Но во всех этих действиях не было единого и последовательного плана.

В народе со времен Пугачева бродила мысль о том, что Павел будет крестьянским царем. Эта идея укрепилась, когда при восшествии на престол он повелел впервые привести к присяге крестьян, подчеркивая то, что они прежде всего граждане. Отмена рекрутского набора, объявленного Екатериной незадолго до ее смерти, возбудила в мужиках новые надежды на облегчение их участи. Даже складывалась легенда о том, что государь Павел не прочь освободить крестьян, но мешают помещики. Летом 1797 года крестьянин Владимирской губернии Василий Иванов сказывал: «Вот сперва государь наш потявкал, потявкал, да и отстал, [74] видно, что его господа переодолели». В этом выразительном замечании была доля истины. Император был бессилен совершить социальную и правовую реформу, потому что крепостное хозяйство, хотя и достигло в своем развитии предела и должно было неизбежно клониться к упадку, поддерживалось, однако, объективными экономическими и культурными условиями эпохи, тогда еще непригодными для новой формы землеиспользования.

За четыре года царствования Павла было издано и несколько законодательных актов и указов с целью обеспечения крестьянам достаточного земельного надела, но эти попытки упорядочить крестьянскую жизнь или вовсе не осуществлялись реально, или не достигали своей цели. Экономический и социальный процесс, который в конце концов, спустя шестьдесят лет, заставил правительство освободить крестьян, тогда еще только начинался.

В Петербурге однажды на разводе крепостные подали Павлу челобитную, где они требовали свободы от помещиков. Челобитчики за то, что действовали «скопом», были жестоко наказаны. Эта расправа не возмещала распространяться слухам об отмене крепостного права. Были случаи возмущения и неповиновения крестьян помещикам в Вологодской, Тверской, Псковской, Новгородской, Пензенской, Орловской, Калужской и Новгород-Северской губерниях. Бунты усмирялись довольно легко и, за редкими исключениями, без суровых репрессий. Однажды, впрочем, для подавления мятежа пришлось послать генерал-фельдмаршала Репнина. Крестьяне во всем винили дворян, а по Павла. У них не было основания питать к нему расположение, но и для прямой ненависти он не давал повода. Равнодушие народа к смерти Павла сказалось между прочим устами того гвардейца, который ходил смотреть тело покойного царя, дабы убедиться, что он действительно умер. «Да, крепко умер, — сказал он. — Лучше отца Александру не быть. А впрочем, нам что пи поп, то батька».

У народа к Павлу не было ни любви, ни ненависти. В судебных делах павловского времени встречаются, впрочем, отзывы об императоре весьма непочтительные. Мужички именовали его то «плешивым дураком», то «курносым царишкой», то, наконец, почему-то «гузноблудом». [75]

Правовое и хозяйственное положение крестьян при Павле почти не изменилось по сравнению с екатерининской эпохой, и естественно, что средняя крестьянская масса не почувствовала вовсе этого четырехлетнего царствования. И смерть Павла не произвела на большинство крестьян никакого впечатления,

Зато те мужики, которые склонны были к религиозным вопросам и размышляли на религиозные темы, по-своему поняли духовное лицо Павла. Несмотря на то что Павел

проявил некоторую терпимость к раскольникам, их отзывы об императоре дышат гневной непримиримостью. «Тот, кто царствует, рожден не от христианской крови, а от антихриста», «царь Павел — настоящий дьявол», «император наш воистину антихрист»…

Александр Первый

I

Этой ночи Александр никогда не мог забыть{50}. Ему даже порою снилась одна из комнат Елизаветы в нижнем этаже замка. Там белая мраморная девушка играла с голубем и тикали часы, изображавшие Бахуса на бочке. Александр тогда ушел из своего кабинета, чтобы не быть одному. Но Елизавета{51} сидела недвижная и молчаливая, и монотонное тиканье часов почему-то казалось страшным. Какая была мертвая тишина!

На одно мгновенье глаза Александра встретились с голубыми холодными глазами непонятной красавицы, которая восемь лет тому назад была повенчана с ним по приказанию бабушки-императрицы{52}. Теперь она поневоле делила с ним ужас этой ночи.

Александр сидел в кресле, сутулясь, как будто чьи-то незримые руки давили ему на плечи. Он вспомнил, как на днях он уговаривал плац-майора Михайловского дворца Аргамакова примкнуть к заговору и, когда тот колебался, упрекал его «не за себя, а за Россию». И Аргамаков согласился. Такова судьба. Теперь все кончено. Сегодня, сейчас все решится. Пален приведет заговорщиков, и они заставят безумного отца отречься от престола. Неужели он станет упрямиться? Разве не великое счастье сбросить с себя это свинцовое бремя власти? Александр окружит его своим добрым попечением. Павел Петрович скоро убедится, что

корона вовсе не нужна сыну. Надо освободить Россию, дать ей коренные законы, как в Англии, а потом покинуть трон, уйти куда-нибудь от этой отвратительной и, в сущности, мнимой самодержавной власти... Александр согласился на переворот не для себя, а для России. [77]

И вдруг он вспомнил, что сегодня вечером, в восемь часов, дежурный полковник Саблуков явился к брату Константину с рапортом к был свидетелем постыдной сцены. Он застал там Александра. Раздались неожиданно знакомые шаги императора, распахнулась дверь, и, гремя шпорами, вошел Павел. Саблуков ничем не обнаружил боязни, по Александр, наследник и, быть может, завтра император, вел себя, как испуганный заяц... Этот Саблуюж, чего доброго, напишет, пожалуй, в своих мемуарах, как цесаревич дрожал в постыдном страхе. И будущий историк не забудет рассказать потомству об этом позоре. Сегодня Обольянинов водил братьев в церковь для вторичной присяги. И Александр перед крестом и Евангелием клялся в верности монарху. Значит, он, Александр, клятвопреступник? Но что же ему было делать? Надо было выиграть время. Пален сказал, что император готовил или казни, пли вечную тюрьму жене и детям. Но почему же сегодня за ужином отец смотрел на него так добродушно? И почему, когда Александр чихнул, отец сказал, улыбаясь: «Будьте здоровы, сударь...»

От этого воспоминания мучительно заболело сердце. И вдруг — странный топот наверху. Александру почудился даже крик. Быть может, заговорщики бежали или арестованы. Тогда все кончено. Павел казнит сына...

Ровно в половине первого распахнулась дверь и вошел Палеи. Но Александр не узнал его. Нет, это не граф Петр Алексеевич. Куда девались его насмешливые, веселые глаза? Где же его холодная, ироническая улыбка? Какой странный и жестокий у него взгляд! И говорит он что-то непонятное и страшное.

Умер! Как умер? Почему? Ведь ему, Александру, обещано сохранить жизнь отца. Значит, император Павел убит! Он представил себе знакомое опрокинутое бледное лицо с мертвыми теперь глазами. Александр простонал: «Скажут, что я убийца...» Все заволоклось синим туманом, исчезли комната с мраморной девушкой и часами, граф Пален, голубоглазая подруга... Когда Александр очнулся, перед ним было опять жестокое лицо Палена. Граф тряс его за плечи и кричал ему в ухо:

— Довольно быть мальчишкой!.. Извольте царствовать!

Но Александр опять повалился на кушетку, рыдая. [78]

К нему подошла Елизавета. Когда он увидел ее сухие глаза и почувствовал прикосновение ее руки, ему сделалось стыдно.

Пришлось выйти на крыльцо дворца, где стояли мрачно семеновцы и преображенцы. А в два часа Александра повезли в Зимний дворец. Елизавета осталась успокаивать императрицу-мать, которую солдаты не пускали к обезображенному телу императора.

Так началось новое царствование. Этой ночи Александр никогда не мог забыть.

Когда Александр был объявлен императором, ему было двадцать четыре года. Многомиллионная Россия была теперь как будто в его полной власти, ничем не ограниченной. Но с первых же дней своего царствования он убедился в том, что на самом деле эта власть была мнимая, что даже он в своей личной жизни вовсе не свободен, что любой российский гражданин больше принадлежит себе и собой располагает, чем он, самодержец. Он был не свободен, потому что со всех сторон ему настойчиво предлагали противоречивые проекты и планы, и он постоянно чувствовал, что он как в сетях. Его убеждения одних радовали, других смущали, но он не успевал

применять к делу свои мысли, и ему казалось, что во дворце прозрачные стены и все смотрят на него, как будто он на эстраде. И он невольно говорил и держался, как плохой актер, чтобы утаить от всех свое сердце. Он был не свободен еще и потому, что теперь вдруг стало ясно для него самого, что он вовсе не готов к роли монарха. Как прошло его отрочество? Как прожил он свои юношеские годы? Разве не чувствовал он себя пленником то екатерининского вельможного быта, то гатчинской кордегардии? Он никогда не мог быть таким грубым, как брат Константин. Приходилось ладить и с императрицей и с отцом, но он никогда не мог понять, как, например, брат решался, насмехаясь, передразнивать отца за его спиной в присутствии Екатерины и ее любовника, а там, в Гатчине, издеваться над слабостями самодержавной монархини.

Нет, он, Александр, спасая себя, выдумал иные приемы, чтобы внушить к себе доверие и бабушки и [79] отца. Он льстил, расточал нежные признания, покорно со всеми соглашался, обезоруживал кротостью, тая свое настоящее лицо под маской «сущего прельстителя», как впоследствии выражался М. М. Сперанский.

Еще осенью 1779 года, когда Александру не было и трех лет, императрица писала Гримму:{53} «О! Он будет любезен, я в этом не обманусь. Как он весел и послушен, и уже с этих пор старается о том, чтобы нравиться».

Восьмилетним мальчуганом он удивил Екатерину, превосходно разыграв сцену из комедии «Обманщик»{54}. И не мудрено, что, когда ему исполнилось четырнадцать лет, царица могла написать своему корреспонденту: «Нынешней зимой господин Александр овладел сердцами всех».

А как его воспитывали? Чему учили?

Первой его учительницей и воспитательницей была сама Екатерина. Она сочиняла для него учебники по псом правилам тогдашней педагогики, внушая ему, как ей казалось, здравые понятия о человеке и мире. Все это было отвлеченно, рассудочно и поверхностно, но императрица была очень довольна собой и своим воспитанником и хвасталась его успехами в письмах своих к Гримму. Кое-чему, однако, мальчуган учился, играючи. Так, по-английски, например, он научился говорить раньше, чем по-русски, потому, что с младенчества к нему была приставлена англичанка. Его воспитателем был назначен граф Николай Салтыков, искушенный царедворец, любивший гримасничать и склонный к капризам. Этот человек маленького роста с большой головой не носил по каким-то гигиеническим соображениям подтяжек и непрестанно поддергивал рукой спадавшие с него штаны, чем очень забавлял своего воспитанника. Его педагогическая деятельность была ничтожна, хотя он и пользовался репутацией одного из самых проницательных вельмож. Другим воспитателем Александра был генерал Протасов. Его обязанности заключались главным образом в том, чтобы следить за повседневным поведением мальчика, и генерал добросовестно ворчал на своего воспитанника. Протасов оставил нам свой дневник, в коем мы находим отзывы об успехах будущего венценосца И надо сказать, что эти отзывы далеко не так благоприятны, как отзывы самой царицы.

Русскую историю и литературу преподавал Александру [80] М. Н. Муравьев{55}, один из весьма значительных наших писателей XVIII века, но педагог слишком робкий и нерешительный. Математику читал будущему царю Массон, географию и естествознание — известный Паллас, физику — Крафт. Надо было также научить наследника закону божию, и Екатерина, опасаясь, чтобы мальчику не внушили каких-нибудь суеверий, подыскала для него самого безопасного в

этом отношении протоиерея. Это был некто Сомборский, много лет проживавший в Англии, женатый на англичанке, бривший бороду и усы и носивший светское платье европейского покроя. Под руководством обмирщенного протоиерея Александр сделал новые успехи в английском языке, но едва ли этот законоучитель успел внушить своему питомцу какие-либо точные понятия о религии. Любопытно письмо этого протоиерея-англомана к митрополиту Амвросию. Оно, по-видимому, написано но поводу обвинений его, Сомборского, в уклонении от православия. Протоиерей не постыдился заявить следующее: «Одобрения и беспристрастные свидетельства высочайших особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многоразличные толкования». Иными словами, Сомборский признал для себя безусловным духовным авторитетом коронованную развратницу Екатерину, которая сознательно сделала этого ловкого дипломата законоучителем Александра. Правда, Екатерина не достигла своей цели, и Александр в конце концов, как известно, обнаружил чрезвычайную склонность к мистицизму, впрочем, далеко не православному. Но все эти педагоги играли вторые роли в деле воспитания Александра. Главным учителем и воспитателем будущего русского императора был швейцарец Лагарц. Этот человек, добродетели коего восхищали многих мемуаристов и биографов Александра, был типичный доктринер конца XVIII века. С покатым лбом» острым носом, тонкими губами, он напоминал чем-то Робеспьера. Подобно знаменитому якобинцу, он был склонен повторять непрестанно известные формулы, моральные и политические, как будто они являются божественным откровением, а не плодом весьма сухой и отвлеченной мысли. Лагарп, по-видимому, имел скудные сведения о подлинной жизни народных масс Европы, но говоря уже о том, что о русском народе он не имел никакого понятия. Он, однако, сумел привязать к себе своего питомца, который

почувствовал, вероятно, [81] неподкупность своего воспитателя. Среди развратных и корыстных вельмож екатерининского двора Лагарп должен был производить впечатление человека серафического, и не мудрено, что Александр проникся к нему уважением. Нравственный авторитет Лагарпа понудил юношу без критики принять его довольно плоскую и сентиментальную философию. Сам Лагарп был всецело удовлетворен идеями и теориями Гиббона, Мабли и Руссо, что, конечно, соответствовало духу эпохи.

Достаточно прочесть записку о воспитании, представленную Лагарпом Екатерине, чтобы оценить уровень его исторических знаний и его понимания истории. «Не следует никогда забывать, — пишет он, например, — что Александр Македонский, одаренный прекрасным гением и блестящими качествами, опустошил Азию и совершил столько ужасов единственно из желания подражать героям Гомера, подобно тому как Юлий Цезарь из подражания этому самому Александру Македонскому совершил преступление, сокрушив свободу своего отечества».

Внуку Екатерины, по-видимому, нравились такие высокие и добродетельные идеи, и он, вероятно, поверил, что эллинизация Азии в самом деле произошла потому, что Александр Македонский захотел «подражать героям Гомера». В голове юноши уже прочно сидела мысль о том, что существует некий «идеальный человек», и все прекрасно устроится, когда мир обретет природную добродетель во вкусе Жан-Жака. Бабушка сама ему когда-то объяснила «Декларацию прав человека и гражданина» и тем подготовила почву для уроков Лагарпа. Правда, в революционной Франции после этой самой декларации произошли события, весьма удивившие и.огорчившие русскую императрицу, но она все-таки поверила Лагарпу, что голова Капета, оказавшаяся в корзине гильотины, —

случайная ошибка и что добродетель по-прежнему вне сомнений. Республиканец Лагарп, впоследствии разочаровавшийся в своей маленькой швейцарской демократии, тогда еще был убежден, что Вольтер напрасно развенчивал оптимизм Панглоса, и что в этом мире все можно устроить превосходно, избегая якобинских крайностей.

Иную философию исповедовал в Гатчине опальный цесаревич Павел. Он не любил якобинцев. В этом вопросе юный Александр склонялся на сторону своего [82] либерального воспитателя и даже уговорил своего брата Константина прицепить к мундирчику трехцветную кокарду.

Однажды Павел, получив известия о новых жертвах гильотины, сказал своим сыновьям: «Вы видели, дети мои, что с людьми следует обращаться как с собаками». Лагарпа Павел старался не замечать. Иногда он спрашивал Александра: «А что, этот якобинец все еще около вас?»

Теперь, став императором, Александр припомнил все это, и порою у него являлись сомнения в правильности Лагарповой философии. А тогда у него вовсе не было сомнений, и он твердо верил в «права человека и гражданина». Но, несмотря на философические разногласия, у Павла и Александра было кое-что общее. Они оба любили военную дисциплину, «однообразную красивость» парадов и суровую систему прусской государственности. Великая императрица все-таки была «баба». А в сердце мальчика, при всей его нежности, просыпалось иногда самолюбивое чувство мужчины.

С 1791 года Екатерина перестала скрывать от близких ей людей свой план устранения Павла от престола, и Александр, посвященный в этот план, был в ужасе от близости того часа, когда ему придется заявить наконец о себе, сбросив личину. А личину ему приходилось носить постоянно, ему, подростку,

за которым шпионили все. Впрочем, один человек за ним не шпионил. Это был добродетельный Лагарп. И, кажется, Александр с совершенной искренностью полюбил его тогда, несмотря на всю узость и сухость доктрины этого своего ментора.

Разделяя мысли Лагарпа о возможном разумном к справедливом устроении будущего государственного порядка, юноша Александр полагал, однако, что было бы очень не худо, если бы этими опытами занялись другие люди, оставив в покое его, Александра, склонного к мирной и частной жизни, а не к роли государственного кормчего, властно направляющего среди бури бег «державного корабля».

А пока ему приходилось хитрить и таить от вслух свое отвращение к власти. Когда Екатерина открыла ему о своих намерениях устранить Павла и возвести на престол его, Александра, злополучный кандидат на русский трон написал бабушке письмо, достойное будущего соперника Талейрана и Меттерниха. В этом [83] письме Александр как будто бы на все был согласен, и в то же время нельзя было никак воспользоваться этим документом как доказательством, что Александр намерен оспаривать права отца на верховную власть. В это же время он написал письмо Павлу, называя отца «его величеством» и тем как бы предрешая вопрос о престолонаследии: Александр был уверен, что этого письма цесаревич не покажет грозной бабушке никогда.

Юноша Александр худо представлял себе тогдашнюю Россию. Знаменитые «потемкинские деревни» заслоняли истинную картину русской жизни, не говоря уже о непрестанном гипнозе роскоши и великолепия екатерининского двора. Трудно было сосредоточиться и обдумать свое ответственное положение среди блестящей суеты. Масштаб екатерининской политики был не малый. Но эта великодержавная и победоносная политика, которую вела Екатерина при

помощи Потемкина, Румянцева, Суворова и прочих ревнителей русской военной и государственной славы, слишком дорого обходилась стране и народу. Пределы России расширялись по плану Петра I, но это упорное стремление к естественным границам, к овладению, например, берегами Черного моря, не сопровождалось укреплением нашего беспредельного тыла. Наши финансы были неблагополучны; наше хозяйство было в беспорядке; внутренние силы страны в своем развитии отставали от завоевательных наших планов, и победы внешние не сопровождались правовыми и социальными реформами. Крепостные худо и лениво работали, тяготясь своим бесправием и нищетой. Мы знаем, как туго пришлось екатерининским генералам, когда Пугачев двинул на помещиков вольнолюбивых мужиков.

Но Екатерина не очень заботилась о том, чтобы Александр узнал подлинную, мужицкую Россию. Она старалась внушить ему уверенность, что ее политика превосходна, что пугачевщина — маленькое недоразумение, не более. Кажется, она сама поверила лести энциклопедистов, которые уверяли императрицу, что она благодетельница народа, достойная удивления и преклонения. Льстивый юноша тоже курил ей фимиам, и государыня баловала своего любимца. Между Павловском и Царским Селом она построила для него Александрову дачу. Там был разбит сад, по тенистым порожкам коего разгуливал будущий император со [84] своим воспитателем, слушая откровения о безмятежном благоденствии просвещенных западных народов. Лагарп советовал своему ученику просветить так же варварский русский парод, внушив ему понятия и чувства, какие свойственны, например, добродетельным швейцарцам. Александрова дача была подходящей декорацией для подобных сцен и диалогов. Дом великого князя живописно стоял на берегу озера. Все было очень аллегорично. В парке

были расположены как памятники военные трофеи. Павильон был расписан эмблемами богатства и щедрот. В знак любви к народу была построена уютная хижина и против нее каменная глыба с надписью: «Храни золотые камни», то есть знаменитый екатерининский «Наказ», которого, впрочем, не оцепил, как известно, грубый русский народ, потребовав вместо наказа воли и земли. Пришлось усмирять эту нетерпеливую чернь, но Екатерина делала вид, что она великодушно прощает неблагодарных и что после расправы с Пугачевым идиллия восстановлена и все благополучно. Для прославления этого благополучия был построен храм «Розы без шипов». Купол поддерживался семью колоннами, а на плафоне был изображен Петр 1, смотрящий с высоты небес на «блаженствующую Россию». Эта аллегорическая фигура опиралась на щит Фелицы, то есть Екатерины, чей портрет и был написан на этом самом щите. Были и другие храмы — Цереры, Флоры и Помоны...

Потом эта Александрова дача оказалась почему-то собственностью графа Н. И. Салтыкова, а впоследствии, когда Александр стал императором, была я вовсе заброшена, и никто не умилялся на храм «Розы без шипов», — очевидно, вера е такую противоестественность была утрачена.

III

Александр был умен. Он прекрасно понимал, что розы без шипов не бывает. И он боялся этих шипов. Государственные заботы ему казались непосильными и страшными. Надо было так много знать, всему учиться и обо всем помнить, а забвение так приятно. И так соблазнительно махнуть на все рукой. Его воспитатель Протасов писал в 1791 году, когда Александру было [85] четырнадцать лет: «Замечается в Александре Павловиче много остроумия и способностей, но совершенная лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб желать ведать о внутреннем положении дел, как бы

требовали некоторого насилия в познании, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходящем в Европе. То есть действует в нем одно желание веселиться и быть в покое и праздности. Дурное положение для человека его состояния. Я все силы употребляю преобороть сии склонности. От некоторого времени замечаются в Александре Павловиче сильные физические желания как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошими женщинами».

Вероятно, от опытной в чувственных делах Екатерины не укрылись «сильные физические желания» юноши, о которых сообщает в своем дневнике простодушный генерал. К тому же ей хотелось, чтобы Александр как можно скорее попал в положение взрослого человека: ей хотелось, чтобы все привыкли смотреть на ее любимца как на будущего императора. Надо было поскорее женить юношу. Екатерина навела справки у своих послов, и ее выбор остановился на баденских принцессах. Их было там, в Бадене, немало и, по уверению их знавших, одна другой лучше. В октябре 1792 года две принцессы, Луиза и Фредерика, прибыли в Петербург. Фредерика была совсем ребенком, а старшей, Луизе, было четырнадцать лет. Она-то и сделалась невестой Александра.

Молодые люди сначала дичились друг друга — особенно смущался Александр, который дня два вовсе не разговаривал с предназначенной для него девицей. Но в конце концов миловидность принцессы покорила сердце юноши. Александр Яковлевич Протасов 15 января 1792 года записал у себя в дневнике об Александре:

«Он мне откровенно говорил, сколько принцесса для пего приятна; что он уже бывал в наших женщин влюблен, по чувства его к ним наполнены были огнем и некоторым неизвестным желанием, великая нетерпеливость видеться и

крайнее беспокойство, без всякого точного намерения, как только единственно утешиться зрением и разговорами; а напротив, он ощущает в принцессе нечто особое, преисполненное почтения, нежной дружбы и несказанного удовольствия обращаться с нею, — нечто удовольственнее, спокойнее, но гораздо [86]
или несравненно приятнее прежних его движений; наконец, что она в глазах его любви достойнее всех здешних девиц. Из сих разговоров внимал я, что он прямые чувства нежности начинает иметь к принцессе, а все прежние были — не любви, а стремление физическое молодого человека к видной, хорошей женщине, в которых сердце не имело участия...»

«Посему расположась, — продолжает сообщать Протасов, — говорил я его высочеству о сих чувств и что прямая любовь, основанная на законе, соединена обыкновенно с большим почтением, имея нечто в себе божественное, поелику она, быв преисполнена нежности, прилепляется более к душевным свойствам, нежели к телесным, а по сему самому не имеет тех восторгов, кои рождаются от сладострастия; что сия любовь бывает вечная и что чем она медлительнее выражается, тем прочнее на будущие времена будет».

Екатерина, разумеется, не разделяла этой целомудренной философии добродетельного генерала. Царица не постыдилась поручить одной из дам подготовить Александра к брачному ложу, научив его тайнам «тех восторгов, кои рождаются от сладострастия». Неизвестно, удалось ли развратницам соблазнить юношу. Но эти опыты не прошли бесследно для Александра. То нежное чувство, которое возникло в душе юноши, теперь было отравлено и обезображено уроками, преподанными по предуказанию царственной любострастницы. Любовь Александра и Луизы, названной теперь Елизаветой, при самом своем зарождении была для них источником немалых страданий и сердечной боли.

Наружность и поведение Елизаветы внушали к ней симпатии многих. Стройная, нежная, голубоглазая красавица пленяла всех своей грацией и умом. Она была образованна. Она прекрасно знала историю и литературу, несмотря на свои четырнадцать лет. Александр, хотя и был на год старше ее. казался в ее обществе подростком. Красивый русский царевич, кажется, понравился баденской принцессе, по она не могла питать к нему тех чувств уважения и преклонения, какие свойственны невесте, влюбленной в жениха. Во всяком случае, в ее душе вовсе не было того «страха», который, по мнению мудреца, обязателен для жены по отношению к мужу. Самолюбивый юноша прекрасно чувствовал, что его невеста смотрит на него как на мальчика, и это мучило его. Были и другие обстоятельства, [87] смущавшие его сердце. Однако 23 сентября 1793 года состоялось бракосочетание Александра и Елизаветы. Екатерина была в восторге и не иначе называла молодых, как Амуром и Психеей. Иные впечатления были у простодушного Протасова. «В течение октября и ноября неведение Александра Павловича, —пишет он, — не соответствовало моему ожиданию. Он прилепился к детским мелочам, а паче военным, и, следуя прежнему, подражал брату, шалил непрестанно с прислужниками в своем кабинете весьма непристойно. Всем таковым непристойностям, сходственным его летам, по не состоянию, была свидетельница супруга. В рассуждении ее также поведение его высочества было ребяческое: много привязанности, но некоторый род грубости, не соответствующий нежности ее пола; он воображал, что надобно обходиться без чинов, и вежливость свободная, сопряженная с нежностью, была будто бы не уместна и истребляла любовь». Недоволен поведением Александра и другой свидетель его тогдашней жизни — Ф. В. Ростопчин, который в письмах к графу С. Р. Воронцову жалуется на то, что великий князь предается лени, ничему не учится и ничего не читает. Ростопчин заметил, что Елизавета «хотя и любит

своего супруга, но он для нее слишком молод». «Скука ее убивает». В это время нашелся неожиданный претендент на благосклонность Елизаветы. Это был фаворит шестидесятилетней Екатерины — Платон Зубов. Он вдруг влюбился в супругу Александра и стал настойчиво за ней ухаживать. Не встретив сочувствия, этот человек, как рассказывает одни мемуарист, по целым дням валялся на диване, изнемогая от страстного томления. Для утешения он заставлял своих крепостных музыкантов играть на флейте. Меланхолические и сладострастные звуки должны были, как он надеялся, исцелить его раненое сердце.

Само собою разумеется, что такие интриганки, как графиня Шувалова и другие придворные дамы, жадные до сплетен, с наслаждением следили за поведением молодой великой княгини.

Пятнадцатого ноября 1795 года Александр писал графу Кочубею: «Мы довольно счастливы с моей же» ной, когда мы одни, если при нас нет графини Шуваловой; которая, к сожалению, приставлена к моей жене» . Александр видел интригу, которую плели придворные негодяи, и от него не скрылись вожделения [88] Зубова. «Вот уже год и несколько месяцев, — сообщает он в том же письме, — граф Зубов влюблен в мою жену. Посудите, в каком затруднительном положении находится моя жена, которая воистину ведет себя как ангел».

Графиня Головина, описывая двор того времени, рассказывает, между прочим: «Удовольствиям не было конца. Императрица старалась сделать Царское Село как можно более приятным»... «Платон Зубов принимал участие в развлечениях. Грация и прелесть великой княгини произвели на него в скором времени сильное впечатление". Как-то вечером, во время игры, подошел к нам великий князь Александр, взял на руку меня, так же как и великую княгиню,

и сказал: «Зубов влюблен в мою жену». Эти слова, произнесенные в моем присутствии, очень огорчили меня. Я сказала, что эта мысль не может иметь никаких оснований, и прибавила, что, если Зубов способен на подобное сумасшествие, следовало его презирать и не обращать на него ни малейшего внимания. Но это было слишком поздно: «эти несчастные слова уже несколько смутили сердце великой княгини»...

«После игр я, по обыкновению, ужинала у их императорских высочеств. Открытие великого князя все бродило у меня в голове. На другой день мы должны были обедать у великого князя Константина в ею дворце в Софии. Я поехала к великой княгине с целью сопровождать ее. Ее высочество сказала мне: «Пойдемте скорее подальше от других: мне нужно вам что-то сказать». Я повиновалась, она подала мне руку. Когда мы были довольно далеко и нас не могли слышать, она сказала мне: «Сегодня утром граф Ростопчин был у великого князя с целью подтвердить ему все замеченное относительно Зубова. Великий князь повторил мне его разговор с такой горячностью и беспокойством, что со мной едва не сделалось дурно. Я в высшей степени смущена, не знаю, что мне делать, присутствие Зубова будет меня стеснять наверное...»

«Вечером мы вошли к императрице. Я застала Зубова в мечтательном настроении, беспрестанно бросавшего на меня томные взоры, которые он переводил потом на великую княгиню. Вскоре несчастное сумасбродстве Зубова стало известно всему Царскому Селу».

Кажется, Екатерина узнала последняя о новой страсти своего любовника. По-видимому, она сумела [89] излечить его от этого недуга, и ее горькое лекарство подействовало на него лучше, чем меланхолические звуки сладострасгных флейт. Впрочем, существует легенда, которая приписывает Екатерине роль сводни в этой невеселой истории.

Любила ли Елизавета своего мужа? Когда-то она написали по-французски на клочке бумаги: «Счастье моей жизни в его руках, если он перестанет меня любить, я буду несчастной навсегда. Я перенесу все, все, но только не это»...

А в январе 1793 года она писала своей матери, маркграфине баденской:

«Вы спрашиваете, нравится ли мне по-настоящему великий князь. Да, он мне нравится. Когда-то он мне нравился до безумия, но сейчас, когда я начинаю корочо узнавать его (не то чтобы он терял что-нибудь от знакомства, совсем напротив), но когда узнают друг друга лучше, замечают ничтожные мелочи, воистину мелочи, о которых можно говорить сообразно вкусам, и есть у него кое-что из этих мелочей, которые мне не по вкусу и которые ослабили мое чрезмерное чувство любви. Эти мелочи не в его характере, я уверена, что с этой стороны он безупречен, но в его манерах, в чем-то внешнем...»

IV

В начале 1795 года уволен был Лагарп, и Александр совсем перестал учиться и работать. Современники уверяют, что он забросил книги и предавался лепи и наслаждениям. Только гатчинские упражнения на военном плацу продолжали будто бы занимать будущего императора. Возможно, что все это правда, но едва ли Александр совсем бесплодно проводил время. Он внимательно наблюдал за тем, что делается вокруг. И если он не успел узнать подлинной, народной России, удаленной от него, зато он успел возненавидеть самодержавие бабушки и низость придворного быта. Будущий самодержец, он стыдился тогда безумия неограниченной власти и мечтал избавиться как-нибудь от нее.

Двадцать первого февраля 1796 года Александр писал Лагарпу: «Дорогой друг! Как часто я вспоминаю о вас и о всем, что вы мне говорили, когда мы были вместе. Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания. Оно с каждым днем становится для меня все более невыносимым по всему, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека...» Далее Александр жалуется, что придворный быт мешает его занятиям наукой. Но он, Александр, надеется одолеть эти неблагоприятные условия и вновь приняться за книги по программе, которую ему предложил, уезжая, Лагарп. Александра пугает также чрезмерное увлечение брата Константина военной дисциплиной. «Военное ремесло вскружило ему голову, и он иногда жестоко обращается с солдатами своей роты... Я же, хотя и военный, — заканчивает он свое письмо, — жажду лишь мира и спокойствия и охотно уступлю свое звание за ферму подле вашей или по крайней мере в окрестностях. Жена разделяет мои чувства, и я в восхищении, что она держится моих правил».

Весною того же года Александр пишет своему приятелю Виктору Павловичу Кочубею, который в это время занимал пост нашего посла в Константинополе: «Мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина *и* спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцепу, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыковы, Мятлев и

множество других, которых не стоит даже и называть и которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед тем, кого Доятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом. Вот, дорогой друг, важная тайна, которую я уже давно хотел передать вам; считаю излишним просить пас не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете, что это нечто такое, за что я мог бы дорого поплатиться...» [91]

По-видимому, Александр духовно созрел и возмужал. Это уже не тот мальчик, который «непристойно» шалит со своими камердинерами. У него сложились взгляды и убеждения. И если в них много сентиментальной мечтательности, то все же в них уже есть и та горькая правда, которая мучила этого императора всю его жизнь. Двадцать пять лет царствовал самодержавно Александр; двадцать пять лет оп воевал и управлял, возбуждая к себе то добрые чувства, то страстную ненависть, но время от времени навязчивая идея об отречении от престола возникала в его душе, и он изнемогал в этом борении с самим собою. Так, в 1817 году, во время одной из своих поездок на юг, он в присутствии нескольких лиц сказал: «Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наго, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться...» «Что касается меня, — продолжал он с выразительной улыбкой, — я пока чувствую себя хорошо, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят...» Присутствующие прервали государя. Однако не у одного Михайловского-Данилевского, бывшего свидетелем этого разговора, должна была явиться мысль о судьбе Диоклетиана. Через два года в Красном Селе, на обеде у брата

Николая, он сказал ему и его жене Александре Федоровне, что Константин отказался от прав наследника, и что Николаю надо готовиться принять власть, и что «это случится гораздо раньте, чем можно предполагать, так как это случится еще при его, Александра, жизни...» «Я решил сложить с себя мои обязанности, — сказал император, — и удалиться от мира». Осенью того же года в Варшаве Александр сказал брату Константину, что он твердо решил «абдикировать»{56}. В 1824 году он говорил Васильчикову: «И был бы рад сбросить с себя бремя короны, ужасно тягостной для меня...» Весной 1825 года он оделил подобное же признание посетившему Петербург принцу Оранскому. Наконец 15 августа 1826 года, накануне коронации Николая Павловича, Александра Федоровна писала в своем дневнике: «Наверное, при виде народа я буду думать о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: «Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими [92] мимо меня, и я, затерянный в толпе, буду кричать вам "ура"».

Итак, всю жизнь Александр лелеял одну мечту. Если в юности он романтически рисовал себе будущее, как скромную жизнь «с женой на берегах Рейна», полагая свое «счастье в обществе друзей и в изучении природы», то под конец жизни это бегство от власти он уже не представлял себе как счастливую идиллию. Но и в эти последние, трудные годы его мысль была прикована к одной надежде — бросить все и уединиться во что бы то ни стало... Но каждый раз эта надежда туманилась и вовсе исчезала, потому что не так легко сбросить с себя корону. Александр понимал, что надо что-то сделать сначала, обеспечить государство от полного развала и гибели, кому-то передать власть, но сделать это, окапывается, не так просто. И вот у него постепенно складывалось убеждение, что надо сначала установить какой-то порядок, дать России закон и гражданственность и потом,

когда свобода станет достоянием страны, уйти, предоставив иным продолжать начатое им дело.

Когда эти мысли, складывались у него в душе, как нечто стройное и для него самого убедительное, судьба свела его с одним человеком, который сыграл в его жизни не последнюю роль. Это был молодой польский аристократ князь Адам Чарторижский, попавший в Петербург как заложник. Он был старше Александра на семь лет. Значит, в 1796 году Александру было девятнадцать лет, а Чарторижскому двадцать шесть. Молодой польский патриот, изящный и красивый, был. умен, образован и выделялся при дворе Екатерины, и не мудрено, что Александр стал искать с ним близости. Адаму Чарторижскому нетрудно было занять с вопи особой воображение молодого великого князи и его прелестной жены. Чарторижский, будучи еще шестнадцатилетним мальчиком, успел познакомиться с выдающимися людьми эпохи. Он знал многих немецких филологов и писателей, он знал Виланда, Гердера и самого Гете. В 1793 году он ;кил и Англии. В 1794 году сражался против России под знаменами Костюшки, который теперь томился по воле Екатерины в петербургском плену.

Однажды весною — это было в 1796 году — Александр пригласил Чарторижского к себе в Таврический дворец. Они вышли в сад, и Александр гулял со своим гостем часа три, изумляя иноземца своей откровенностью и свободомыслием{57}.

«Великий князь сказал мне, — пишет Чарторижский в своих мемуарах, — что он нисколько не разделяет воззрений и правил Кабинета двора; что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее принципы; что все его желания были на стороне Польши и имели предметом успех ее славной борьбы; что он оплакивал ее падение; что Костюшко в его глазах был человеком

великим по своим добродетелям и потому, что он защищал дело человечества и справедливости. Он сознался мне, что ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях; что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за французской революцией...»

«Прохаживаясь вдоль и поперек по саду, — продолжает Чарторижский, — мы несколько раз встречали великую княгиню, прогуливавшуюся отдельно. Великий князь сказал мне, что его супруга — поверенная всех его мыслей, что она одна знает и разделяет его чувства, но что, за исключением ее, я — первое и единственное лицо, с которым после отъезда его наставника он решил говорить о них; что он не может поверить их решительно никому, ибо никто в России еще не способен разделять их или даже понять...

Этот разговор был пересыпан, как легко себе представить, излияниями дружбы с его стороны, с моей — выражениями удивления и благодарности и уверениями в преданности... Я расстался с ним, сознаюсь в том, вне себя, глубоко взволнованный, не зная, сон ли это или действительность...»

Мы, впрочем, теперь знаем, что Адам Чарторижский был взволнован тогда не только беседой великого князя, но и пленительной наружностью его жены, будущей императрицы Елизаветы Алексеевны.

V

Кто окружал тогда Александра? Кто кроме Адама Чарторижского был ему близок? Приходится назвать прежде всего молоденького тогда камер-юнкера А Н. Голицына, которому впоследствии также довелось играть немалую роль в биографии монарха{58}. [94]

Тогда ни он, ни Александр этого не предугадывали. Маленький и забавный, только что кончивший пажеский корпус, несравненный шутник, умевший с удивительным искусством передразнивать любого человека, он сделал себе придворную карьеру, цепляясь за юбку старой дамы Марьи Савишны Перекусихиной, у которой была незавидная репутация придворной сводни. Александр считал его своим приятелем. Тогда еще юный Голицын не был склонен к пиетизму и, кажется, тратил свои физические и душевные силы на приключения, весьма сомнительные в нравственном отношении. В своих мемуарах Чарторижский пишет про него: «Маленький Голицын в то время, когда мы с ним познакомились, был убежденным эпикурейцем, позволявшим себе с расчетом и обдуманно всевозможные наслаждения, даже с весьма необычайными вариациями».

В 1796 году приехали в Петербург молодые супруги — граф П. А. Строганов{59} и его жена Софья Владимировна. Эта красивая и умная женщина, несмотря на свой маленький рост и некоторую сутулость, с годами превратившую ее в горбунью, обладала чарами, покорявшими сердца многих. От ее очарований не был свободен одно время и Александр, сохранивший до конца дней полное к ней уважение и симпатию. Ее муж, большой поклонник английской конституция, в юности по капризу своего отца, известного мецената и масона, попал в руки своеобразного воспитателя — Жильбера Ромма{60}, который, сопровождая его в заграничном путешествии, ввел молодого человека в 1789 году в Парижский якобинский клуб. Юный Строганов тогда же вступил в связь с прославленной куртизанкой Теруань де Мерикур, которая в мужском наряде водила за собой мятежников в Версаль, требуя королевской головы. С. В. Строганова стала впоследствии самой норной наперсницей императрицы Елизаветы, а сам граф был правой рукой Александра в первые годы ею царствования. Среди

тогдашних друзей Александра весьма заметен был еще один человек — П. И. Новосильцев{61}, родственник графа Строганова. Он был значительно старше Александра и производил на него большое впечатление своим умом, образованностью, способностями и умением изящно и точно излагать свои мысли. Впрочем, и этот выдающийся человек не мог быть добрым примером в отношении нравственности, по чрезвычайной своей склонности к чувственным [95] наслаждениям. О Викторе Павловиче Кочубее{62}, тоже приятеле будущего царя, можно сказать устами желчного Вигеля: «Перед соотечественниками ему было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов и, как львенок крыловской басни, собирался учить зверей вить гнезда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость были блестящей завесой, за коей искусно он прятал свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил...»

Но пот в начале ноября 1796 года Екатерина скоропостижно умерла. На престол вступил Павел. Все тотчас изменилось Чуть ли не в тот же день Александру пришлось, облачась в старомодный прусский мундир, устанавливать полосатые будки вокруг дворца, как в Гатчине. Павел не сразу разогнал либеральных друзей Александра. Братьев Чарторижских он даже наградил какими-то орденами. Вместе с Александром новый царь посетил Костюшку, который жил на тюремном положении в одной из комнат Мраморного дворца. Павел, как известно, поспешил освободить вождя польских повстанцев. Но полонофильские чувства Павла были не особенно прочны. Через год он неожиданно удалил Адама Чарторижского, сделав его сардинским посланником, а брата его понудил подать в отставку и отправил зга границу. К концу Павлова царствования в Петербурге из тогдашних

вольнодумцев при Александре оставался один только П. А. Строганов. Зато у цесаревича был теперь совсем иного склада верный друг и преданный слуга — Алексей Андреевич Аракчеев. Этот любимец Павла дважды, впрочем, лишался его милости, то из-за подполковника Лена, застрелившегося после оскорблений, нанесенных ему временщиком, то за ложный донос по поводу кражи в арсенале. Этот грубый и полуобразованный гатчинский капрал нужен был Александру как надежный служака. За его холопьей спиной прятался цесаревич от строптивого Павла. Правда, трудно и тяжко было смотреть на аракчеевские приемы дисциплины, но другого выхода не было. «Алексей Андреевич, — писал Александр в 1796 году, — имел я удовольствие получить письмо ваше и сожалею весьма, что майоры я офицеры мои подвергаются наказаниям, особливо в [96] столь легких вещах. Надеюсь, что вперед будут рачительнее...» Аракчеев был нужен Александру как дядька. Чтобы избавить будущего императора от необходимости рано вставать для подписания утреннего рапорта Павлу, Аракчеев с готовой бумагой приходил по утрам к цесаревичу, когда тот еще лежал в постели вместо с женой, и Елизавета Алексеевна прятала плечи под одеяло, тюка гатчинский генерал разговаривал с Александром. Александр ценил его преданность. «Друг мой, Алексей Андреевич, — писал он, — я пересказать тебе не могу, как я рад, что ты с нами будешь. Это будет для меня великое утешение и загладит некоторым образом печаль разлуки с женой, которую мне, признаться, жаль покинуть». Кстати, эта записка, посланная и« Москвы в 1797 году, хотя и свидетельствует *о* добром отношении Александра к жене, однако едва ли могли вполне удовлетворить самолюбие супруги, надеявшейся, вероятно, что никакой гатчинский служака не может ее заменить ни в какой мере.

Впрочем, трудно предположить, чтобы Александр, человек неглупый и не лишенный нравственного чувства, мог не

видеть низких и темных особенностей, аракчеевской натуры. Ведь однажды на вахтпараде, когда Павел заставил Аракчеева подать в отставку, цесаревич, расспрашивая об этой новости генерал-майора П. А. Тучкова, назвал своего будущего фаворита «мерзавцем». И вот, однако, этот «мерзавец» был необходим Александру. Так, должно быть, любят цепных псов, охраняющих ревниво господское добро. И, однако, Александр не был слепым ревнителем павловских и аракчеевских порядков. В 1797 году он послал тайно Лагарпу письмо, в котором между прочим писал: «Благосостояние государств не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот. Невозможно передать все эти безрассудства, которые совершались здесь. Прибавить к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастья и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме; заслуги здесь ни при чем, одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать [97] мое сердце. Я сам, обязанный подчиняться веем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составлявшим мое любимое времяпрепровождение... Я сделался теперь самым несчастным человеком».

VI

И вот наконец Александр сам взял в руки власть. Теперь он мог сам распоряжаться самодержавно судьбой многомиллионного народа. Когда-то Павел в одном из своих рескриптов объявил, что во Французской республике

«развратные правила и буйственное воспаление рассудка» попрали закон нравственности... Александр был уверен, что ему не придется писать таких мрачных, рескриптов. Его друг II. А. Строганов рассказал, как веселился французский народ, когда пала Бастилия. Правда, тот самый Жильбер Ромм, который научил Строганова веселой якобинской философии, впоследствии закололся кинжалом, потому что ему самому угрожала гильотина, но подобные эпизоды еще более оттеняют здравую идеологию настоящих республиканцев. Александр и его ближайшие друзья, непременно вызванные в Петербург, были «республиканцами». В мае 1801 года Строганов предложил молодому царю образовать негласный комитет и в нем обсуждать планы государственного преобразования. Александр охотно согласился, и друзья, шутя, называли свой тайный комитет Комитетом общественного спасения. А пока спешно были опубликованы либеральные указы.

Уже 17 марта, когда изуродованное тело Павла, прикрытое порфирой, лежало в тронной зале Михайловского замка и любопытствующие могли видеть подошвы ботфортов императора и поля широкой шляпы, надвинутой на лицо задушенного, вышел ряд указов, весьма облегчавших обывательскую жизнь. Выла уничтожена Тайная экспедиция. Наша петербургская Бастилия — Петропавловская крепость — опустела: многие заключенные в ней были выпущены. Находившиеся в ссылке стали съезжаться в недавно еще недоступную им столицу. Вернулся в Петербург из деревни и Александр Николаевич Радищев. Число лиц, получивших [98] вновь утраченные ими при Павле права, равнялось, Кажется, двенадцати тысячам человек. 15 марта был опубликован манифест с амнистией эмигрантам. Был издан особый указ обер-полицеймейстеру, где предлагалось полиции «не причинять никому никаких обид». Разрешался ввоз из-за границы книг, что было запрещено покойным

императором. Частные типографий, запечатанные при Павле, снова стали работать. Жалованная грамота дворянству была восстановлена, равно как и городовое положение. В апреле были уничтожены виселицы, которые стояли на площадях с прибитыми к ним именами провинившихся. Переменили военную форму, и хотя новые мундиры с чрезмерно высокими и твердыми воротниками тоже были весьма неудобны, все ими восхищались только потому, что уничтожены были ненавистные мундиры прусского образца.

Более серьезные реформы надо было обдумать и обсудить основательно. Главное, надо было ознакомиться с положением дел в стране. У молодого императора были очень смутные понятия о некоторых вещах первостепенной важности. Крестьянский вопрос, например, казался ему легко разрешимым, пока он не стал венценосцем. Теперь все, казавшееся простым, неожиданно стало трудным и сложным. Кроме того, кое-чего император вовсе не знал. В мае от его имени было сделано распоряжение — не печатать в официальных ведомостях объявлений о продаже помещиками крестьян без земли. Забыл ли этот свой приказ император, или он как-нибудь прошел для него самого незаметно, только впоследствии выяснилось, что Александр вообще не знал, что у дворян есть такое право — продавать людей, как скот, разлучая жен, мужей и детей. Будучи за границей, царь с негодованием отрицал, что в России такое право существует. Однако, убедившись из одной .случайной жалобы, что российское рабство в самом деле рабство, а не сельская идиллия, царь поднял этот вопрос в Государственном совете, изумив почтенных членов высшего правительственного учреждения своим простодушным неведением наших тогдашних порядков. Ученику Лагарпа пришлось поздно узнать кое-что, о чем надлежало подумать раньше.

Негласный комитет состоял из графа В. П. Кочубея, П. А. Строганова, Н. Н. Новосильцева и князя [99] Адама Чарторижского. Александр был по возрасту младшим. Вольнодумцы и республиканцы, как только мм пришлось заняться реальной политикой, стали вдруг очень осторожными и медлительными. Решено Ныло сначала изучать Россию, а потом уже приступать к реформам. Кое-что, впрочем, надо было делать немедленно. Идея Лагарпа о том, что закон должен быть выше монарха, усвоен был Александром хорошо. Поэтому летом дан был указ об учреждении особой комиссии по составлению наколов. В одном из частных писем того времени Александр писал: «Как скоро себе дозволю нарушить законы, кто тогда почтет за обязанность наблюдать их? Быть выше их, если бы я мог, то, конечно, бы не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекала...» Все эти благонамеренные слова не совсем, однако, вязались с практикой молодого государя. Улита едет, когда-то будет, а пока приходилось самому решать все, ибо незыблемых законов еще не было, а со всех сторон люди торопят, добиваются чего-то, предлагают свои услуги, а верить никому нельзя, ибо это все те же люди, каких ему, Александру, не хотелось иметь даже в качестве лакеев.

Приехал, правда, из Швейцарии Лагарп. Но Александру он казался теперь не таким авторитетом, как раньше. Этот вечно резонерствующий сорокалетний человек был немного смешон. В качестве члена Гельветийской директории он всегда носил форму своего звания. Поверх кафтана болталась на вышитом поясе большая сабля, и Александру казалось забавным видеть своего мирного педагога в таком воинственном наряде.

На заседания Негласного комитета Лагарпа не приглашали. Эти тайные собрания происходили два или три раза в педелю. После кофе и общей беседы император удалялся, и в

то время как все приглашенные разъезжались, четыре человека пробирались, как заговорщики, по коридору в одну из внутренних комнат, где их ждал Александр. Здесь вершились судьбы России, но пока еще очень отвлеченно и не совсем согласно. Исполнительная власть была еще в руках старых вельмож, и сановники недоверчиво смотрели на ревнителей новой государственной программы. В их глазах друзья молодого императора были «якобинской шайкой». Александр не любил екатерининских вельмож. [100]

К некоторым из них он питал непреодолимое отвращение. Протяжный и гнусавый голос какого-нибудь графа А. Р. Воронцова и вообще манеры всех этих льстивых и лукавых царедворцев были противны царю. Но они были сведущи в текущих делах, и приходилось иметь дело с Д. П. Трощинским, А. А. Беклешовым, графом Завадовским, графом Марковым и другими{63}. От убийц Павла Александр отделался довольно легко. Даже всемогущий граф Пален без всякого сопротивления с его стороны был удален от двора летом 1801 года. Значит, этого надменного и властного человека Александр терпел около себя всего лишь три с половиной месяца.

Вельможи спорили друг с другом и даже иногда в присутствии государя. «Между ними есть зависть, — сказал однажды Александр своему генерал-адъютанту Кемеровскому. — Я приметил это, потому что когда один из них объясняет какое-либо дело, кажется, нельзя лучше; лишь только он коснется для приведения в исполнение до другого, тот совершенно опровергает мнение первого, тоже, кажется, на самых ясных доказательствах. По неопытности моей в делах я находился в большом затруднении и не знал, кому из них отдать справедливость; я приказал, чтобы по генерал-прокурорским делам они приходили с докладом ко мне оба вместе, и позволяю им спорить при себе сколько угодно, а из всего извлекаю для себя пользу».

Так поневоле учился Александр царствовать. Мечты о прекрасной идиллии на берегах цветущего Рейна, о счастливой и мирной жизни в качестве простого гражданина пришлось оставить. В самом деле, что было делать Александру? Кому передать власть? Нашлись бы, конечно, царедворцы, которые согласились бы взять на себя обязанности правителей, но такая олигархия знати погубила бы Россию. На это пошли бы как раз самые недостойные и корыстные. Члены Негласного комитета, кстати сказать, прекратившего свои занятия через год с небольшим, не смели даже помыслить о верховной власти. Кроме того, в их среде не было единства. Адам Чарторижский, например, чувствовал себя одиноким, несмотря на чрезвычайное благоволение императора. «Хотя я и близко был связан с моими товарищами по неофициальному комитету, — пишет он в своих мемуарах, — я все же не мог им вполне довериться: их чувства, их постоянно проявлявшийся чисто русский образ мыслей слишком разнились от того, что происходило в глубине души...» А между тем Александр поручил ему руководительство внешней политикой! Наблюдательный Жозеф де Местр{64}, бывший тогда сардинским посланником при нашем дворе, писал в это время в своих записках: «Чарторижскяй будет всемогущ. Он высокомерен, коварен и производит впечатление довольно отталкивающее. Сомневаюсь, чтобы поляк, имевший притязание на корону, мог быть хорошим русским».

Мнение французского эмигранта разделяли многие русские патриоты. Это не было секретом для Александра, но он уже научился презирать мнения своих подданных.

К чему свелась деятельность Негласного комитета? Никто из его членов не предложил никакого серьезного конституционного проекта. Все полагали, что надо подождать, — так думал даже ученик Жильбера Ромма Строганов. Конституция в то время была возможна лишь

сословная и цензовая, с явным преобладанием аристократов. В такой конституции Александр и его друзья видели прямую угрозу их филантропической программе. Знать и богатые дворяне, окружавшие «жадною толпой» трон, не хотели коренных социальных реформ, уверенные после их победы над Пугачевым, что не пришло время делиться чем-либо с народом. Но, с другой стороны, крестьянский вопрос, к которому неоднократно возвращался Негласный комитет, требовал участия в его решении каких-то политически грамотных людей, а их не было вовсе, а те, которые были, относились к этому вопросу небескорыстно, как явно в нем заинтересованные.

Александр обращался то к одному, то к другому государственному деятелю, предлагая сочинить проект крестьянской реформы, но каждый раз наталкивался на неодолимые препятствия. Иные старые деятели, оказались, впрочем, в этом вопросе более либеральными, чем молодые реформаторы. А. Р. Воронцов предлагал, например, проект о владении крестьян недвижимой собственностью, — проект, казавшийся в то время первым шагом к освобождению крестьян от крепостной зависимости. Мордвинов, человек со взглядами английского тори, поддерживал идею о праве владения недвижимыми имуществами купцов, мещан и казенных крестьян, но он твердо стоял на той точке зрения, что освобождение крестьян от крепостной зависимости может [102] совершиться только по желанию самого дворянства. Будучи либералом, он хотел освобождения крестьян, но он надеялся, что с образованием достаточного количества хуторян или фермеров с наемными работниками такого типа хозяйства вытеснят хозяйства помещичьи с землепашцами-крепостными, и таким образом безболезненно совершится крестьянская эмансипация. Все проекты немедленно подвергались злой критике. Александр не мог остановиться ни на одной программе, потому что он

повсюду встречал глухое и мрачное сопротивление. Нельзя было давать дело освобождения в руки его врагов. Однако Александр и впоследствии постоянно возвращался к вопросу об уничтожении крепостного права. Он даже поручал Аракчееву представить ему соответствующий проект, и Аракчеев сочинил план постепенного выкупа крестьян у помещиков с наделом в две десятины, но Александр не в силах был довести дело до конца даже в жалких пределах грубой аракчеевской реформы. В этом вопросе у императора не было никакой поддержки. Даже Лагарп находил, что небезопасно освобождать крестьян при столь низком уровне их просвещения. Надо их сначала образовать и перевоспитать, а потом освобождать.

Не мешало перевоспитать и господ дворян, равно как и сановников. Не было людей. Александр долго не мог найти подходящего человека на пост петербургского военного губернатора. Назначенный на этот пост фельдмаршал Каменский начал свою деятельность тем, что в припадке жестокого чудачества встретил однажды своего правителя канцелярии кулаками и так его толкал под бока, что несчастный «козлиным голосом вопиял до небес», и по возвращении домой тяжко занемог.

Александру было скучно с этими людьми. Екатерина когда-то прикрывала блеском и роскошью двора темные нравы эпохи; Павел любил торжественную пышность трона, но все поневоле, от страха перед самодержавными причудами безумца бежали и таились, где кто мог; Александр не любил ни пышности, ни роскоши, он хотел сблизиться с людьми, искал их, но поиски его почти всегда были тщетны. Его осуждали за излишний демократизм. Оп одевался и держал себя, как простой гвардейский офицер, удивляя всех своим отвращением к державному церемониалу. [103]

Пятнадцатого сентября 1801 года пришлось короноваться в Москве. Александр изнемогал от обязательного великолепия обрядов и этикета. При первой возможности он удалялся от придворной толпы и часами оставался один, молча, с угрюмым и неподвижным взглядом. Он торопился уехать из Москвы, хотя его везде приветствовали восторженно, и однажды сказал: «Когда показывают фантом, не следует делать это слишком долго, потому что он может лопнуть».

VII

По случаю коронации были объявлены разные награды, но многие сановники были недовольны, не получив крестьян, на что они рассчитывали. Одному из таких недовольных Александр сказал: «Большая часть крестьян в России рабы: считаю лишним распространяться об унижении человечества и о несчастии подобного состояния. Я дал обет не увеличивать числа их и потому взял за правило не раздавать крестьян в собственность».

Едва ли эти мысли утешили сановника, что не так уж удивительно, ибо даже просвещенные литераторы того времени не очень были склонны к крестьянской эмансипации. Карамзин, например, в своем «Вестнике Европы» охотно помещал сентиментальные повести, где жизнь крепостных и быт помещиков изображались .как счастливая идиллия. А ведь Карамзин был самый образованный человек века. А в «Друге просвещения»{65} появлялись время от времени заметки Державина и Шишкова, где встречались недобрые намеки на «якобинскую» программу императора. Вот в какой обстановке начал существовать Александр. И даже те журналы, которые как будто поддерживали либеральные идеи молодой партии, никогда не могли отрешиться от сословной, классовой заинтересованности. Так, например, издававшийся И. И. Мартыновым «Северный вестник»,

получая субсидию от правительства, защищал конституционную программу, но ревниво охранял привилегии помещиков-дворян.

Александр вступил на престол с искренними намерениями ограничить абсолютизм, по на практике ему приходилось пользоваться своей властью самодержавно, и попытки ее умалить встречали с его стороны [104] гневный отпор. Известно, например, его столкновение с Сенатом, когда господа сенаторы пытались отклонить закон об обязательной службе дворян унтер-офицерского звания. Когда испуганный генерал-прокурор, поэт Г. Р. Державин, совсем не в поэтическом трепете прибежал к царю со словами: «Государь! Весь Сенат против вас...» — Александр изменился в лице и сухо ответил, что он это дело разберет. Спустя несколько месяцев последовало разъяснение, что Сенат превысил свои полномочия, и тем все дело кончилось.

Александр удалил от трона Палена, Панина и Зубова, но он прекрасно знал, что, поверни он кормило государственного корабля покруче, снова явятся заговорщики, и опять найдутся графы и князья, которые убьют его, так же как убили они Павла. Но ведь и он сам, Александр, был в заговоре. Не ждет ли его справедливое возмездие? И он улыбался приветливо всем, окружавшим его, и становился мрачным, как только ему приводилось остаться одному. Князь Адам Чарторижский и другие, имевшие доступ к его закулисной жизни, свидетельствуют, как они часто видели удивительную перемену в государе: веселая улыбка его таила жуткую угрюмость и ласковость слов скрывала ненависть и презрение.

В чем Александр мог найти оправдание своей жизни? Где он мог искать смысла тех противоречий, к каким он сам пришел? Филантропические идеи его воспитателей решительно ничего не объясняли. Все это было очень

отвлеченно и добродетельно, но Александр чувствовал, что надо что-нибудь посерьезней. Бритый протоиерей так же мало, как и Лагарп, приблизил его к истине. К религии в те годы Александр был равнодушен. О народной церкви он не имел никакого понятия, и подвижники, ушедшие в глухие леса и далекие пустыни, были ему неизвестны. Зато он познакомился с заседавшими в Синоде архиереями, и едва ли эта официальная и внешняя церковь могла ему внушить к себе уважение. В начале XIX века положение духовенства было унизительное. Священники были совершенно бесправны. 22 мая 1801 года Александр издал манифест об освобождении священников и диаконов от телесного наказания. Необходимость манифеста показывает, в каких невыносимых условиях жило тогда духовенство. Судьи то и дело приговаривали пастырей к наказанию кнутом на площадях. [105] Легко представить себе, как мало авторитетам были, несчастные попы в глазах населения.

Сметы на содержание академий, семинарий и. духовных училищ были ничтожны. Бытовые условия учащихся воистину ужасны. Однако в научном отношении тогдашние духовные учебные заведения не всегда были плохи, а суровый до жестокости режим закалял характеры. Из духовных училищ вышли и Сперанский, и Филарет московский, и другие примечательные люди.

В начале царствования Александра председателем синодской коллегии был митрополит Амвросий, любимец. Екатерины. Царице и ее вельможам пришелся по вкусу этот епископ, умевший пышно и широко пожить. Он прославился нарядностью богослужения и веселыми пирами на архиерейской даче. Он был большой поклонник искусства и собрал значительную коллекцию картин. А кто окружал этого светского архипастыря? Большинство епископов было бессловесно, иногда буквально: например, Варлаам грузинский, не знавший русского языка, сидел в Синоде, как

«безмолвная кукла», и подписывал все, не читая; духовник государя протопресвитер Петрович, по словам обер-прокурора Яковлева, был «добрый и глупый человек, чрезмерно преданный Бахусу»; Павел Озерецковский, «обер-священник армии и флота», отличался невыгодной для него репутацией корыстного, наглого и лукавого попа; Ириней. архиепископ псковский, замечательный ученый, знаток греческого языка, переводчик и комментатор Григория Назианзина и других столпов христианской мысли, совершенно не интересовался общественными делами и в часы досуга от ученых занятий склонен был служить богу совсем не христианскому, то есть тому же Вакху, каковым увлекался и духовник царя; архиепископ ярославский Павел, человек очень умный и образованный, тратил свои способности на разные интриги и был зол, мстителен и корыстен. Сам обер-прокурор Яковлев, давший такие нелестные характеристики епископам, был назначен Александром по рекомендации Новосильцева. Этот Яковлев оказался типичным бюрократом и формалистом. Он называл себя «единственным честным человеком среди сонма грабителей и разбойников». Но этот «честный человек» не мог, конечно, по-настоящему содействовать нравственному обновлению иерархии. Ее ложное и фальшивое положение по отношению к государству, [106] с Петра I .утвердившееся, было коренным злом. И в самом деле, если не церковь, то церковное управление у нас было тогда в явном параличе.

Не мудрено, что Александр в смутных исканиях цельного мировоззрения года через два после восшествия на престол заинтересовался масонством, не пытаясь даже вникнуть в опыт и учение православной церкви. В 1803 году молодого императора посетил известнейший масон Бебер. Он изложил Александру сущность масонского учения и просил об отмене запрещения, наложенного на ложи. Кажется, Александр, соблазненный своим искусным собеседником, не только дал

свое согласие на открытие лож, но и сам пожелал быть посвященным в масоны. Был или не был Александр вольным каменщиком, по несомненно, что масоны видели в нем в первые годы его царствования своего человека, о чем свидетельствуют многочисленные масонские канты, сочиненные в честь русского императора. Его воспевали за то, что «он — блага подданных рачитель, он — царь и вместе человек». Его портреты стояли в ложах на почетных местах. Одна из литовских лож в своей переписке упоминает об Александре как о своем сочлене. По-видимому, ближайшие друзья Александра также были масонами. Отец Строганов, например, был очень известный масон высоких степеней, и естественно предположить, что его сын был в кругу тех же идей и понятий. Адам Чарторижский в своих мемуарах намекает, что весь Негласный комитет состоял из. масонов. Возможно, что был масоном и князь А. Н. Голицын, судя по характеру его первоначальной деятельности в Синоде, обер-прокурором коего оп был назначен Александром. Впоследствии Голицын, кажется, удалился от масонов, найдя успокоение в своеобразном мистицизме и пиетизме, характерном для первой четверти XIX века. Маленький князь, наперсник юного Александра, баловень прекрасного пола в роли обер-прокурора Святейшего синода — зрелище, конечно, весьма любопытное. Назначить такого человека на подобный пост можно было при полном равнодушии к судьбам церкви. Александр не мог даже предвидеть, что его веселый собеседник заинтересуется когда-нибудь темой религии. Правда, быть может, было бы лучше, если бы этот эротоман так и оставался игривым бесстыдником и не совал носа в чуждую ему область, но, видно, таков был фатум [107] истории. В октябре 1803 года, по крайней мере, Голицын не имел никакого представления ни о православии, ни о христианстве, зато он был вежлив и благожелателен, не в пример своему предшественнику Яковлеву.

Александр в первые годы его царствования смотрел на религиозные исповедания как на одну из форм просвещения народных масс. До существа религии ему не было дела, но он хотел использовать священников для распространения в народе некоторых знаний и для утверждения кое-каких нравственных начал. Вот почему лютеранские пасторы и католические ксендзы, как люди светски образованные, пользовались в глазах Александра большими правами на уважение, чем наше православное духовенство. Польские ксендзы и остзейские пастыри легко добились тогда таких привилегий, о коих не смели и мечтать русские священники.

Эти же соображения о необходимости «просвещения» понудили Александра благосклонно относиться к иезуитам, которые уверили императора, что они совершенно бескорыстно готовы насаждать западную цивилизацию в варварской России. Не все ли равно в конце концов, какой катехизис будут зубрить подростки? Во всех вероисповеданиях немало суеверий, но в каждом есть доля истины. Иезуиты, по крайней мере, в своих пансионах хорошо преподают языки, математику, историю. Впрочем, они были мастера на все руки. Любимец покойного Павла Петровича патер Грубер чуть было не добился «соединения церквей» по приказу сумасшедшего царя. Патер Грубер убедил венценосца в необходимости этого акта. Он повлиял на Павла ни только своей диалектикой. В этом маленьком человечке, с огромной заостренной кверху головой, с глазами, всегда скромно опущенными, но умеющими, однако, все видеть, таились великие таланты. Это он вылечил невыносимую зубную боль императрицы Марии Федоровны. Это он собственноручно приготовил для императора шоколад, который восхитил монарха. Натурально, что после этого можно было рассчитывать на царский приказ о присоединении всех православных к папизму.

Патер Грубер был влиятельнейшим человеком при дворе, и сам первый консул Бонапарте, заискивая, пи-Сал письма к этому иезуиту. Генерал-якобинец очень хорошо знал, что патер не побрезгует союзом с ним, [108] ибо «все средства хороши для цели доброй». Ученики Дойолы нисколько не растерялись, когда был убит Павел. Они знали, что Александр может быть им полезен. Об этом свидетельствует письмо патера Грубера м новому императору, посланное тотчас же после восшествия его на престол. Почва была подготовлена. Светские барыни вербовались ловкими патерами без особого труда, а через эти аристократические будуары можно было проникнуть и в салоны, влиявшие на вельмож, министров и самого императора. Сама М. А. Нарышкина, урожденная Четвертинская, пленившая своей красотой государя, была духовной дочерью одного из иезуитов. Бутурлина, Голицына, Толстая, Ростопчина, Шувалова, Гагарина, Куракина охотно пускали в ход свое влияние, чтобы угодить ревнителям ордена. Огромные суммы сосредоточены были в руках иезуитов. Они властно распоряжались не только в Западном крае, но и на всем протяжении империи. Само католическое духовенство страшилось быть в немилости у этих привилегированных монахов. И строптивые католики, не подчинившиеся приказам ордена, по иезуитским проискам нередко попадали в ссылку и даже в заточение.

Итак, Александр ко всем относился благожелательно и как будто у всех искал поддержки своим планам, но никто ему не оказывал помощи и каждый преследовал свои цели, не считаясь вовсе с мечтой молодого императора об «общем благе». Иногда Александру казалось, что он безнадежно одинок, что он как будто в пустыне и кругом него миражи и призраки. И то, что сам он — самодержец всероссийский, не сон ли? И тогда он мысленно повторял ту фразу, какая сорвалась у него с языка во время коронации: «Когда

показывают фантом, не следует делать это слишком долго, потому что он может лопнуть».

VIII

Александр был мнителен. Его напрасная подозрительность поражала многих. Но трон русского императора был высок, и трудно было подниматься по этим ступенькам, скользким от пролитой крови… Надо удивляться не тому, что Александр был мнителен, а тому, что он, среди всех безумных и фантастических событий [109] эпохи, еще сохранил какое-то душевное равновесие, не сошел с ума, как его несчастный отец. Александру постоянно приходилось убеждаться в лицемерии и предательстве его верноподданных. Не мудрено, что он перестал верить и тем, кому надлежало верить. В первые дни царствования он был растроган и взволнован патетическим письмом некоего В. Н. Каразина, который ждал от нового императора подвигов человеколюбия. Царь обнимал его, умиляясь{66}. И что же? Впоследствии он узнал, что этот обласканный им гражданин, который казался ему полезным ревнителем просвещения, хвастается интимными письмами царя. Тщетно Каразин клялся, что он никому не сообщая императорских писем. Александр не догадался, что письма были перлюстрированы его же собственной полицией и сделались всеобщим достоянием вовсе не по вине несчастного Каразина.

Подобных недоразумений было немало. Однажды Александру сообщили, что отравился известный Радищев, автор «Путешествия», тот самый Радищев, которого он милостиво вызвал из деревни и которому он предложил работать в комиссии по составлению законов. В чем дело? Чем же недоволен этот строптивый человек? В беседах с председателем комиссии графом Завадовскнм старый вольнодумец, не стесняясь, развивал свои мысли о необходимости крестьянской эмансипации и прочих

вожделенных реформ. На его восторженные речи многоопытный Завадовский сказал: «Эк, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему. Или мало тебе Сибири?» Только тогда Радищев что-то сообразил, и последствием этих новых о: о мыслей было душевное смятение, которое понудило (го утром 11 сентября 1802 года выпить стакан яда. Лейб-медик Вилье, присланный к самоубийце императором, тщетно пытался спасти ему жизнь.

Радищев! Каразин! Глупые! Они не понимают, что Александр и сам бы хотел как можно скорее уничтожить рабство, обеспечить конституционный порядок и самому уйти от этого ненавистного трона, но как это сделать? Разве он, государь, не делал попыток ускорить проведение в жизнь реформ? В 1804 году Александр снова возбудил вопрос о конституции. Новосильцев вызвал из Лифляндии какого-то барона Розенкампфа{67} и поручил этому изумленному и растерявшемуся барону сочинить как можно скорее конституцию. [110]

Проект был написан и разработан Новосильцевым и Чарторижским. Однако этот гомункулус так и.остался в реторте. Александр заинтересовался другим человеком. Этот новый человек, которому надлежало спасать Россию, был М. М. Сперанский, служивший в генерал-прокурорской канцелярии и получивший потом пост статс-секретаря. Он поразил воображение Александра новизной своих воззрений и самым способом своего мышления. Этот тридцатилетний человек с лицом молочной белизны, с глазами как у «издыхающего теленка», по выражению одной мемуаристки, гипнотизировал императора своим тихим протяжным голосом. Когда он подавал царю белыми властными руками объемистые рукописи, монотонно и внушительно излагая их содержание, Александр верил, что этот Сперанский — тот самый человек, коему суждено наконец воплотить в жизнь

идеальную государственную программу, предначертанную им, Александром.

Как хорошо, что Сперанский не похож на екатерининских сановников. Александру надоели эти вельможи с их ленивыми и скептическими улыбками, с их почтительной фамильярностью завсегдатаев дворцов. И в молодых своих друзьях Александр чувствовал ту же барственную небрежность, уместную в салонах, но вредную в государственных делах. Для реформ нужен был человек трезвый и деловой — не барич, не набалованный царедворец, не влюбленный в себя аристократ...

Александру нравилось то, что Сперанский семинарист. Про него рассказывали анекдот, будто он, будучи еще студентом, когда его пригласили по рекомендации митрополита Гавриила в качестве учителя князя А. Б. Куракина, совсем растерялся и не знал, как себя держать; когда за ним прислали четырехместную карету с гербами, запряженную цугом, лакеи будто бы е трудом усадили его в карету, так как он, не решаясь в нее сесть, пытался стать на запятки.

Но этот невоспитанный семинарист очень скоро перестал смущаться. Он женился на англичанке и завел у себя в доме английский порядок жизни. Вельможи смеялись над его клячей с обрезанным хвостом, на коей он ежедневно совершал прогулку в своем неизменном английском сюртуке, но смеяться приходилось втихомолку, ибо этот попович и демократ был горд и сумел поставить себя в положение независимое, и приходилось заискивать у этого плебея, тайно его презирая.

В 1803 году Сперанский подал Александру записку о государственной реформе. Что же рекомендовал царю этот демократ? Оказывается, он не посмел приступить к решительному ограничению автократии. Получился

заколдованный круг: конституция немыслима при крепостном праве, а освобождение крестьян нельзя осуществить при самодержавном порядке. Сперанский предлагал, сохраняя временно абсолютные прерогативы монарха, создать такую систему учреждений, которая подготовила бы умы к будущей возможной реформе.

Александра пугала иногда горделивая уверенность . этого умнейшего и даровитейшего бюрократа, который полагал, что новые учреждения могут породить новых людей. Для Сперанского в первые годы его государственной деятельности личность сама по себе ничего не стоила. О ней судить он мог лишь постольку, поскольку она вмещалась в тот или другой параграф государственного кодекса.

Несмотря на свои англоманские замашки в быту, Сперанский в своих государственных планах вовсе не следовал идейным традициям Великобритании. Органическое развитие английской конституции было непонятно его большому, но семинарскому уму. В его молодые годы он покорно следовал отвлеченному рационализму французских правоведов и доктринеров. Он был поклонником сначала республиканской конституции Франции, а позднее кодекса Наполеона. Не надо забывать также, что он был масоном. Это окружало его в глазах Александра заманчивым ореолом. Тогда еще они оба верили в универсальное благо, приуготовленное человечеству тайными обществами. Странный, сухой и холодный мистицизм таился тогда в глубине их сердец, несмотря на всю рассудочную отвлеченность их идей о государстве, народе и власти. Им обоим пришлось впоследствии разочароваться в мнимой истине масонства. Но тогда еще они были масонами. Горделивая холодность Сперанского внушала иным подозрение, что этот бездушный человек во власти демонических: сил. Один мемуарист уверяет даже, что при общении со Сперанским он всегда обонял запах серы и в глазах его видел страшный синеватый огонек подземного

мира. Но Александр не чувствовал серного запаха, беседуя с «гражданином» Сперанским. Император всегда мысленно [112] называл его гражданином. Это выражение, знаменующее республиканские вольности, ласкало слух российского самодержца. Он завидовал графу Строганову, который имел дело с парижскими ситуайенами{68} якобинской эпохи. Он был не прочь и сейчас увидеть такого парижанина во всей его республиканской красе Несмотря на то что в это время в Париже распоряжался всем Бонапарте, император считал Францию республикой. Поэтому, когда первый консул, обеспокоенный смертью Павла и возобновлением наших мирных отношений с Англией, послал к нам своего доверенного, адъютанта Дюрока, Александр ждал его с нетерпением. Наконец он увидит живого республиканца. Дюрок приехал. Император старался обворожить француза своей любезностью. Между прочим, он все время, думая сделать ему приятное, именовал его ситуайеном. Каково же было удивление императора, когда Дюрок довольно сухо заметил, что теперь в Париже не принято называть друг друга гражданами.

IX

В 1801 году в Париже вокруг первого консула Бонапарте собрались люди, которые не очень ценили якобинский жаргон. Александр худо еще разбирался во французских делах. Что там происходило? Он верил, что Бонапарте — бескорыстный «сын революции» и что он самоотверженно «спасает Францию». Он знал, что Бонапарте защищал Конвент с оружием в руках, но он не знал, что того же 12 вандемьера, за пять часов до своего республиканского подвига, он говорил с присущим ему самоуверенным цинизмом: «Если бы секции поставили меня во главе, даю слово, через два часа мы были бы в Тюильри и прогнали бы всю сволочь Конвента».

Впрочем, дерзкий кондотьер{69} вскоре открыл свои карты. Весной 1802 года Александр уже не сомневался, что Бонапарте стремится к неограниченной власти. Александр понял также, что тирания корсиканца угрожает всей Европе. «Завеса упала, — пишет он Лагарпу, — Бонапарте сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный и которую ему оставалось стяжать, — славы доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего [113] отечества и пребывая верным конституции, моей сам присягал, сложить через десять лет власть, которая была в его руках. Вместо того он предпочел подражать дворянам, нарушив вместе с тем конституцию своей страны. Отныне это знаменитейший на тиранов, каких мы находим в истории».

Однако Бонапарте многим внушил уверенность, что он вовсе не тиран, а воплощенная и торжествующая революция. По его приказу отряд гренадер арестовал на территории баденских владений последнего потомка Кондэ, герцога Энгиенского{70}. Тогда же, в марте 1804 года, герцог был расстрелян в Венсенском замке. Этот факт был принят так называемым общественным мнением Европы как вызов тирана всем ревнителям законного порядка. Александр послал в Париж протестующую ноту, которая и была вручена нашим поверенным Талейрану. Русский кабинет очень скоро получил ответную ноту, в коей было сказано между прочим, что напрасно Россия вмешивается во внутренние дела Франции. Автор ноты обращает внимание русского правительства на то, что Франция не вмешивалась в русские дела, когда по проискам Англии был убит император Павел и убийцы остались безнаказанными. Этого страшного намека Александр никогда не мог простить Бонапарте.

Пятого мая из России был отозван французский посол, а на другой день Франция была объявлена империей. Генерал Бонапарте превратился в императора Наполеона.

Теперь Александру казались не столь важными внутренние дела России. Он не чувствовал никакой связи с многомиллионной мужицкой страной, которую он не знал вовсе. Питомец иностранцев и едва ли русский по крови, он не был равнодушен к судьбе крепостных крестьян лишь в качестве вольнодумца и сентиментального поклонника Руссо, но это отвлеченное сочувствие для него было «идеологией», а не вопросом жизни и смерти.

Иное дело — император Наполеон. Здесь ставилась мировая тема. Размеры грядущих событий соблазняли и императора Александра. Он мечтал о той роли, какую придется ему играть в Европе. Цветущие берега Рейна теперь не могли уже быть мирным убежищем для Александра Павловича Романова и его супруги Елизаветы Алексеевны. Но зато германский пейзаж [114] казался Александру более подходящей и красивой декорацией для готовящейся трагедии, чем унылые поля и холмы чуждой ему России. Ему было памятно, кроме того, свидание с прусской королевской четой. Улыбки королевы Луизы, поощрявшей его рыцарское самолюбие, лесть германских дипломатов, подстрекательство Адама Чарторижского, мечтавшего о том, что кампания против Наполеона может привести к восстановлению Польши в границах 1772 года (с потерей для России Волыни и Подолии), — все это волновало молодого государя и неудержимо влекло к созданию коалиции против Наполеона.

Впрочем, были, конечно, более глубокие и объективные причины для этой подготовлявшейся войны. Сам Александр был игрушкой огромных стихийных сил, обреченных на роковое столкновение. Но он на Замечал тогда этих сил и жил иллюзией, что он сам, Своей волей, определяет ход исторических событий.

При всем том гатчинские традиции еще были живы в душе Александра, Фридрих Великий был все еще в его глазах

идеалом монарха, германская культура внушала к себе уважение... В последний день свидания Александра и Фридриха-Вильгельма в Потсдаме, посла затянувшегося ужина, русский император предложил спуститься в склеп, где покоились останки Фридриха Великого.

Король и королева охотно согласились. Свиты с ними не было. Они втроем стояли у гроба коронованного вольтерьянца и масона. Александр коснулся губами гробовой крышки этого гатчинского кумира. В присутствии королевы Луизы император и король поклялись над гробницей в вечной дружбе. При свете колеблющихся свечей Александр увидел устремленный на него влюбленный взор прелестной Луизы.

А в это время Наполеон, чуждый всякого романтизма, разбив и пленив австрийскую армию генерала Макка, шел неудержимо и победоносно к Вене. Столица Австрии пала. Дунайский мост был в руках Наполеона.

Кутузов, негодуя на австрийцев, уводил свою армию на соединение с войсками графа Буксгевдена. Искусными маневрами Кутузов достиг цели и сосредоточил под Ольмюцем около восьмидесяти тысяч человек. Когда Александр, растроганный сценой у потсдамской гробницы и воодушевленный на борьбу с Наполеоном, [115] который казался ему врагом свободы и цивилизации, появился среди кутузовских войск, наши ветераны встретили молодого государя холодным молчанием. И не мудрено — кампания не была популярна, австрийское интендантство не давало ни провианта, ни сапог; люди были измучены сложными переходами, и упорно распространялись слухи об измене австрийцев.

Александр был поражен духом вражды и недоверия, с которыми он встретился впервые. Как? Еще недавно его

приветствовали восторженно. Еще недавно толпа была готова распрячь лошадей и сама хотела везти его, императора Александра. Теперь эти люди молчат угрюмо!

И ему, Александру, не нравится этот Михаиле Илларионович Голенищев-Кутузов. У него такое же выражение лица, как у этих солдат, которые не доверяют почему-то своему императору. И этот Кутузов всегда как будто хитро подмигивает. В чем дело? Ах, да он был ранен под Алуштою и окривел. Кажется, он был раньше еще при осаде Очакова в 1788 году. Он, Александр, конечно, не сомневается в личной храбрости этого генерала. Еще Суворов острил: «При штурме Измаила Кутузов шел у меня на левом крыле, по был моей правой рукой». Но все эти екатерининские герои не понимают, что военная наука подвинулась вперед. Теперь нужны такие стратеги, как этот австриец Вейротер. Пусть в угоду русским патриотам остается старик в качестве главнокомандующего на своем почетном посту, но он, Александр, сам вместе с Вейротером будет руководить военными действиями. Кутузов почему-то медлит и склонен отступать, но пора поставить преграду зазнавшемуся Бонапарту.

Шестнадцатого ноября впервые Александр был в огне. Это была авангардная стычка у Вишау, успешная для нас. Император скакал вместе с наступавшими колоннами, прислушиваясь к свисту пуль. Потом он задержал коня и, когда пальба стихла, мрачно и безмолвно ездил по полю, рассматривая мертвых в лорнет и тяжко вздыхая. В этот день он ничего не ел.

За несколько дней до Аустерлицкого сражения Бонапарт послал к Александру генерала Савари, который должен был уверить русского императора, что Наполеон желает мира. Александр в свою очередь послал и Бонапарту князя П. П. Долгорукова. Наполеон выехал к нему на передовые посты и,

грубовато перебивая парламентера, сказал: «Долго ли нам воевать? Чего хотят от меня? Из-за чего воюет со мной император Александр? Чего ему надо? Пусть он расширяет пределы России за счет турок». Юный Долгоруков дал понять Бонапарту, что русский император не жаждет завоеваний. Дело идет, напротив, о справедливости и о свободе наций. Наполеону показалось смешным, что молодой человек резонерствует и кате будто чему-то учит его. Через три дня после Аустерлицкой битвы Наполеон писал курфюрсту Вюртембергскому, что Александр присылал к нему для переговоров какого-то дерзкого ветрогона, который разговаривал с ним, как будто он, Наполеон, боярин, которого можно сослать в Сибирь.

Таких ветрогонов и повес было немало вокруг Александра. Они вмешивались в стратегические планы и мечтали делить славу с немецкими и австрийскими военными педантами, которые сочиняли диспозиции, не обращая внимания на главнокомандующего. Кутузов на все махнул рукой. Не было единства плана. Командиры не были своевременно извещены об утвержденной диспозиции. На рассвете 20 ноября, объезжая войска вместе с Кутузовым, Александр обратил внимание на то, что в некоторых частях у солдат не были даже заряжены ружья. Солдаты грелись у костров, не подозревая, что бой уже начинается.

— Ну, что, как вы полагаете, дело пойдет хорошо? — спросил Александр у Кутузова перед началом сражения.

Хитрый старик ответил, улыбаясь:

— Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества!

Александр нахмурился и пробормотал:

— Нет, вы командуете здесь, а я только зритель. Кутузов покорно склонил голову. Он нисколько не скрывал, что не верит в успех баталии, и, вопреки диспозиции, всеми силами старался удержать войска на Праценских высотах, выгоды коих оценил Наполеон и совершенно не понял Вейротер, погубивший своим планом русскую армию. Впоследствии, вспоминая об Аустерлицком сражении, Александр говорил: «Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надо было действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее».

Бой под Аустерлицем продолжался недолго. Часа [117] через полтора после первых встреч с неприятелем союзные войска поколебались. Покинутые русскими Праценские высоты оказались в руках французов, и это было началом конца, как и предвидел Кутузов.

По смущенным и растерянным лицам господ свиты Александр догадался, что сражение проиграно. Следуя за четвертой колонной, он попал под неприятельский огонь. В нескольких шагах от него была ранена картечью лошадь лейб-медика Вилье. Свист холодного ноябрьского ветра смешивался со свистом пуль. Мимо императора бежали батальоны, повернув спины к неприятелю. Александр оглянулся — свита рассеялась. За ним только ехали, переменив лошадь, Вилье и берейтор Ене. Император остановился и тотчас же был весь осыпан землей. Это упало рядом неприятельское ядро. Вперед уже нельзя было ехать. Беспорядочная толпа беглецов увлекала государя, и он очутился на опустевшем поле, покрытом трупами. Темнело, и лошадь несколько раз наступала на мертвецов. Неожиданно ров перерезал дорогу, и Александр, плохой ездок, никак не решался перескочить его, по примеру берейтора. Наконец Ене ударил лошадь Александра, и они очутились по ту сторону рва.

Александр вспомнил почему-то, как он мечтал вместе с тогда еще милой сердцу Елизаветой поселиться в тихом домике на берегу Рейна. Теперь перед ним торчало голое дерево, похожее во мраке на виселицу. Император слез с лошади, сел на землю и закрыл лицо руками.

Последствиями аустерлицкого погрома был, нал известно, унизительный для Австрии Пресбургский мир, договор Пруссии с Наполеоном и отступление русских войск к нашим границам. Александр не мог примириться с таким положением, умаляющим великодержавие России. По его плану, помимо рекрутов, было созвано ополчение, состоявшее из шестисот тысяч ратников, причем четыре пятых этого состава не имело ружей вовсе. Несчастных мужиков, оторванных от их семейств и земли, вооружили пиками. И содержание этого бутафорского войска, совершенно бесполезного для войны, легло тяжелым бременем на бюджет [118] страны, обескровленной и разоренной рекрутскими наборами.

... Наполеон, еще недавно занимавший воображение Александра как якобинец, теперь казался грубым узурпатором. В соответствии с новым настроением императора Святейший синод выпустил воззвание к народу, где было между прочим сказано относительно Наполеона нечто весьма определенное. «Всему миру известны, — писал Синод, — богопротивные его замыслы В деяния, коими он попрал закон и правду. Еще во времена народного возмущения, свирепствовавшего во Франции во время богопротивный революции, бедственный для человечества и навлекшей небесное проклятие на виновников ее, отложился он от христианской веры, на сходбищах народных торжествовал учрежденные лжесвидетельствующими богоотступниками идолопоклоннические празднества и в сонме нечестивых сообщников своих воздавал поклонение, единому всевышнему божеству подобающее, истуканам,

человеческим тварям и блудницам, идольским изображением для них служившим...» — и т. д. в том же роде. В конце послания Наполеон объявлялся антихристом. «Отринув мысли о правосудии божием, он мечтает в буйстве своем, с помощью ненавистников имени христианского и способников его нечестия, иудеев, похитить (о чем каждому человеку и помыслить ужасно!) священное имя Мессии: покажите ему, что он — тварь, совестью сожженная и достойная презрения».

Перечитывая это послание, Александр краснел и морщился. Лицо его искажалось, как от зубной боли. Он искренне верил, что Наполеон — враг рода человеческого, но почему-то синодское послание ему не правилось; «Все это надо бы сказать как-нибудь иначе», — думал он. Синод указывает на Французскую революцию как на источник зла. Но ведь и он, Александр, восхищался вместе со своими друзьями народным энтузиазмом восставшей Франции. Бурбоны пали не случайно. Их лилии не так уж были невинны, и естественно, что судьба в конце концов наказала привилегированных развратников. Но дело сделано, и для народа синодское послание, пожалуй, будет убедительно. Это, впрочем, было мало утешительно для самого Александра, который все чаще и чаще изнемогал от внутренних нравственных противоречий. Но каковы бы ни [110] были эти сомнения, надо было действовать и бороться во что бы то ни стало с неутомимым врагом. Надо было убедить Фридриха-Вильгельма порвать с Францией. Это прежде всего. Александр воспользовался влиянием очарованной им Луизы и достиг своей цели. К несчастью, разрыв между Пруссией и Францией произошел раньше, чем рассчитывал Александр. Русская армия не успела прийти на помощь Фридриху-Вильгельму, и Наполеон наголову разбил пруссаков при Иене. Вся Пруссия была занята французами, и королевская чета приютилась в Мемеле, почти на границе России.

Александра преследовали несчастья. Русские войска были двинуты в Польшу под начальством фельдмаршала Каменского. Этот старый генерал, по-видимому, сошел с ума, и его безумные приказы едва не погубили нашей армии. Впрочем, отставка полоумного генерала только отсрочила наше поражение. Правда, Бенигсену с честью удалось выдержать битву с Наполеоном под Прейсиш-Эйлау, но спустя пять месяцев французская армия разбила русских под Фридландом. Александр ни в ком не видел поддержки. Его брат Константин, неумолимый служака гатчинской кордегардии, оказался большим трусом на войне, так же, как и грозный Аракчеев. Константин Павлович писал Александру после фридландской неудачи: «Государь! Если вы не хотите заключить мира с Францией, ну что же? Дайте заряженный пистолет каждому из ваших солдат и скомандуйте им пустить себе пулю в лоб».

После драмы Фридланда состоялась комедия Тильзита. Пришлось заключить мир с Наполеоном. Победитель не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы продолжать войну. Бонапарт купил свои победы дорогой ценой и охотно шел навстречу Александру в деле заключения мира. Знаменитое свидание императоров на Немане было в самом деле огромным событием, ибо тогда, в Тильзите, на плоту встретились представители двух не только различных, но и прямо противоположных культур.

Наполеон сделал все, чтобы тильзитский спектакль был наряден. Мемуаристы, а вслед за ними историки обстоятельно рассказывают, как был «прелестен» Александр «в скромной, немного тяжелой форме Преображенского полка, в черном мундире с красными лацканами, обшитыми золотом, белых рейтузах, при шарфе, [120] в большой треуголке, украшенной белыми и черными перьями». Так же подробно описаны рейтузы и треуголка Наполеона и то, как обнялись императоры, входя в шатер на плоту, где они

оставались почти два часа наедине, уверенные, что они решают судьбы мира. Эти императоры, кажется, не очень сознавали тогда, что они, актеры мировой комедии, играют роли, не ими сочиненные. Им казалось, что от них зависит повернуть колесо истории в ту или другую сторону.

Александр и Наполеон хитрили тогда друг с другом и со старой бабушкой историей, чей голос полувнятный им подсказывал кое-что, и, наконец, они хитрили каждый сам с собою. Наполеон писал Жозефине из Тильзита о своем новом «друге» Александре: «Это — молодой, чрезвычайно добрый император. Он гораздо умнее, чем о нем думают». Впоследствии, убедившись в дипломатических талантах Александра, Наполеон называл его «северным Тальма» и «византийским греком».

В то время как императоры, расположившись в шатре, уверяли друг друга, что они «братья» и что они братским усилием обеспечат благоденствие всего мира, другой друг Александра — Фридрих-Вильгельм, не приглашенный Наполеоном, с горечью вспоминал о потсдамской клятве на гробнице Фридриха Великого. Несчастный прусский король ездил верхом по берегу Немана и даже в рассеянности чуть было не утонул, пустив в воду своего коня.

Надо отдать справедливость Александру, что он очень хлопотал перед Наполеоном о потсдамском друге, утратившем свое королевство. Наполеон, однако, решительно уклонился от союза с Пруссией. С него было довольно союза с Россией. «Я часто спал вдвоем, — сказал он, — но никогда втроем».

Всем известно, чем кончилось тильзитское совещание. Пруссии вернули половину ее владений; было восстановлено великое герцогство Варшавское; Александр согласился на выдуманную Наполеоном континентальную систему,

направленную против Англии; Россия и Франция заключили тайный союзный договор — Северный Тальма, Александр говорил Савари о Наполеоне: «Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему, но после беседы, продолжавшейся три четверти часа, оно рассеялось как сон». Французскому дипломату Лессепсу Александр [121] сказал: «Зачем не повидал я его раньше!.. Повязка спала с глаз, и время заблуждений прошло».

Наполеон думал, что он одурачил хитрого «византийца» Александра. Русский император готов был поддерживать до времени иллюзию Наполеона.

Семнадцатого июня 1807 года Александр писал из Тильзита своему интимному другу, сестре Екатерине Павловне: «Бог нас спас! Вместо жертв мы выходим из борьбы даже с некоторым блеском. Но что вы скажете об этих событиях? Я провожу целые дни с Бонапартом, часами остаюсь с ним наедине. Согласитесь, что это похоже на сон. Вчера он ушел от меня в полночь. О, как хотел бы я, чтобы вы были незримой свидетельницей того, что здесь происходит».

В самом деле, русский «благочестивейший» самодержец в объятиях «антихриста», в объятиях «твари, достойной презрения», как сказано было в синодском послании, — зрелище удивительное и для современников и для потомства.

Итак, императоры расстались как друзья. Александр вернулся в Петербург, прекрасно сознавая, что гам ждут его с недоумением и тревогой. Современникам трудно было понять ту страшную игру, какую вел Александр. Он тогда поставил на карту все — и Россию, и свою честь. Ему тогда надо было выиграть время во что бы то ни стало. После фридландского погрома воевать с Наполеоном было невозможно, и Александр, стиснув зубы, терпел душную атмосферу недоверия и разочарования, в которой ему

приходилось жить, тая от всех свои конечные замыслы и цели.

А в это время у Наполеона были свои неприятности. Его экспедиция в Португалию и Испанию как будто увенчалась успехом. Он принудил Бурбонов отказаться от своих державных прав и сделал испанским королем своего брата. Но тут произошло нечто неожиданное. Возникла народная война против завоевателей. Бороться со стихией очень трудно, и Наполеон встретил здесь такие препятствия на путях своей воли, о каких он раньше не думал. Испанцы выгнали из Мадрида французов.

Эта неудача Наполеона ободрила Австрию, и она стала готовиться к войне. Надо было вовлечь Россию в политику Франции, понудить Александра к осуществлению тех союзных обязательств, какие были предусмотрены Тильзитским трактатом. [122]

Вот причина эрфуртского свидания.

Александр неохотно ехал на это свидание. Императрица Мария Федоровна не скрывала своих опасений. От вероломства Бонапарта можно было всего ожидать. Она боялась, что повторится байопское событие{71} и Александра постигнет участь испанских Бурбонов. Но в Эрфурте произошло не совсем то, что в Районе.

Прошло около года со времени тильзитского свидания. Теперь в лице Александра Наполеон встретил человека менее податливого, чем в дни взаимных нежных объяснений. Россия успела оправиться после неудачных походов, а Франция была несколько ослаблена неожиданным сопротивлением Испании.

Наполеон встретил своего союзника торжественно и пышно. Повсюду гремела музыка. Лучшие парижские актеры играли

на эрфуртской сцене Корнеля, Расина и Вольтера. Блестящая свита Наполеона, казалось, отдала себя в распоряжение северного монарха. Но Александр был осторожен и сдержан. Однажды Наполеон сказал Коленкуру: «Ваш император упрям, как мул: он глух ко всему, чего он не хочет слышать».

Переговоры свелись к одному требованию Наполеона: Александр совместно с ним должен воздействовать на Австрию, понудив ее разоружиться. Александр на это не соглашался. Наполеон чувствовал, что русский император ускользает от его влияния.

Однажды с Бонапартом случился припадок ярости. Это был один из тех приступов холодного бешенства, которые у него бывали иногда. В таких случаях он мог изуродовать человека, как это было, например, с сенатором Вольнеем, который осмелился сказать, что «Франция хочет Бурбонов», за что и получил от Бонапарта удар ногой в живот, или с Бертье, коего, прижав к степе, он бил кулаком по лицу за какой-то неудачный комплимент. На этот раз ярость Бонапарта выразилась в том, что он швырнул на пол свою треуголку и долго топтал ее ногами, задыхаясь от злобы.

Александр смотрел, улыбаясь, на эту сцену и, помолчав, сказал спокойно: «Вы слишком страстны, а я настойчив: гневом со мною ничего не поделаешь. Будем беседовать и рассуждать, или я удалюсь». Наполеону пришлось удерживать своего хладнокровного собеседника, который поднялся, чтобы покинуть обозлившегося корсиканца. Изменить топ и опять быть [123] любезным Наполеону ничего не стоило: у него эти переводы делались быстро и безболезненно. Комедия Эрфурта, так же как и Тильзита, заключали в себе интригу, искусно построенную на обмани. Кто же кого обманывал? Вероятно, лгали оба — и Наполеон, и Александр. Во всяком случае, русский император не поверил в искренность Бонапарта, несмотря на все его обольщения.

Но Александр понимал, что ему не скоро еще представится случай открыть свои карты. Ему приходилось играть роль искреннего союзника Наполеона, возбуждая негодование и недоумение русских патриотов, которым никак нельзя было открыть истинный смысл его дипломатии. Александр ваял на себя тяжелый крест. Он рисковал даже навсегда утратить нравственную связь с теми кругами тогдашнего русского общества, какие были сознательно заинтересованы в развитии и направлении политических событий. Северный Тальма взял на себя трудную роль. В это время у него была только одна конфидентка — сестра Екатерина Павловна. И ей он писал тогда: «Бонапарт воображает, что я просто глупец. Но смеется хорошо тот, кто смеется последний». Этих интимных писем не знали русские политики. И все сочувственно смеялись, когда С. Р. Воронцов рекомендовал тем, кто подписал — по воле императора — Тильзитский договор, совершить въезд в столицу на ослах. В Москве и в Петербурге любимыми пьесами публики сделались патриотические трагедии Озерова и комедии Крылова. Общественное мнение было против Александра. Особенно буйно негодовали патриоты вроде Г. Р. Державина, А. С. Шишкова или С. И. Глинки, с его журналом «Русский вестник». Во главе оппозиции стала мать-императрица. Это не было секретом от Наполеона, и Александру приходилось успокаивать французского посла. Недовольство политикой Александра проникло даже в широкие массы. Все чувствовали себя оскорбленными в своем национальном достоинстве. Ведь им еще недавно попы читали с амвонов послания, где Наполеон именовался злодеем и антихристом, а теперь русский царь называет его своим братом. Граф Стединг доносил королю Густаву IV: «Неудовольствие против императора более и более возрастает, и на этот счет говорят такие вещи, что страшно слушать». Сам Александр вынужден был заявить Савари, что хотя ему лично угрожает опасность, но он остается [124] непоколебим в своей иностранной

политике. «Пусть торопятся те, кто имеет в виду отправить меня на тот свет, — сказал он, — но только они напрасно воображают, что они меня могут принудить к уступчивости или обесславить».

Герцен называл Александра «коронованным Гамлетом». Это справедливо, если иметь в виду те нравственные и духовные колебания, которые были ему свойственны. Но в реальной политике Александр проявлял нередко твердость, совсем не свойственную принцу датскому.

XI

Наш посол в Париже князь Куракин подкупил чиновника министерства иностранных дел и приобрел один секретный документ большой важности. Это было донесение Дюрока, где он, развивая свои мысли о политике Франции, указывает Наполеону на хитрые замыслы Александра. По словам Дюрока, Эрфуртское соглашение было выгодно только одной России. Еще в Тильзите Наполеон сказал русскому императору, что надо сделать так, чтобы «петербургских красавиц не пугали залпы шведских пушек». Это означало на языке Бонапарта: «Я ничего не имею против того, чтобы Россия завладела Финляндией». Александр, как известно, воспользовался этим практическим советом.

Но этого мало. В то время как соотечественники считали Тильзитско-Эрфуртское соглашение унижением России, французские патриоты понимали это дело совсем иначе. В своей записке Дюрок писал: «Император Александр в Эрфурте, достигнув удаления от своей границы французских войск, занимавших прусские области, получил возможность усилить армию, действующую против Оттоманской Порты. Он господствует в Сербии, не послав туда ни одного человека... Уже северная часть Турции под властью русских (sous le canon des russes); Греция подчинена их политике и

связана с ними единством веры; владычество французов в Далмации ненадежно; еще шаг, и Италия в опасности. Российский колосс подвигается к югу, грозя исторгнуть у Франции господство на Средиземном море, столь важное для ее величия, столь необходимое для благосостояния южных областей ее; в случае потери [125] его оно может быть возвращено только кровавой встречен французских легионов с опасными союзниками *ал* равнинах Адрианополя».

У страха глаза велики, и «русский колосс» напрасно пугал воображение французского дипломат». V Александра в это время не было таких широких планов, но он сознавал, что рано или поздно придется столкнуться с Наполеоном, и готовился к этой борьбе. Но ему приходилось думать и о другой опасности. Он понимал, что им утрачено то сочувствие, какое он нашел в России, когда после убийства Павла он, Александр, издал свой либеральный манифест. Надо было заняться внутренними делами, чтобы вернуть себе расположение соотечественников. Он приступил теперь к этому насущному делу без юношеской наивной веры в близкую возможность «общего блага». Он теперь узнал, что значит «реальная политика». Жизнь дал ему суровые уроки.

Если Наполеону не удалось покорить сердце Александра, зато ему без труда удалось пленить тогдашнего эрфуртского спутника императора — Сперанского. Латинский ум Бонапарта поразил душу этого законника, помешанного на строгой системе правовых норм, все собою предопределяющих. Александр не возражал Сперанскому, когда тот расточал перед ним хвалы гениальному Наполеону. В то время еще приходилось таить от всех свое отношение к врагу. Пусть Сперанский восторгается Бонапартом. Можно даже поручить этому умнику все это сложное и нужное дело государственных реформ. Пусть он, подражая кодексу Наполеона, сочинит и для России систему учреждений. V Сперанского в то время было твердое убеждение,

впоследствии поколебавшееся, что люди всецело зависит от государственного и социального порядка. Надо, мол, дать стране надлежащее гражданское и государственное устройство, и скверные люди станут хорошими. Вот в этом Александр сильно сомневался, хотя и дал Сперанскому большие полномочия и предоставил ему все возможности для проведения в жизнь реформ. Сперанский, как известно, составил план конституции. Она была построена на песке, ибо крепостное право предполагалось еще действующим. Но Александр одобрял этот план. Решено было вводить конституцию не сразу, а постепенно, публикуя частично законы о новых учреждениях. Сперанский успел осуществить [126] только две реформы: создание Государственного совета и учреждение министерств. Но и эта частичная реформа вызвала негодование ревнителей старого порядка. Их идейным вдохновителем был Карамзин. Александр, читая живописное и патетическое послание «О древней и новой России», поданное ему через сестру Екатерину Павловну, думал, вероятно, о страдной своей судьбе. Не он ли мечтал всегда отказаться от власти? И вот ему теперь приходится пользоваться ею самодержавно. Не странно ли это? Он, самодержец, повелевает ограничить самодержавие, и люди, считающие себя поборниками самодержавия, посягают на его верховное право, предуказывая ему то, что они считают наилучшим для России. И у Александра являлось подозрение, что тут есть какая-то страшная ложь и что за фразами о правах «помазанника» таится что-то иное, и, кажется, вовсе не бескорыстное. Александр не сомневался, что сам Карамзин чист, как младенец, но когда он вспоминал, какая жадная стая крепостников радуется тому, что нашелся человек, владеющий пером и нравственно не запятнанный, который стал защищать их прямые интересы, вовсе того не подозревая, у него, Александра, в сердце как будто раскрывалась рана и не хотелось жить.

Надо было выбирать между Карамзиным и Сперанским. Карамзин был уверен, что учреждения сами по себе ничего не значат: все дело в людях. Будут люди в духовном отношении на должной высоте — и государство будет процветать, а будут они коснеть в пороках — тогда их не сделает лучшими никакая республика, даже самая идеальная. Вникая в эти карамзинские мысли, Александр склонен был согласиться с этим мечтателем. Но приходил Сперанский и говорил совсем иное. И Александру казалось, что высокие идеи Лагарпа уже применяются в жизни. Все стройно, справедливо и умно. Никто лучше Михаила Михайловича не может изложить связь между властью и правом, между государством и обществом. Он с удивительным упорством воздвигает грандиозную постройку конституции. Еще никто не знает, что цель этих подготовительных реформ — освобождение нации от деспотического произвола. Александр помнит, как содрогалась Россия, когда правил ею самодержавно Павел. Надо обеспечить ее на будущее время от подобных несчастий. И как бескорыстен этот Сперанский! Он весь [127] поглощен одной идеен. У него нет друзей .и нет партии. Он — один. Но Александр вознес его на такую высоту, что ему нечего бояться ни врагов, ни соперников .

Однако это было не совсем так. Александр не замечал, что самодержавие все еще в полной силе и что у гордого Сперанского пока еще пет никаких гарантий, обеспечивающих его личность от прихоти самодержца всероссийского.

А между тем псе сановники, и старые и молодые, ненавидели выскочку семинариста. Но больше всех его ненавидел Аракчеев. Этот старый гатчинский друг Александра не мог соперничать со Сперанским, ибо сам сознавал свою необразованность, да ему и нечего было противопоставить политическим и государственным планам реформатора. Он только одного не мог вынести — личной близости Александра

к Сперанскому. Временщиком должен был быть он один, Аракчеев, и пристрастие Александра к гордецу надо было изничтожить во что бы то ни стало.

Весенний указ 1809 года о придворных званиях, которые, по мнению Сперанского, должны быть обязательно соединены с государственной службой, и осенний указ того же года об экзаменах для получения некоторых чинов вызвали целую бурю негодования среди придворных и чиновников. Однако тогда свалить Сперанского еще было трудно. 1 января 1810 года был торжественно открыт Государственный совет — учреждение, казавшееся тогда ретроградам опасным новшеством. Два года после этого события Сперанский продолжал пользоваться доверием Александра и подготовлял проект конституции. Участь его была решена весной 1812 года.

Нашлись люди, которые открыли Александру глаза на личность Сперанского. Напрасно император думает, что этот ревнитель закона в самом деле разделяет планы государя. Сперанский лицемер. Он думает только о собственной славе. Он не хочет даже делиться ни с кем этой славой. Он презирает самого императора. Министр полиции Балашов доносил, что Сперанский в разговоре с ним сказал однажды: «Вы знаете подозрительный характер государя. Все, что он делает, он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Были и другие доносчики. Сперанский стремится к [128] республике. Он мечтает быть диктатором. Он смеется над своим государем. Император не верит. Извольте, ваше величество, посмотреть письмо. В самом деле — рука Сперанского. И в письме сказано, что на западную границу едет для осмотра укреплений «наш Вобан, наш Воблан (veau blanc)».

Участь Сперанского была решена. Впрочем, для его падения было достаточно объективных причин. Со времени эрфуртского свидания прошло более трех лет. Наступил срок испытания. Можно было сбросить маску. Предстояла борьба с Бонапартом.

Сперанский, поклонник Наполеона, был как бельмо на глазу. Нужен был акт. подчеркивающий нашу патриотическую программу. Надо было пожертвовать Сперанским. Наскоро была состряпана легенда об измене Сперанского. Узнали о переписке Сперанского с Нессельроде, в коей корреспонденты пользовались условными выражениями и прозвищами. Талейран именовался «другом Генрихом», Александр — «Луизою»... Этого было достаточно.

Сперанский был лично допрошен Александром. Это было похоже на объяснение любовников после измены вероломного. Государь плакал. На другой день Александр говорил князю А. И. Головину: «Если бы у тебя отсекли руку, ты. наверно, кричал бы и жаловался, что тебе больно: у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моей правой рукой». Тот же Александр впоследствии говорил о Снеранском: «Он никогда не изменял России, но изменил лично мне».

Сперанский был уволен и выслан в Пермь{72}.

XII

Александр с юных лет мечтал отказаться от власти и устроить свою жизнь как частный человек где-нибудь в тихой долине, а судьба неудержимо влекла его на вершины истории, туда, где свистели бури и откуда можно было видеть огромные пространства. Эта страшная высота не нравилась Александру. На этик высотах кружилась голова. Подобно неопытному путешественнику по горам, он, забравшись на вершину, вдруг

убедился, что подняться иногда легче, чем сойти вниз. Волей-неволей приходилось дышать ледяным альпийским [129] воздухом. На этих высотах почти все примечательные люди эпохи встречались с Александром. И русскому императору приходилось смотреть в глаза таким великим хитрецам, как Меттерних или Талейран, таким завоевателям и баловням славы, как Наполеон, таким искателям тайн, как Юнг Штиллинг{73} или госпожа Крюднер, таким женщинам, как госпожа Рекамье{74}, госпожа Сталь, королева Луиза...

Но весь этот пестрый маскарад истории был утомителен, и Александр не раз возвращался к своей мечте — ускользнуть куда-нибудь в неизвестность.

У Наполеона не было частной жизни. Он как будто был создан для высот, для истории, для вселенной. И он вовсе не нуждался в этой частной жизни, в уютной долине. Кондотьеру по призванию противен всякий семейный уют. И к женщине кондотьер относится как к добыче. Не то Александр. Он мечтал о тишине, и женское общество было ему нужно, как нужна пристань утомленному бурями капитану.

«Я не был развратен» («Je n'ai pas ete Hbertin»), — сказал он однажды. Очень может быть, что это признание не лживо, хотя строгие моралисты могут указать на факты его биографии, несколько компрометирующие его. И все же но существу он, кажется, в самом деле не был развратен. Сложись удачнее его жизнь — и, быть может, он не искал бы вовсе встреч с красавицами и не спешил бы пленять их сердца, чего достигал он без особого труда, пользуясь чарами, которые были ему свойственны, по свидетельству знавших его интимную жизнь.

Но была одна красавица, которая осталась равнодушной к его чарам. Это была его собственная законная жена, прелестная

Елизавета Алексеевна. Правда, будучи еще невестой, и она пленилась юным великим князем, то ее романтическая мечта быстро сменилась чувством хотя и нежным, то вовсе не страстным и, главное, лишенным того любовного преклонения, без которого нет счастливого брака. Александр чувствовал это. Сердце его было уязвлено навсегда. Он чувствовал, что какой-нибудь Платон Зубов, ухаживания которого, конечно, оскорбляли юную принцессу, все-таки в ее глазах был более мужчина, чем он, Александр, ее собственный семнадцатилетний муж, еще склонный к отроческим забавам и не сознающий своей ответственности как глава дома. Когда Александр заметил, что [130] его друг Адам Чарторижский тоже влюблен в Елизавету, он понял, что, сохранит или не сохранит свою супружескую верность его голубоглазая подруга, все равно этот изящный и страстный поляк в ее глазах будет рыцарем. Чарторижскому было тогда двадцать четыре года. У него было романтическое прошлое. Он был образован, писал стихи, успел пожить в Европе. Все это внушало юной великой княгине не только любопытство. Адам Чарторижский был слишком заметен в тогдашней придворной обстановке.

Однако в этот павловский период Александр и Елизавета, кажется, еще поддерживали супружескую близость, и в мае 1799 года великая княгиня родила девочку Марию, которая умерла летом 1800 года. Возможно, что это была дочь Александра. Впрочем, рассказывали, что, когда у Елизаветы родилась девочка и ее показали Павлу, последний сказал статс-даме Ливен: «Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа-блондина и жены-блондинки родился черненький младенец?» На это замечание статс-дама Ливен ответила весьма находчиво: «Государь! Бог всемогущ».

Сердечная рана, которую почувствовал Александр, заметив холодность своей жены, не исцелялась. По-видимому, молодой муж старался утешиться ухаживаниями за

хорошенькими дамами, и это еще усилило взаимное охлаждение. В конце концов молодые супруги дали друг другу свободу. Однако Елизавета была не совсем равнодушна к поведению своего мужа. В 1804 году Марья Антоновна Нарышкина, урожденная княжна Четвертинская, красавица и кокетка, пленила молодого императора. Вскоре в одном из писем к матери Елизавета Алексеевна горько жалуется на соперницу, которая на балу нескромно сообщила императрице о своей беременности. «Какую надо иметь голову, чтобы объявить мне об этом! — восклицает она в негодовании. — Ведь она прекрасно знает, что я понимаю, каким образом она забеременела. Я не знаю, что от этого произойдет и чем все это кончится!»

А между тем императрица Мария Федоровна говорила однажды про свою невестку: «Она сама виновата. Она могла бы устранить эту связь и даже сейчас еще могла бы вернуть своего мужа, если бы захотела примениться к нему, а она сердилась на него, когда он приближался, чтобы поцеловать или приласкать ее, она была груба с ним». [131] «Конечно, она очень умна, но недостаток ее в том, чти она очень непостоянна и холодна как лед».

Однако вскоре Елизавета доказала, что она может быть не такой холодной, какой была она со своим мужем. Однажды она обратила внимание на молодого ротмистра кавалергардского полка. Это был некто Алексей Яковлевич Охотников. Появляясь на придворных балах, от! не спускал глаз с прелестной Елизаветы. Она приблизила его к себе. В апреле императрица почувствовала признаки беременности. В ноябре у нее родилась вторая дочь Елизавета, которая прожила, как я первая дочь, недолго. Этот ребенок умер весной 1808 года. Отцом этой девочки был ротмистр Охотников.

За месяц примерно до рождения этого младенца любовник императрицы при выходе из театра был ранен кинжалом. Убийца, кажется, был подослан великим князем Константином, который был оскорблен невниманием к его чувствам Елизаветы Алексеевны. Недели через три после полученной раны Охотников умер. Елизавета навещала его перед смертью.

По поводу второй дочери молодой императрицы Мария Федоровна говорила одному близкому ей человеку: «Я никогда не могла понять отношения моего сына к этому ребенку, отсутствия в нем нежности к нему и к его .матери. Только после смерти девочки поверил он мне эту тайну, что его жена, признавшись ему в своей беременности, хотела уйти, уехать и т. д. Мой сын поступил с ней с величайшим великодушием».

Александру не так уж было трудно простить спою жену. Сам он был всецело поглощен своей любовью к красавице-польке. «Я не был развратен, — говорил он впоследствии, — .хотя я и любил и любил всей душой Нарышкину, в чем я искренне каюсь». — Связь с Четвертинской-Нарышкиной, от которой у Александра была дочь, продолжалась четырнадцать лет. По и эта возлюбленная изменяла ему. Он порвал с ней после того, как застал ее в постели в объятиях своего генерал-адъютанта Ожаровского. Любопытно, что он не отомстил своему сопернику и оскорбителю. Ожаровский после оставался генерал-адъютантом, явился, как всегда, во дворец и получал соответствующие награды.

Женщины увлекались Александром. Он умел быть [132] с ними интересным и нежным, но, по-видимому, он был человек не очень страстный и не очень был склонен расточать щедро свои чувства.

Когда он гостил в прусском королевском замке, сиг в течение дня охотно ухаживал за влюбленной в пего Луизой, а ночью тщательно запирал все двери в отведенных ему апартаментах, страшась, что в порыве страсти к нему придет очарованная им королева. Так и в Лондоне в 1814 году он обидел известную красавицу леди Джерси, не оправдав ее любовных надежд. Впрочем, в иных случаях можно предположить в Александре какую-то сладострастную утонченность, и даже в его отношениях к родной сестре Екатерине Павловне было что-то не совсем братское. В одном и.ч писем к ней он вспоминает о каких-то загадочных, ему принадлежавших правах, которые позволяли ему в ее спальне целовать как-то особенно нежно ее ножки.

XIII

С израненным сердцем, с больною совестью, без ясного понимания смысла жизни, вовсе не уверенный в своем праве на самодержавную власть и, наконец, с тяжким наследием кашей государственности, Александр изнемогал перед задачами, которые ставила ему неумолимая история. Окруженный придворными интригами, корыстными сановниками и плотной стеной административно-бюрократического порядка, он чувствовал, что Россия, с ее крепостным правом, с ее многомиллионным загадочным мужицким населением, неминуемо должна очень скоро встретиться лицом к лицу с Европой, которую Наполеон двинет на Восток гордой надежде опрокинуть и раздавить последнего соперника, последнего врага снившейся ему всемирной империи. Что мог противопоставить наполеоновской идее он, император Александр? Все называли тогда в России смелого корсиканца тираном и врагом свободы Но Александр понимал, что как-то странно и неловко говорить о свободе в тогдашней России. Это все равно что в доме повешенного говорить о веревке. В России было рабство. Людей продавали оптом и в розницу

Александр за время своего царствования не смог распутать этого узла, и мертвая петля душила страну. И все же, несмотря на эту страшную язву, Россия казалась [133] Александру единственным оплотом против опасных притязаний Бонапарта. Наполеон мечтал восстановить империю Карла Великого, но какое содержание мог он вложить в эту грандиозную политическую систему? Поклонники Наполеона уверяли, что он — воплощение революции, что он, усмирив ее бунтующие силы, направил их по главному демократическому руслу, что он будто бы спас от «якобинского безумия» реально» дело революции. Но Александр сомневался в этом. Правда, теперь нет Бурбонов, но зато есть неслыханный деспотизм самого Бонапарта; нет старых привилегированных, но администрация империи пользуется такими прерогативами, какие тягостнее дворянских привилегий; нет королевской цензуры, но есть цензура императорская, бесцеремонная и по-солдатски грубая. И все эти жертвы принципами 1789 года ради чего? Все для единой цели — создания мировой империи с «безблагодатным» императором во главе. И все покорствуют, все, как сомнамбулы, идут за этим странным корсиканцем, тайна которого заключается в том, что он ни разу не усомнился в своем праве принимать бесконечные человеческие гекатомбы. Но, может быть, Александр ошибается? Может быть, Наполеон вовсе не жаждет мирового господства? Пять лет тому назад он ведь сказал за обедом князю Н. Г. Волконскому: «Передайте вашему государю, что я его друг, но чтобы он остерегался тех, которые стараются нас поссорить. Если мы соединимся, мир будет наш. Вселенная подобна этому яблоку, которое я держу в руках. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину. Для этого нам только нужно быть согласными, и дело сделано».

Когда Волконский докладывал об анекдоте с яблоком, Александр заметил, улыбаясь: «Сначала он удовольствуется одной половиной яблока, а там придет охота взять и другую».

Фантом Наполеона заслонял собою от Александра всю сложность исторической обстановки. Александр знал, конечно, что так называемая континентальная система, закрывавшая все порты для английских кораблей, была разорительна для России, что экономический процесс, неудержимо развивавшийся в пределах нашей страны, встречал в этой континентальной системе искусственное препятствие и дело нашего экспорта тормозилось, а вместе с тем задерживалось [134] естественное развитие всех материальных и культурных сил России. Союз с Наполеоном и навязанная России экономическая политика были невыгодны не только крупным помещикам и нарождающейся буржуазии, но и среднему классу, а косвенно и всей огромной массе крестьянства, ибо падение крепостного права зависело в значительной мере от общего развития производительных сил населения. Франция боролась с Англией за политическую и экономическую гегемонию, а Россия с Тильзитского мира попала в положение вассала Франции. Все это было достаточным основанием для столкновения европейского Запада с европейским Востоком. Но, сознавая это, Александр все-таки, подобно всем современникам, не мог отрешиться от мысли, что вся история человечества той эпохи сосредоточилась в личности Наполеона. Он так и говорил: «Наполеон или я. Вместе мы не можем царствовать». Одержи Наполеон решительную победу над Россией, и Европа превратилась бы в единую империю. Две половинки яблока соединились бы вместе.

Но, может быть, у Наполеона не было такой исключительной цели и он вовсе не хотел завладеть Европой? Едва ли возможно теперь в этом сомневаться. Мало того, Наполеону

было тесно даже в пределах всей Европы. «Европа — это кротовая нора, — говорил он, — только на Востоке существовали великие империи и великие революции, там, где живет семьсот миллионов человек». Это было сказано Наполеоном еще во время его испанского похода. В те годы он, не Смущаясь, позволял себе мечтать вслух: «Я подниму и вооружу всю Сирию... Я иду на Дамаск, на Халец; по мере движения вперед армия моя растет от наплыва недовольных. Я объявляю народу уничтожение рабства и тиранического правления паши. Во главе вооруженных масс я дохожу до Константинополя; я опрокидываю Турецкую империю; я создаю на Востоке новую и великую империю, которая упрочит мое место в потомстве, и, может быть, я вернусь в Турин через Адрианополь или Вену, уничтожив предварительно австрийский дом».

Подобных признаний Наполеон делал немало. Занявшись реальной политикой и покоряя Европу, он оставил на время мечты об Азии, но он вовсе не отказался от них. Между Европой и Азией раскинулась необозримая Россия. В ноябре 1811 года Наполеон говорил [135] аббату де Прадту: «Через пять лет я буду властелином всего мира. Остается только Россия, но я раздавлю ее».

Нет, Наполеон никогда не отказывался от мечты и всемирном господстве. За несколько месяцев до того, как он повел свои полчища на Россию, он говорил Нарбонну{75}: «Во всяком случае, мой милый, этот длинный путь есть путь в Индию. До Александра так же далеко, как от Москвы до Ганга; это я говорил еще при Сен-Жан-д'Арке... В настоящее время я должен зайти в тыл Азии со стороны европейской окраины для того, чтобы там настигнуть Англию... Предположите, что Москва взята, Россия сломлена, царь просит мира или умер от какого-нибудь дворцового заговора; скажите мне, разве не возможно для французской армии и союзников из Тифлиса достигнуть Ганга, где достаточно

взмаха французской шпаги, чтобы разрушить во всей Индии это непрочное нагромождение торгашеского величия. То была бы экспедиция гигантская, *я* согласен, во вкусе девятнадцатого века, но выполнимая».

В Тильзите и в Эрфурте Наполеон, упоенный своими успехами и презирая Александра, иногда болтал лишнее. Александр был проницательнее, чем полагал его гениальный собеседник. И. обнимая друг друга, они уже оба мысленно готовились к страшному поединку.

Однажды Наполеон сказал Мегтерниху об Александре: «Наряду с его крупными умственными качествами и умением пленять окружающих, есть в нем нечто такое, что я затрудняюсь определить. Это — что-то неуловимое (un je rie sais quoi), и я могу объясни и, его, лишь сказав, что во всем: и всегда ему чего-то не хватает».

Что же неуловимое было в Александре? Не то ли. за что Пушкин назвал его презрительно «арлекином», а Герцен полусочувствеино — «коронованным Гамлетом»? Но эта ли непонятная Наполеону душевная двойственность, эта загадочная противоречивость? Едва ли возможно объяснить это странное душевное свойство Александра простым слабоволием или. ничтожеством характера. Нет. после 1812 года этот «двуликий» человек доказал, что у него есть воля и что характер его не так уже ничтожен. Но ему никогда не хватало тог, что было в Наполеоне самым существенным, — твердой уверенности на своем праве на власть. Александр [136] раз навсегда усомнился в этом своем праве. Это была его драма, — драма, кажется, а не трагедия, ибо история до сих нор не разгадали его «конца». Мы так и не знаем достоверно, совершился или не совершился в его душе некий катарзис, некое очищение и оправдание тех страстных страданий и преступлений, какие выпали на его долю. Вот это и было то

«неуловимое,» («un je ne sais quoi»), о чем говорил Наполеон Меттерниху.

И этому Гамлету пришлось вступить в борьбу с железным вождем непобедимых легионов! Александр и Наполеон совершенно разительны в своей противоположности. В характерах их не было, кажется, ни одной общей черты. Александр, например, не раз предававший принцип свободы, никогда, однако, не переставал верить в нее, как в желанную и: необходимую — даже в эпоху глухой реакции. Сама идея свободы казалась ему священной. Он никогда не мог бы сказать так, как сказал Наполеон, обращаясь к одному из своих генералов: «Неужели вы принадлежали к числу идиотов, веривших в свободу?»

Александр страшился власти и тяготился ею. А Наполеон говорил: «Моя любовница — власть. Я слишком дорогой ценой купил ее, чтобы позволить похитить ее у меня или же допустить, чтобы кто-нибудь с вожделением поглядывал на нее».

Александр плачет, отправляя войска в поход, и поле битвы, усеянное убитыми, наводит на него великую грусть. А Наполеон, посылая в атаку корпус, говорят, не смущаясь: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы обязаны отдать мне ее». Генералу Дерсенну и его гренадерам он заявил однажды: «Говорят, что вы ропщете, что вы хотите вернуться в Париж к вашим любовницам. Не самообольщайтесь. Я продержу пас под Ружьем до восьмидесяти лет. Вы родились на биваке, тут вы и умрете».

Александр был приветлив и любезен. В его присутствии все чувствовали себя легко и свободно. Наполеон был грубоват и невежлив. «Его двор был нем и холоден и носил печать скорее тоски и скуки, чем гордого достоинства. На всех лицах

лежало выражение затаенного беспокойства. Везде царило принуждение и тусклое молчание».

В отношениях с женщинами Александр был всегда безупречным рыцарем. Наполеон был с ними бесцеремонен.[137] Если ему случалось при посредстве своей полиции узнать о любовной истории какой-нибудь замужней дамы, он спешил сейчас же поделиться новостью с ее супругом. После разрыва со своими собственными любовницами он не щадил их скромности и чести. Жену Жозефину он любил посвящать в интимные подробности своих приключений, а на ее упреки с негодованием восклицал: «Я имею право на все ваши жалобы ответить одним словом: это — я».

Александр всегда изнемогал от сознания ответственности за пролитую кровь сумасшедшего Павла. Наполеон никогда не тяготился кровью и сам говорил про себя: «Такой человек, как я, ни во что не ставит миллион человеческих жизней».

Но Бонапарт был гений, и его безумной и величавой мечте о всемирной империи надо было что-то противопоставить. У Александра к началу войны 1812 года не было в душе ничего равного по значительности наполеоновской идее. Ему пришлось войти на подмостки истории, худо зная свою роль. Впрочем, иные думали, что у него был тогда хороший суфлер — русский народ.

XIV

В конце 1811 года для Александра уже было ясно, что неизбежно столкновение с Наполеоном, но в то же время он сам и все вокруг него чувствовали, что правительство и армия не готовы к этому испытанию. Правда, ноябрьская победа над турками, одержанная Кутузовым, и союз со Швецией обеспечивали нам некоторую свободу действий, но этого было мало для борьбы с врагом, чья армия была вдвое

больше нашей, как думал Александр. На самом деле и эти расчеты были неточны. Наполеон вел на Россию около шестисот тысяч солдат, а у нас было всего двести тысяч. Казалось, что эта борьба с гениальным полководцем, обладавшим такой огромной, превосходно подготовленной армией, за которой следовали тысячи повозок с провиантом, не может увенчаться успехом. Казалось, что никакое патриотическое воодушевление не могло спасти страну от страшного поражения. Наполеон был в этом уверен. Он смеялся над отсутствием у нас единого военного и политического плана. «В России есть [138] таланты, — говорил он Куракину, — но то, что там делается, доказывает, что у вас или потеряли голову, или таят задние мысли. В первом случае вы походите на зайца, у которого дробь в голове и который кружится то в ту, то в другую сторону, не зная, ни по какому направлению он следует, ни куда добежит».

Нет надобности рассказывать еще раз о событиях, всем хорошо известных. Все мы знаем, как Александр мечтал стать во главе наших армий и как он страшился этого, сознавая ответственность перед страной. В апреле 1812 года в Вильно он был окружен огромной толпой иностранцев. Штейн, Фуль, Бенигсен, Дибич, Толь, Вильсон, Паулучи, Мишо, Сен-При и другие наперерыв предлагали Александру свои проекты и планы. Кому довериться? Кому вручить судьбу кампании? Иногда хотелось все бросить и бежать от этих страшных сомнений и ужасных дел. Но бежать было некуда, и надо было милостиво улыбаться, принимать польских магнатов и польских красавиц, стараясь внушать им надежды на лучшее будущее под скипетром России. Балы и вечера занимали столько же времени, сколько и совещания со стратегами. Последним празднеством был бал в Закрете, загородном замке генерала Бенигсена. Построили спешно огромный павильон для танцев, но он зловеще рухнул, и Александр,

стараясь преодолеть суеверное чувство, приказал не отменять бала, очистить павильон от обломков и танцевать под открытым небом. Во время этого бала ему донесли, что Наполеон перешел Неман без объявления войны. Александр ничем не обнаружил, что ему известно роковое событие, и продолжал очаровывать дам и санов-пиков. Остаток ночи он провел за неотложными делами. На другой день был составлен рескрипт, где между прочим Александр говорил: «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».

Всем известны дальнейшие события. Наши армии — северная Барклая-де-Толли и южная Багратиона — отступали с опасностью быть отрезанными одна от другой полчищами Бонапарта. Александру пришлось покинуть главную квартиру. Все понимали, что его присутствие вредно для дела. Шишкову пришлось уговаривать Аракчеева повлиять на Александра. Шишков доказывал, что государь должен ехать в Москву «для пользы отечества». Но временщик был патриотом на [139] особый лад. «Что мне до отечества! — сказал он. — Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь долее при армии?» В конце концов Аракчеев согласился уговорить императора.

Царь уехал в Москву. Здесь дворяне и купцы встретили его, как уверяют мемуаристы, с энтузиазмом.] Однако на этот раз не обошлось без политических опасений. До Ростопчина дошли слухи, будто бы мартинисты и вольнодумцы намерены сделать запрос государю о состоянии войска, его количестве и о нашем стратегическом положении. Запрос не состоялся. Но граф Ростопчин, автор известных фальшиво патриотических воззваний, поставил около дворца, где Александр принимал дворян, две тележки, запряженные почтовыми лошадьми, и полицейских чипов, готовых немедленно схватить первого вольнодумного оратора. Ростопчин объяснил впоследствии, что эти грозные тележки предотвратили возможные

выступления оппозиции. Но, по-видимому, у Ростопчина было расстроенное воображение. Пожертвования, огромные для того времени, притекали безостановочно. К осени собрано было до ста миллионов рублей. Торжественные собрания и речи, приветственные крики уличной толпы, молебны и колокола — все это наполняло душу смятением, утомляло сердце, и было трудно разгадать истинный смысл событий. Александр понимал, однако, что судьба России зависит сейчас прежде всего от мужиков. В их руках было оружие. Наполеон понимал это не хуже Александра. Он вез с собой не только фальшивые русские ассигнации, но целые тюки прокламаций, в коих обещал крепостным освобождение. Мужики читали прокламации, и кое-где были случаи расправы с помещиками, но, в общем, наполеоновские прокламации не имели успеха. Дворянам, впрочем, везде мерещилась опасность великого бунта.

Известный Поздеев писал тогда: «Мужики, по вкорененному Пугачевым и другими головами желанию, ожидают какой-то вольности, хотя и видят разорение совершенное; но очаровательное слово «вольность» кружит их». Мужики, однако, привыкли верить делам, а не словам. Нашествие международных полчищ сопровождалось грабежами, мародерством, жестокими репрессиями, и все это не могло внушить доверии к завоевателю. Русское правительство, с своей стороны, не обещало ничего определенного, но у крестьян являлась [440] надежда на конец крепостного права. Все понимали, что защищают Россию не рабы, а граждане, я странно было бы завтра пороть и продавать тех, к патриотизму коих обращался сегодня сам царь. Мы теперь знаем, что Александру Благословенному не удалось все-таки освободить крестьян. И целое полстолетие понадобилось для того, чтобы совершилось наконец это освобождение — и то не в полной мере.

Итак, крестьяне, несмотря на ненавистную крепостную зависимость, не признали в Наполеоне своего освободителя, и если в разных местах вспыхивали бунты, то приходится удивляться не тому, что были такие случаи, а тому, что их было сравнительно мало и что наша мужицкая армия не обратила тогда оружия против помещиков. Русские солдаты — не только ветераны суворовских и кутузовских походов, но и ополченцы, взятые от сохи, — дрались с необычайным мужеством. Александр понимал, что надо вести «скифскую» войну, отступая в глубь страны. Он так и говорил, что если на стороне врага преимущество военного гения и огромное превосходство живой силы, зато на стороне России — время и пространство. О нравственной стороне события он говорил патриотическими устами Шишкова, чье официальное красноречие едва ли могло дойти до слуха русских мужиков, по-своему понимавших смысл того, что совершалось с такой роковой неизбежностью. Александр предпочитал говорить устами Шишкова, потому что ему самому не было ясно, во имя чего, собственно, проливаются сейчас потоки человеческой крови. Каждый день приходили известия одно другого ужаснее. Надо было что-то решать, приказывать, с кем-то соглашаться, кому-то возражать; десятки и сотни лиц домогались аудиенций… «Без чести преданный» Аракчеев и великий князь Константин Павлович — оба грозные и омерзительно жестокие по отношению к русским солдатам — позорно трусили перед французами и умоляли Александра сложить оружие и просить мира. Но Александр был неизмеримо умнее своего верного пса Аракчеева и своего братца, соль храброго в глубоком тылу. Александр понимал, что дело зашло слишком далеко, что он, русский император, должен действовать не так, как хочет он, а так, как хочет сама история, как хочет мужицкая Россия, которая осознала себя как сила, которой будет принадлежать в конце концов вся земля и вся ноля. Крестьяне [141] в 1812 году с очевидностью доказали, что в

них было тогда понимание эпохи и правильное политическое сознание, и не будь этого исторического опыта, декабристам не удалось бы в 1825 году привести полки на Сенатскую площадь.

Александр понимал, что надо вести «скифскую» войну, отступая в глубь страны, но никто не знал, до каких же пределов надо отступать. Когда под Смоленском соединились наконец армии Барклая-де-Толли и Багратиона, многие надеялись, что здесь прегражден будет путь врагу. Однако, несмотря на то что русские солдаты дрались с удивительным упорством, пришлось оставить Смоленск. И не мудрено — на каждого русского приходилось по три француза. «Пространство и время», наши верные союзники, еще не успели прийти нам на помощь. Надо представить себе, что думал и чувствовал Александр, когда приезжали к нему из армии адъютанты с известиями о нашем неуклонном отступлении. И было странно то, что, в сущности, никто не хотел этого отступления — ни солдаты, ни полководцы, но какой-то здоровый инстинкт понуждал армию, сражаясь и вовсе не теряя мужества, уходить все дальше и дальше в глубь страны, увлекая за собой полчища Наполеона, которые шли по разоренным и сожженным дорогам, теряя на этом пути людей, лошадей и обозы, но еще не предчувствуя своей гибели.

Эта уверенность Наполеона и его солдат в конечной победе была поколеблена, как известно, лишь в «священной» Москве, во время ее непонятных пожаров.

XV

Страшные события, надвигавшиеся на Россию, пугали воображение и смущали сердце. Незадолго до вторжения в наши пределы полчищ Наполеона в душе Александра опять возникли видения и мысли, которые он всегда старался гнать

от себя подальше. Ему снова и снова мерещилось мертвое, изуродованное лицо Павла, и ему казалось, что убийство отца — его личная вина и что, быть может, несчастия, обрушившиеся на Россию, — возмездие за его преступление. Страшно было жить, и некому было открыть свою душу. Суеверное чувство так владело умом и сердцем, что весь мир казался мрачным и страшным. Мрачен и загадочен и [142] этот великолепный Петербург, где гранитные набережные не могут сдержать напора темной стихии, всегда готовой ринуться на императорский город. Дивные дворцы, храмы, площади и монументы величавы и строги, но они как будто снятся, и кажется, что это лишь волшебная декорация, а за нею темная безмерность России. Александр всегда стремился куда-то уехать, чтобы не видеть этих петербургских призраков. Он возлагал надежду на «время и пространство», полагая, что они победят непобедимого Наполеона, но ему хотелось порой, чтобы они и его самого поглотили, скрыли в своем мареве преходящего.

Бабушка Екатерина немало старалась изничтожить в своем прелестном внуке всякое суеверие — дурное наследство сумасшедшего отца и темных традиций старины, но, кажется, тщетными оказались ее старания. Ни бритый протоиерей-воспитатель, ни республиканец Лагарп, ни веселый цинизм ее вельмож, ни груда французских книг, где авторы остроумно шутили над религиозными предрассудками, — ничто не помогло, и тридцатипятилетний Александр вдруг почувствовал себя во власти таинственных сил. Он стыдился этого своего неожиданно возникшего суеверного чувства и не мог понять, откуда оно явилось. Он не стыдился верить в Бога, но это был безопасный, отвлеченный и похожий на алгебраическую формулу Бог французских деистов. А теперь в сердце Александра поселился какой-то суеверный страх, и это уже было недостойно ученика энциклопедистов.

В то время как рок увлекал Наполеона и он шел неудержимо к Москве, наши полководцы, худо сознавая конечную цель своей тактики, отступали все дальше и дальше; всем все казалось непрочным, и все готовы были поверить в самое неожиданное и фантастическое. Боялись вражеской диверсии на Петербург, и правительство распорядилось о постепенном вывозе сокровищ из северной столицы. Жители Петербурга, чувствуя, что все непрочно, тоже готовились к отъезду. И чем ближе были петербуржцы ко двору и к особе государя, тем они были тревожнее и беспокойнее. Никому в голову не приходило устраивать прочно свой петербургский быт. Но был один близкий императору человек, который как раз в это время вздумал строить себе в столице новый дворец. Это был князь А. П. Голицын. Императору уже шептали на ухо, что князь [143] Голицын — изменник и ждет Наполеона, не боясь ;?а свою новую недвижимую собственность. Александр не верил этим сплетням, но все-таки посетил однажды своего старого приятеля и спросил его, что это ему вздумалось в такое смутное время заняться сложной постройкой.

Когда-то веселый забавник и грешный ловелас, князь Голицын теперь слыл мистиком и вместо непристойных французских книжек читал Библию, ища в ней аллегорического смысла. И на этот раз Голицын сказал Александру, что он не боится Наполеона, ибо он полагается на промысл божий. Маленький князь протянул руку к Библии, лежавшей на столе, но тяжелая книга упала на пол, развернувшись как раз на той странице, где был девяностый псалом. Голицын объяснил Александру, что эта страница открылась не случайно, а но воле небесных сил, и Александр с немалым интересом прочел этот псалом, которого он не знал до той поры. Протоиерей Сомборский забыл познакомить своего воспитанника с творениями вдохновенного Давида; впоследствии Александру некогда было заниматься подобными вещами, а в церкви псаломщики читали все так

гнусаво, что Александр давно уже утратил надежду что-нибудь понять в этих славянских чтениях и обыкновенно размышлял в церкви о текущих мирских делах. Этот анекдот не был, однако, исчерпан эпизодом с упавшей на пол Библией. За ближайшей церковной службой император услышал опять знакомый теперь славянский текст и на этот раз уразумел его, Тогда он решил, что это вторичное чтение псалма провиденциально. Ему захотелось прочесть Библию, доселе не читанную. Но все полки в дворцовой библиотеке были загромождены многотомными сочинениями Вольтера. Руссо, Дидро, Монтескье, Мабли... Попадались в руки порнографические книжки Лафонтена, игривые стишки Парни. «Мой побег из Венецианской тюрьмы» и другие приключения всевозможных бесстыдников XVIII века, по Библии не было.

Тогда Александр вспомнил, что его жена Елизавета Алексеевна как будто интересуется религией. В самом деле, у этой забытой мужем императрицы нашлась желанная книга. Само собою разумеется, что это была не славянская Библия, а французский перевод католической вульгаты.

Впоследствии Александр говорил. «Я пожирал [144] Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души. Господь по своей благости даровал мне своим духом разуметь то, что я читал. Этому-то внутреннему назиданию и озарению обязан я всеми духовными благами, приобретенными мною при чтении божественного слова».

В это время не один Александр заинтересовался Библией. Патетический Шишков сидел в это время над священными текстами. «Я просил государя, — пишет Шишков, — прочитать ему сделанные выписки. Он согласился, и я прочитал их с жаром и со слезами. Он также прослезился, и мы оба довольно с ним поплакали». Какие же это были

выписки? Над чем плакал император вместе с почтенным Александром Семеновичем? Это были многочисленные цитаты из пророков — Иеремии, Исайи, Иезекииля. Оказывается, еврейские пророки предвидели, что маленький французский капрал вторгнется и православную Россию. У них очень точно описан Бонапарт. «Сердце его аки камень; окрест зубов его страх, очи горят, яко углие...» Разве это не он? Или вот еще портрет корсиканца: «Сей речет в уме своем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горах высоких, яже к северу, взыду выше облак, буду подобен Вышнему...» А конец этой цитаты и вовсе убедителен: «Аз есмь царь царей. И се аз на тя Рос и приведу на тя языки многи, яко же восходит море волнами своими и обвалят стены градов твоих». Особенно поразительно, что «царь царей» — очевидно. Наполеон — ведет «языки многи» именно на «Рос», то есть на Русь. Правда, в подлиннике сказано вовсе не Рос, а Сор, но в своем патриотическом восторге Александр Семенович не утерпел и переставил буквы для большего эффекта. Но Александр не обращал внимания на эти мелочи. Его поразили величавые картины грядущих событий. За несколько тысячелетий какие-то необыкновенные люди пламенным языком говорили о том, что будет некий нечестивый властелин, который, забыв бога и совесть, возжаждет поработить все народы. Безбожный владыка сам захочет стать богом. Он растопчет все святыни, чтобы создать новые во имя свое. Этот враг истины будет горд и своеволен, как сатана. Он объявит себя сыном божьим. Александр, по-видимому, не знал, что на другой день после своей коронации Наполеон говорил: «Я [144] слишком поздно родился. Теперь трудно совершить что-либо великое. Конечно, я сделал блестящую карьеру, я этого не отрицаю, я пошел по верному пути. Но какая разница с античными временами! Возьмите, например, Александра Македонского: покорив Азию, он объявил себя сыном Юпитера, и весь Восток этому поверил, за исключением Олимпии, которая,

понятно, на этот счет имела свое особое мнение...» «Ну, а вздумай я объявить себя сыном предвечного отца, любая торговка посмеется мне в лицо при встрече».

Однако тот факт, что якобинец Бонапарт с совершенной искренностью жалуется на неуместный скептицизм парижских торговок, весьма выразителен. В самом деле, те самые дамы рынка, которые когда-то напялили на голову венчанного Напета красный колпак, не могли, разумеется, поверить в божественность Бонапарта. Но ведь в его «божественности» вся суть. Наполеон так и сказал, ведя свою великую армию на «священную» Москву: «Если бы сам Бог захотел помешать мне идти вперед, это ему не удалось бы».

Читая Библию, Александр все более и более убеждался в своей духовной слабости и нищете. Что он значит перед лицом величайших событий? Смеет ли он занять место вождя русской армии? Надо смиренно подчиниться голосу народа. Все уверяют, что нужен главнокомандующий с русским именем, любимый солдатами. Это — Кутузов, младший товарищ Суворова. Александр вспоминал неповоротливого, грузного человека, с хитрым глазом, и ему было неприятно, что придется назначить именно его, этого свидетеля аустерлицкого позора. Но делать нечего. И Александр назначил Кутузова главнокомандующим.

Александру рассказывали, что Кутузов, приехав в армию, сказал будто бы: «Ну, разве можно отступать с такими молодцами!» Все верили, что наступит конец нашей ретирады. Но — странное дело — и этот любимец наших солдат подобно честному немцу Барклаю-де-Толли уводил армию все дальше и дальше, удивляя всю Россию.

Наконец наступил Бородинский бой. Сорок тысяч русских людей легло на поле битвы, столько же погибло французов и союзников. Александр дрожащими руками взял бумагу с

донесением Кутузова. Странное это было донесение. Оно было слишком лаконично, неопределенно и сухо. Как будто автору донесения [146] лень было писать его, как будто Кутузов занят был чем-то другим, более важным, чем эта случайная битва в ста тридцати верстах от Москвы. Стиль донесения вял и небрежен. Синтаксис неграмотен.

«Сражение было общее и продолжалось до самой ночи; потеря с обеих сторон велика; урон неприятельский, судя по упорным его атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма наш превосходить. Войска вашего императорского величества сражались с неимоверною храбростью: батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами. Ваше императорское величество изволите согласиться, что после кровопролитнейшего и пятнадцать часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская армия не могли не расстроиться, и за потерею, сей день сделанною, позиция, прежде занимаемая, естественно стала обширнее и войскам невместною, а потому, когда дело идет не о славе выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить шесть верст, что будет за Можайском, и, собрав расстроенные баталией войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением московским, в теплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск, увижу я, что могу предпринять противу неприятеля».

Неясный и уклончивый рапорт Кутузова Александр принял как весть о неудаче русской армии, но поздно было менять командование. А между тем сам Кутузов нисколько не сомневался, что Бородинский бой ведет нас к настоящей победе. Спустя несколько дней после битвы он писал жене: «Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл

баталию над Бонапартом. Детям благословение. Верный друг».

Эта записочка куда лучше написана, чем рапорт императору. Очевидно, что Кутузов не очень интересовался душевным состоянием Александра и не считал нужным поддерживать в нем бодрость. 7 сентября Александр получил через Ярославль краткое донесение графа Ростопчина о том, что Кутузов решил оставить Москву. Император удалился к себе в кабинет, и всю ночь камердинер слышал его шаги. Утром он вышел из кабинета, и все заметили, что у императора в волосах немало седых прядей. Императрица-мать и братец Константин в истерике упрекали [147] императора за то, что он не спешит заключить мир с Бонапартом. Патриоты негодовали на иной лад. Повсюду Александра встречали недоумевающие, злые люди, смущенные взгляды. Сама Екатерина Павловна. с которой он был связан нежной дружбой, писала ему из Ярославля: «Занятие Москвы французами переполнило меру отчаяния в умах, недовольство распространено в высшей степени, и вас самого отнюдь не щадят в порицаниях... Вас обвиняют громко в несчастий вашей империи, в разорении общем и частном, — словом, в утрате чести страны и вашей собственной...» Полковнику Мишо, который привез императору официальное известие о занятии Москвы французами, Александр сказал: «Истощив все средства, которые в моей власти, я отпущу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить». А на другой день он писал шведскому наследному принцу по поводу занятия Наполеоном Москвы: «После этой раны все прочие ничтожны. Ныне более, нежели когда-либо, я и парод, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погрести себя

под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен».

Тщетно «без лести преданный» Аракчеев молил своего хозяина принять предложения Наполеона о мире, Александр обыкновенно рассеянно слушал своего любимца, ежели тот решался рассуждать о высокой политике.

XVI

Пять недель пребывания Бонапарта в Москве были для Александра самым страшным испытанием после 11 марта 1801 года. Император чувствовал, что все его торжественные слова о том, что он отрастит себе бороду и будет есть картофель с мужиками, нисколько не влияют на современников. 15 сентября, в день коронации, уличная толпа встретила императора мрачным молчанием. «Никогда в жизни не забуду тех минут, — пишет графиня Эдлинг, — когда мы поднимались по ступеням в собор, следуя среди толпы; не раздалось ни одного приветствия. Можно было слышать наши [148] шаги, и я нисколько не сомневалась, что достаточно было малейшей искры, чтобы все кругом воспламенялось, Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колени мои подгибаются».

Положение императора Александра в самом деле было трудное. Он старался как можно меньше видеть людей, запирался у себя в кабинете и, забывая подписывать срочные бумаги, читал французскую Библию, стараясь разгадать ее тайный смысл. Он казался теперь сутулее, чем всегда, и свойственная ему обворожительная улыбка реже появлялась на его лице.

Из Москвы приходили ужасные вести. Столица горела, и целые кварталы были уже в дымящихся развалинах.

Французы грабили бесстыдно. И оставшиеся жители подвергались насилию и оскорблению. Но эта разнузданность солдат таила в себе гибель армии.

Шестого октября, как известно, произошла битва под Тарутином. Мюрат был разбит, и, хотя русские не использовали своего выгодного положения. Наполеон в ту же ночь, взорвав не совсем удачно Кремль, покинул столицу. Получив известие о выступлении Наполеона из Москвы, Александр понял, что опасность миновала. Кутузов приглашал императора руководить военными действиями, но воспоминания об Аустерлице и Фридланде смущали Александра, и он сказал посланному к нему из армии полковнику Мишо, что не хочет пожинать лавры, не им заслуженные.

Через неделю пришло известие о сражении под Малоярославцем. Армия Наполеона все еще была внушительной силой, но она обречена была на гибель, несмотря на храбрость ветеранов и мужество маршалов. Александр с волнением читал о движении полчищ Бонапарта. Эта армия, все еще огромная, несмотря на все потери, влекла за собой несметные обозы с награбленным имуществом, и эта жадность завоевателей была для Наполеона как ядро на ноге каторжника. Все были мародерами, начиная с маршалов и кончая мальчишкой барабанщиком. Генералы ехали в колясках, и У каждого были десятки и даже сотни фургонов с серебром, мехами, фарфором, шелком, зеркалами... Зрелище человеческой жадности перед лицом смерти было омерзительно и мрачно. Французы дрались с злым упорством, защищая награбленное, как будто в этом был весь смысл военного похода на Москву. [149]

Слова Иеаии звучали в душе Александра внушительно и таинственно. Всемогущий Ягве карает царей-

богоотступников. «Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли...» «Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому...» «Народ и царства, которые не захотят слушать тебя, погибнут, и такие народы совершенно истребятся...»

Александру казалось, что он обрел истину. Он бредил библейскими текстами. Ему снились исполинские картины, созданные воображением Иезекииля. Наполеон, которого он обнимал в Тильзите и называл братом, теперь казался ему страшным зверем. Бог спас его, Александра, от участи тех безбожных владык, которых карает десница Бога богов. Слабый и грешный Александр избран провидением, чтобы сломить безмерную мощь величайшего из гордецов. Надо спешить. Надо раздавить эту гидру, которая может опять поднять голову. Почему этот старый хитрец Кутузов медлит изничтожить врага одним ударом? Разве он не понимает, что сейчас дело идет не только о России? Весь мир окован цепями этого демона, и если не удастся сломить врага сегодня, он опять будет владеть Европой, а потом и Азией. Вселенная в ужасе смотрит на этого загадочного и мрачного человека.

А Кутузов, кажется, ничего не понимает. Он ленив и беспечен. У него даже нет честолюбия. Он говорит, усмехаясь: «Все это развалится и без меня» («Tout cela se fondera sans moi»). Он проводит все ночи напролет с какой-то хорошенькой любовницей, а на военных советах спит. Почему его так любят солдаты? Он ire хочет гибели Наполеона. Ему бы только выгнать его из России, а до судьбы мира ему нет дела. «Я вовсе не убежден, — заявил он однажды генералу Вильсону{76}, — будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии. Наследство его достанется не России или какой-либо другой из держав материка, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимо». А еще

раньше, под Тарутином, он сказал одному русскому генералу: «Мы никогда, голубчик мой, с тобой не согласимся: ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот остров сегодня пойдет на дно моря, я не охну».

Кутузов ленив и нелюбопытен, как все русские. Он не хочет заглянуть в будущее и живет сегодняшним [150] днем, он не сознает того, что надо во что бы то ни стало отрезать Наполеона от Запада и взять его в плен. Если он невредимый уйдет из этой холодной русской пустыни в свою теплую Францию, его там опять встретит триумфами восторженная нация, и он снова поведет легионы с тем, чтобы уничтожить независимость народов.

Но Александр не решался отнять власть у героя Бородина. И Наполеон уходил, огрызаясь, как лев, от русских, которые шли за ним по пятам. Французская армия таяла на глазах Кутузова.

Гибель вражеской армии внушала Александру мысль, что какие-то неведомые силы спасают Россию. Куда, в самом деле, исчезают части наполеоновской армии одна за другой? Когда русские настигают французов, трудно решить, на чьей стороне остается в этих столкновениях военное преимущество. А между тем французская армия как будто проваливается в неизмеримое пространство России. Осень была теплая, да и октябрьские морозы, наступившие позднее, не так уж были сильны, но какой-то белый туман окутывал растянувшиеся по дорогам солдатские колонны. Французские, польские, итальянские, немецкие отряды то и дело сбивались с пути в этой волшебной снежной мгле и сами спешили навстречу гибели, отдаваясь сотнями и тысячами казакам и даже мужикам и бабам, вооруженным косами и ножами.

И вот наконец Александр получает донесение о знаменитой битве на Березине, у Студянки. Здесь был последний разгром наполеоновской армии, но почему же, однако, ушел сам Бонапарт с остатками, хотя и жалкими, своей армии на Запад? Как могли русские генералы допустить это бегство? Мюрат ведет измученных гвардейцев по направлению к Вильно, а сам император, бросив своих ветеранов, мчится в Париж набирать новых солдат. Покинув в Вильно тысячи раненых и больных, французы спешат дальше, и русский авангард беспрепятственно входит в город.

Сам Александр едет в армию. Ему приходится здесь, в Вильно, обнимать торжественно на глазах всех Кутузова. Ему приходится вручать старику «Георгия» первой степени. Но Кутузов по-прежнему смотрит на своего государя хитрым мужицким глазом. По-прежнему они не понимают друг друга.

Если верить Вильсону, Александр будто бы говорил [151] этому генералу: «Мне известно, что фельдмаршал ничего не исполнил из того, что следовало сделать, но предпринял против неприятеля ничего такого, к чему бы он не был буквально вынужден обстоятельствами. Он побеждал всегда только против воли; он сыграл с нами тысячу и тысячу штук в турецком вкусе. Однако дворянство поддерживает его, и вообще настаивают на том, чтобы олицетворить в нем народную славу этой кампании. Отныне я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасности подобного предводительства».

Графу Салтыкову писал: «Слала богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо».

Кутузов по-прежнему твердил упрямо государю, что нора «положить оружие». До Европы нам нет дела. Там все

уладится само собою. Александр на этот счет был иного мнения, и было трудно убедить старика и многих ему сочувствующих, что нужен новый поход на Запад для освобождения Европы. Иногда Александр изнемогал от этого сопротивления какой-то косной стихии, олицетворением коей он считал Кутузова. Предпринимая кампанию 1813 года, он не мог не думать о нравственной ответственности перед Россией, и поэтому каждое сомнение в необходимости этого нового похода было для него как нож в сердце. «Надо побывать на моем месте, — говорил он Шуазель-Гуффье, — чтобы составить себе понятие об ответственности государя и о том, что я испытываю при мысли, что когда-нибудь мне придется дать отчет перед Богом за жизнь каждого из моих солдат. Нет, престол не мое призвание, и если бы я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал... Признаться, иногда я готов биться головой об стену».

«Биться головой об стену» в самом деле было от чего. По большой Смоленской дороге лежало до ста тысяч неубранных трупов, которые гнили, заражая воздух. Несмотря на то что, оберегая чувствительную душу Александра, спешно проложили к Вильно особую дорогу, параллельную старой, все же императору пришлось увидеть картины, похожие на образы Дантова ада. Сани нередко дробили полозьями кости мертвецов. Встречались громадные толпы обмерзлых, посиневших, едва двигавших ноги пленников, которых гнали дубинками мужики и бабы. На подводах везли наваленных кучами раненых и больных, коих приводилось то и дело сбрасывать на дорогу, как только они переставали дышать. Лошади храпели и поднимались на дыбы, чуя груды мертвецов. В иных местах тела замерзших мертвецов стояли недвижно, прислоненные к деревьям. Волки, воя, терзали трупы на глазах проезжих. Распространялись эпидемии. За год войны взято были на военную службу более миллиона

крестьян. Население было разорено. Целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию.

Не успел Наполеон покинуть пределы России, как уже возник опять во всей своей остроте польский вопрос. Александр, друг Адама Чарторижского, одного из самых страстных польских патриотов, четырнадцать лет слушавший среди нежных объятий обольстительные речи польки Четвертинской, по мужу Нарышкиной, всегда чувствовал особое пристрастие к этому облатинившемуся славянскому племени. Но события говорили против поляков. Александр знал, что, несмотря на данные им польскому обществу обещания отстаивать их независимость, поляки встретили Наполеона с энтузиазмом и участвовали в походе на Москву, превосходя французов в жестокости и жадности.

И теперь, когда после изгнания Наполеона из России русские войска вступили в Польшу, население встретило Александра холодно и мрачно. Одни евреи, которым так мало доверяло наше правительство, проявили русский патриотизм, встречая восторженно нашу армию. Александр с удивлением смотрел на толпы старых и молодых евреев, которые несли ему навстречу разноцветные хоругви с его вензелями, били в барабаны и играли на трубах и литаврах, распевая гортанно какие-то гимны, сочиненные еврейскими пиитами в честь русского народа, с которым они чувствовали связь, несмотря ни на что.

Вскоре после прибытия в Вильно Александр получил письмо от Адама Чарторижского, выжидавшего исхода кампании 1812 года. Убедившись в разгроме французской армии, он теперь спешил возобновить свою связь с Александром, уговаривая победителя создать независимое польское королевство. И на этот раз Александр отвечал вполне доброжелательно: «Польше и полякам нечего опасаться от

меня какой бы то ни [153] было мести. Мои намерения по отношению к ним все те же... Успехи не изменили ни моих идей относительно вашего отечества, ни моих принципов вообще, и вы всегда найдете меня таким, каким вы знали меня».

Адам Чарторижский, ободренный ответом Александра, явился в главную квартиру императора, чтобы сопутствовать ему в походе и влиять на него в интересах Польши. Иностранцы вообще опять окружила Александра. Кутузов был болен. Император сам заходил к нему для совещаний, стараясь выказать уважение к тому, кто был в глазах русских героем. Но это было трудно Александру. Он спешил перенести наступательные действия за Эльбу, а Кутузов уверял, что армия еще не готова к походу. «Самое легкое дело идти теперь за Эльбу, — сказал он однажды, — но как воротимся? С рылом в крови».

Но наступали события, помешать коим не могла уже старческая рука суворовского генерала. Пруссия присоединилась к России, мобилизуя армию. Фридрих-Вильгельм отдал свои войска в распоряжение Кутузова. В Силезии немецкое население устроило восторженные овации полководцу. Александр вручил старику лавровый венок, который поднесли ему в Штейнау. Но это был надгробный венок. Как известно, Михаил Илларионович Кутузов умер 16 апреля 1813 года.

Со смертью Кутузова окончилась так называемая; «Отечественная война». Началось нечто иное. Кутузов и Александр были представителями двух противоположных психологии. Кутузов был то, что называется земский человек. Он был связан органически с землей, с населением, с традициями России. В нем были все достоинства и недостатки этого типа. Его любили солдаты, потому что в нем было что-то мужицкое, простое и чуть-чуть лукавое. У него

было звериное чутье, и врага он чуял по-звериному. Он, как медведь, когда был сыт, никому не был страшен. Но горе тому, кто поднимал его из берлоги. Идти на врага с какими-то отдаленными целями он не хотел и не мог. Непосредственно защищать Россию он согласился, когда Бонапарт пошел на Москву, но проливать мужицкую кровь , в каких-то для него непонятных общеевропейских интересах казалось ему сумасбродством.

Не таков был Александр. Он был чужд народным массам. Мужиков он не знал вовсе. Не понимал их. В этой его отчужденности от земли была его драма, [154] и она привела его к печальному концу. Однако нет в истории бессмысленных событий. И то, что Россия стала во главе кампании 1813 — 1814 годов, имело свой объективный смысл.

XVII

«Двенадцать лет я слыл в Европе посредственным человеком, посмотрим, что они скажут теперь», — говорил Александр в Париже в 1814 году. Самолюбие Александра в самом деле могло теперь насытиться. Так называемое европейское общество приветствовало его как руководителя победоносной кампании, приведшей к низложению Наполеона. Все льстили Александру, называя его Агамемноном новой Илиады. Но чем больше было блеска вокруг его имени, тем больше он сомневался в своем праве на это исключительное положение. Оставаясь наедине с самим собой, он старался дать себе отчет в событиях этого года, но воспоминания теснились в странном беспорядке, и трудно было подвести итоги тому, что совершилось.

Александру мерещился тот яркий солнечный день, когда он с королем прусским въезжал торжественно в Дрезден при радостных криках саксонцев; он вспоминал, как он гулял по Дрездену и толпа теснилась вокруг него, и потом — эти

мучительные воспоминания о Люценских полях, куда явился Наполеон с новой армией, заявив, что он теперь открывает кампанию не как император, а по-старому — как генерал Бонапарт. И союзники были разбиты этим генералом. Александр вспоминал эту жуткую ночь, когда он при свете фонаря пробирался среди раненых и мертвых в тыл армии; он вспоминал, как ему пришлось еще до рассвета разбудить Фридриха-Вильгельма и объявить ему печальную новость о необходимости отступать и как злополучный король восклицал малодушно: «Это мне знакомо... Я вижу себя в Мемеле». Александр вспоминал о том, как ему доносили, что 30 апреля Наполеон въехал в Дрезден при громе пушек и колокольном звоне и толпа приветствовала его совершенно так же, как незадолго до того Александра. Потом — новая неудача союзников в Бауцене. И опять пришлось утешать неутешного прусского монарха. Все это было Мучительно и стыдно. А сражение под Дрезденом! Эта страшная бурная ночь, когда холодный дождь, казалось, [155] хочет затопить армию, и этот день 15 августа, когда в нескольких шагах от него, Александра, был убит ядром генерал Моро{77}, — как все это было ужасно Александр думал, что победы и поражения зависят не столько от искусства полководцев, сколько от загадочных, незримых сил, какие влияют на дух войска, А воспоминания теснились в душе неудержимо. Победа под Кульмом! Александру представилось, как после сражения мимо него вели тысячи пленных и наконец; показался генерал Вандамм. Да, это была незабываемая сцена. Александр покраснел, вспомнив грубость брата Константина и свою запальчивость. Этот генерал сделал масонский знак, и Александру пришлось изменить свой тон по отношению к брату каменщику. Пленному генералу были гарантированы почет и удобства. Союзные монархи были плохими помощниками Александру. Император Франц больше интересовался музыкой, чем битвами. И после Кульмской победы, когда его дворец в Теплице должен был

занять штаб принца Леопольда, этот меломан с совершенным равнодушием к успеху союзников любезно уступил свое помещение, сказав: «И прекрасно, мы можем продолжать нашу игру внизу». У него была в это время в руках скрипка. Он играл с друзьями какое-то трио.

Александр завидовал этому любителю музыки. Но сам он не мог даже мечтать о личной жизни. Он чувствовал себя во власти событий и фатально подчинялся этой власти. Странное спокойствие им овладело. Ему теперь самому казалось удивительным то хладнокровие, какое он проявил под Лейпцигом. Все колебалось. Генералы смутились и готовы были к отступлению, и, если бы Александр растерялся, сражение было бы проиграно. Впервые все признали Александра полководцем и добровольно ему подчинились. Но сам он чувствовал, что им руководит нечто ему самому не совсем понятное. Эта «помощь свыше», как он верил, обеспечивала ему успех. Трехдневная «битва народов» и победа союзников — разве это не апофеоз событий, смысл коих будут разгадывать потомки? И в этом сражений Александр мог быть убит: гранаты разрывались у ног его лошади. Тогда он убедился, что ему не так уж страшна смерть. И вот Наполеон уводит свою армию за Рейн. Александр вспомнил свое пребывание во Франкфурте. Теперь он был властелином Европы. Короли и принцы толпились в его приемной, [156] волнуясь и дрожа за свои короны и прерогативы. Александр был на вершине своей славы, но он знал, что все это «суета сует и всяческая суета». Он, Александр, не забыл взять с собою в поход Библию и, ложась на свою жесткую постель с твердым валиком под головой вместо подушки, всегда читал эту удивительную книгу, назидательную для всех — для нищих и богатых, рабов и царей.

Однако эти чтения таинственной книги нисколько но поколебали в Александре тех «женевских» идей, какие были

ему внушены когда-то Лагарпом. В конце 1813 года император удосужился послать своему воспитателю дружеское письмо, где между прочим он писал: «Прежде чем окончить это письмо, скажу вам, что если, при помощи провидения, некоторые настойчивость UL энергия, которые я имел случай выказать в течение двух лет, могли быть полезными делу независимости Европы, то этим я обязан вам и вашим наставлениям. Воспоминание о вас в трудные минуты, которые мне приходилось переживать, никогда не покидало моей мысли, и желание оказаться достойным ваших забот, заслужить ваше уважение являлось поддержкой для меня. Вот мы с берегов Москвы очутились на берегах Рейна, который перейдем на днях».

Это перенесение войны на территорию Франции было, как известно, следствием настойчивости Александра. Союзники не желали этого. Даже Англия предпочитала сохранить во Франции правительство Наполеона. Но Александр помнил те уроки, какие давал ему в Тилъзите Бонапарт. Александр помнил, что корсиканец открыл ему свое заветное убеждение — для него, Наполеона, царствовать — это значит воевать и завоевывать. Наполеон в качестве мирного монарха невозможен и немыслим. Но у русского императора была иная идея: «Возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас под охрану общего союза, охранить себя и защитить их от честолюбия завоевателей, — таковы суть основания, на которых мы надеемся с божией помощью утвердить ату новую систему. Провидение поставило пас на дорогу, которая прямо ведет к цели. Часть ее мы уже прошли. Та, которая предстоит нам, усеяна большими трудностями. Надобно их устранить».

Эта «система», которая казалась Александру «новой [157] системой», на самом деле не так уж была нова. Каковы были следствия этой романтической утопии, мы теперь знаем.

Сладостные слова о мире всех народов остались красивыми словами. Но Александр искренне верил тогда в необходимость восстановить «европейскую систему» для блага наций.

И вот наступил январь 1814 года. Союзные войска идут на Париж. Но как не похожа эта кампания на обычные завоевательные походы! Император Александр как будто прежде всего заинтересован в том, чтобы очаровать и обольстить врага. Приказы по армии то и дело твердят о том, что солдаты должны быть великодушны к Франции. Не только мирные граждане, но и солдаты-пленные — предмет чрезвычайной заботы этого государя. Касльри доносил графу Ливерпулю о странном, по его мнению, поведении русского монарха. «В настоящее время, — писал он, — нам всего опаснее рыцарское настроение императора Александра. В отношении к Парижу его личные взгляды не сходятся ни с политическими, ни с военными соображениями. Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности, для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной его столицы».

Однако Александр не только озабочен своей широкой филантропией. Он очень внимательно и настойчиво следит за планом и действиями кампании. Он старается согласовать мнения полководцев и королей. Его признают безмолвно главным руководителем похода! О» поражает всех своей неутомимостью. Иногда он получив важные донесения, встает ночью и будит королей и генералов и, сидя на постели полусонного союзника, объясняет ему те или другие свои предположения и добивается нужного согласия.

Зачем он ведет в Париж эту союзную армию? Ни свергнуть Бонапарта? Чего ему надо? Не хочет ли он посадить на трон Франции Бурбонов? В штаб Александра проник агент павшей

династии Витроль. Он явился к императору, как роялист, полный надежды. Не он был в отчаянии после свидания с русским монархом.

Александр сказал ему: «Разумно организованная республика более соответствовала бы французскому духу. Идеи свободы не могли развиваться безнаказанно [158] в течение столь долгого времени в стране, подобной вашему отечеству».

«Вот до чего мы дожили, о Боже, — восклицает в своих записках обескураженный Витроль, — император Александр, царь царей, соединившихся для блага вселенной, говорил мне о республике».

Как развивались военные действия, как дрались войска союзников с Бонапартом — при Шампобере, Монмерайле, Шато-Тъерри, Арсисе-на-Обе, всем известно. 19 марта 1814 года союзники вошли в Париж.

Император Александр рассказывал впоследствии А. Н. Голицыну о том, что у него было в душе перед взятием Парижа. «В глубине моего сердца, — говорил он, — затаилось какое-то смутное и неясное чувство ожидания, какое-то непреоборимое желание передать это дело в полную волю божию. Совет продолжал заниматься, а я на время оставил заседание и поспешил в собственную комнату; там колени мои подогнулись сами собой, и я излил перед господом все мое сердце». По-видимому, то мистическое чувство, которое овладело Александром в 1812 году, не покидало его теперь. Но едва ли многие были посвящены в это душевное настроение русского императора. До его души никому не было дела. Для уличной толпы он был красивый моложавый человек в вицмундире кавалергардского полка, на сером коне, подаренном ему когда-то Наполеоном; для государей он был счастливый соперник; для дипломатов — искусный дипломат; для стратегов — удачливый дилетант военного

ремесла... Но прежде всего он был в глазах большинства либеральный монарх, который удивлял своим вольнодумством парижан. В салоне госпожи Сталь он рассуждал об отмене невольничества и крепостного права. «С божьей помощью, — говорил он, — крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование» («Avec 1'aide de Dieu, le servage sera aboli sous mon gouvernement me-me...»).

Он очень неохотно согласился на монархию Бурбонов, и то после фальсифицированного мнения нации, будто бы пожелавшей реставрации. «Бурбоны, — сказал он, — неисправившиеся и неисправимые (non corriges et incorrigibles), полны предрассудков старого режима». И не будь Александра, Франция не получила бы и той жалкой конституции, какую она получила. Либерализму Александра не было никакой поддержки. [159]

Он жил на улице Сен-Флорентен, в доме у Талейрана опутанный целой сетью интриг. Ему приходилось отдавать немало душевных сил и умственного внимания для переговоров с Наполеоном, который ждал в Фонтенбло своей участи. Александр был весьма озабочен тем, чтобы, удаляясь на остров Эльбу, Наполеон ни потерпел в пути каких-либо оскорблений или хотя бы даже неудобств. Он также заботился о том, чтобы французские офицеры были наилучшим образом обеспечены во всех отношениях.

Нельзя того же сказать о русских солдатах. Упоенный своей европейской популярностью и парижским успехами, император Александр забыл в странной растерянности о судьбе русских мужиков, которых он вел через всю Европу, чтобы победить при их помощи своего страшного соперника. Теперь дело было сделано, а победители были заперты в казармах. Их плохо кормили, обременяли нарядами и при случайных столкновениях с французами русские всегда оказывались виноватыми. Офицеры также были недовольны

тем предпочтением, какое Александр оказывал иностранцам. Впрочем, и солдаты и офицеры, несмотря на невзгоды, успели научиться в Париже кое-чему и теперь они по-новому смотрели на своего императора.

XVIII

Александр праздновал в Париже свою победу над Наполеоном. Перед ним в его воспоминании проходили торжественные декорации сражений. Короли и принцы, старый император Франц и его коварный дипломат, полководцы и министры — весь этот блестящий сонм привилегированных Европы стоял перед глазами Александра, как театральный апофеоз. Но эта пышная феерия не могла скрыть от его глаз черные провалы кулис. Там было совсем иное. Вот, например, какое «донесение» показал ему после Лейпцигской битвы барон Штейн.

«По пути туда, — пишет знаменитый германский врач Рейль, — я встретил бесконечные обозы с ранеными. Их везли на открытых телегах. Они были навалены грудами, без сапог, без всякого прикрытия, точь-в-точь как возят на убой телят мясники. За повозками тянулись страдальцы, не нашедшие себе места на них, в том числе многие тяжело раненные, с [160] отстреленными и оторванными членами. И в этот день, то есть ровно через неделю после вечно памятной битвы народов, находили на поле сражения людей неискоренимая жизненная сила коих не могла быть разрушена ни ранами, ни ночными морозами, ни голодом. В Лейпциге я нашел около двадцати тысяч раненых и больных воинов всех наций. Необузданнейшая фантазия не в состоянии набросать картину, представившуюся мне. Самый крепкий человек не в состоянии созерцать эту ужасную панораму. Я представлю вам лишь немногие черты страшного зрелища, черты, которые я могу засвидетельствовать как очевидец. Наши раненые

размещены в таких местах, где я не решился бы поместить и больных собак. Они лежат или в глухих подвалах, где воздух не содержит в себе и такого количества кислорода, которое необходимо для пресмыкающихся, или в школьных помещениях с выбитыми стеклами, или в холодных церквах, где холод растет по мере того, как уменьшается испорченность воздуха, или, наконец, подобно некоторым французам, прямо на дворе, где небо служит вместо кровли, где раздаются вопль и скрежет зубов. В одном месте больных умерщвляет спертый воздух, в другом — их истребляет мороз. Несмотря на недостаток общественных зданий, не подумали отвести под госпитали хотя несколько частных домов. Ни одной нации не отдано предпочтение. Все бедствуют одинаково... Нет даже соломы, на которую можно было бы уложить раненых... Одна часть их уже умерла, другая умрет наверное. Их члены страшно распухли как бы вследствие отравы и поражения антоновым огнем. Больные гниют в собственных нечистотах...

Заключаю мое донесение ужаснейшим зрелищем, при одном воспоминании о котором мороз пробегает по жилам. На открытом дворе городской школы я увидел целую гору, состоявшую из всевозможных отбросов и голых обезображенных трупов наших воинов, Они валялись тут, как останки преступников и разбойников. Их пожирали на виду у всех вороны и собаки. Так ругаются над телами героев, падших за отечество».

Наполеон любил осматривать поля сражений. Мрачный вид трупов и смрадный запах нисколько его не смущали и даже как будто доставляли ему какое-то странное удовлетворение. Александр никогда не мог [161] привыкнуть к этим зрелищам. Наполеоновской цельности в его душе не было никогда.

Кроме этих страшных язв войны, этой грубой и явной несправедливости, Александра смущала та ужасная ложь и бесстыдная корысть, которыми обычно руководствовались политики всех рангов и всех национальностей. Весь путь от русской границы до Парижа был страдным путем не только военной борьбы с Бонапартом, но и мучительной борьбы с союзниками и интриганами. Во главе этих интриг стояли Меттерних и австрийские полководцы. Сколько было из-за них проиграно сражений! Сколько было загублено жизней! Всегда безупречный в личном обращении, владевший собою, как рыцарь, мягкий и ласковый, под конец походов император так был нравственно утомлен, что окружающие не узнавали в нем прежнего Александра. Малейшее противоречие выводило его из себя. Он сделался вспыльчив и нетерпелив. Князь Волконский писал К. Ф. Толлю, что жить с императором все равно «как на каторге». Все дрожат ежеминутно от его гнева.

В Париже Александр снова овладел собою. Обворожительная улыбка опять появилась на лице «северного Тальмы». Но в глубине его души осталось, кажется, навсегда презрение к людям. Однажды он сказал сам: «Я не верю никому. Я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы». Такое убеждение естественно могло сложиться у человека, имевшего дело е Ме-тернихом, Талейраном и сотнями иных негодяев. С волками жить — по-волчьи выть. И русский император доказал в свою очередь, что у него немалые «дипломатические» таланты. Наполеон даже на острове Св. Елены говорил про него: «Александр умен, приятен, образован. По ему нельзя доверять. Он неискренен. Это — истинный византиец, тонкий притворщик, хитрец». По словам Шатобриана, «искренний как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики». А шведский посол в Париже Лагербиельне говорил, что в политике Александр

«тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская».

Итак, осенью 1814 года открылся большой спектакль европейской дипломатии — Венский конгресс. Александр играл на этих подмостках не последнюю роль, соперничая с Меттернихом и Талейраном.

Блеск венского двора и международного дипломатического [162] корпуса был необычаен. Австрийскому правительству обошлось «представительство» на атом конгрессе в несколько миллионов рублей, и пришлось увеличить промысловые налоги вдвое, так что во время эффектных прогулок за город, когда коронованные особы, светские дамы и дипломаты, щеголяя роскошью, показывались публике, рабочие и ремесленники кричали в лицо этим вершителям высокой политики не слишком приятные приветствия, похожие на оскорбления.

Тем не менее конгресс веселился. Кто-то сказал по этому поводу: «Конгресс танцует, но стоит на месте» («Le congres danse, mais ne marche pas»). Танцевал и Александр, обольщая венских красавиц. Однако международная интрига была в полном разгаре.

Бывший прелат, шестидесятилетний Талейран, сам говоривший о себе, что «с своей кривой ногой он похож на ту черепаху, которая обогнала зайца», орудовал на конгрессе и дурачил противников, хотя и был представителем побежденной стороны. Он брал взятки с королей и принцев, обещая свое содействие соперникам. Не менее бесстыден был Меттерних. Австрийская империя, самая фальшивая из империй, когда-либо существовавших, лишенная вовсе самостоятельной духовной культуры, вся сотканная из многообразных национальностей и сильная единственно своей последовательной системой деспотического

бюрократизма, была достойно представлена Меттернихом. Этот человек не хотел ничего, кроме сохранения во что бы то ни стало того режима, который был его режимом. Он воспитался на идеях энциклопедистов, но сделал из этих идей на первый взгляд неожиданные выводы, впрочем, не менее с этими идеями согласованные, чем всякого рода либерализм, если взглянуть на них поглубже. Меттерних понял, что вольнодумцы XVIII века, освобождая человека от всякого авторитета, никак уж не могут обижаться, ежели человек объявит себя сторонником того порядка, какой будет ему по вкусу, не руководствуясь никакими соображениями о так называемом «общем благе». Меттерниху был по вкусу австрийский порядок. Этот бесподобный реакционер желал ввести австрийскую систему повсюду, ибо чувствовал, что реакция может быть прочной лишь при круговой поруке всех держав.

Вот с какими людьми приходилось иметь дело Александру. В сущности, только эти три человека — Меттерних, Талейран и Александр — вершили тогда все дела. Русский император чувствовал себя в центре мировых событий. Было от чего закружиться голове. Само собою разумеется, что, имея дело с такими хитрецами, как Талейран или Меттерних, приходилось и самому хитрить. Опыт юности, эта невольная лукавая политика но отношению к бабушке и к отцу, теперь пригодился Александру. Недоброжелатели приписывали ему ото одну черту — тщеславие. Французский посол граф Лафероне говорил об Александре: «Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство; если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину».

В хитрости Александра в самом деле было что-то женское. Он сам, должно быть, сознавал это в себе. Однажды, когда речь зашла об его сходстве с сестрой Екатериной Павловной, Александр удалился на полчаса и вернулся к обществу в

женском наряде. Этот маскарад его забавлял. Он был удивительно похож на женщину. Те хитрости, которые он применил в начали Венского конгресса в борьбе с Меттернихом, были женские хитрости. Желая выведать тайны лукавого дипломата, он овладел симпатиями сначала княжны Багратион, бывшей любовницы Меттерниха, а потом симпатиями герцогини Саган, к которой как раз в эпоху конгресса питал особую нежность сластолюбивый австрийский князь. Известно, что будущие творцы Священного союза ознаменовали свои отношения в ту пору самой скандальной ссорой, и Меттерних в своих мемуарах, весьма, впрочем, лживых, уверял даже, что Александр вызывал его на дуэль.

Венский конгресс, длившийся несколько месяцев, не представлял собою политического конгресса в точном смысле этого слова. Все дела решались на балах, раутах, маскарадах, а иногда в дамских салонах и даже в будуарах сомнительных прелестниц. Если выдающиеся деятели эпохи были столь безнравственны, как Меттерних и Талейран, то что сказать о прочих ничтожествах «более или менее коронованных», как выразился впоследствии по другому поводу поэт Тютчев. Здесь были собраны титулованные монстры со всех концов Европы. Веселились и развратничали с увлечением людей, давно лишенных возможности предаваться обычным для них наслаждениям. Еще бы! Наполеон [164] своей бесцеремонной рукой солдата так беспощадно сбивал короны с этих когда-то самоуверенных голов. Все эти короли и герцоги, испуганные революцией, так долго дрожали потом в страхе перед первым консулом, а потом странным императором, вовсе не похожим на людей голубой крови. И вот теперь они облегченно вздохнули. Народы безмолвствовали, а привилегированные, мечтая о восстановлении феодально-дворянского порядка, торопливо делили наследство Бонапарта

Александр, пожалуй, был менее циничен в этом алчном дележе. Международные грабители довольно успешно распределяли территории и население. Этому помогали миллионные взятки, которые брали министры и дипломаты у менее ловких герцогов и королей. Труднее всего было уладить дело с Польшей. Александр настаивал на присоединении к России Варшавского герцогства с самостоятельной конституцией. Ему не удалось, однако, объединить все польские земли под своей короной. Австрия и Пруссия оставили за собою: первая — Галицию, вторая — Познань. Было и другое затруднение. Все государи восстали против наделения Царства Польского особой конституцией. Это было бы дурным примером для порабощенных наций. Но Александр в этом пункте был непоколебим. В результате Россия, более прочих держав пострадавшая от войны, получила наименьшее вознаграждение. Австрия получила территорию с десятью миллионами населения, Пруссия — с пятимиллионным населением, а Россия приобрела три миллиона новых граждан, к тому же весьма сомнительных в отношении их государственной полезности. Но весь этот дележ алчных победителей мог вовсе не состояться. Карту Европы чуть было не пришлось перекраивать на новый лад.

В самый разгар политического и нравственного разврата получено было в Вене потрясающее известие. Наполеон покинул Эльбу и высадился с горстью храбрецов на южном берегу Франции. Надо представить себе при этом известии героев тогдашней Вены. Что было написано на их физиономиях? Тут были ведь не только Гамлеты и Макбеты... Тут были и комические персонажи: какой-нибудь король виртембергский, у которого живот спускался складками до самых колен; или гессенский курфюрст, наводивший на всех ужас не только язвами на своем лице, но и чудовищными своими пороками; или датский король, с типичной наружностью [165] альбиноса, смешивший венское общество

своими провинциальными манерами… На лицах всех этих коронованных каботэнов был написан смешной страх. Как будто наследники, только что закопавшие в могилу богача, вдруг увидели, что земля раскрылась, и вылез из гроба мертвец и грозит им своей костлявой рукой.

Александру, которому надоели все эти вырождающиеся титулованные особы, ухаживал в это время за хорошенькими венками и, нарушая демонстративно этикет, вел себя непринужденно, как будто он частный человек, а не самый могущественный из государей Европы. И вдруг весть о том, что раздался клич Бонапарта: «Солдаты! Орел с национальным знаменем полетит от одной колокольни к другой, до башен Нотр-Дам в Париже». Испуганный Меттерних, уже несколько недель делавший вид, что он не замечает царя, прибежал теперь к нему, забыв прелести герцогини Саган{78}.

Страх перед неистовым корсиканцем опять всех объединил, и соперники опять стали союзниками.

Людовик XVIII, который еще недавно чванился перед посадившим его на трон Александром и дулся на него за то, что он, самодержец в своей собственной стране, заставил его, Бурбона, подписать «хартию вольностей», теперь позорно бежал из Тюильри, узнав о том, что Наполеон идет на Париж и армия встречает его с восторгом. Впопыхах этот помазанник забыл на своем столе тайный договор, заключенный им с Англией и Австрией и направленный против России. Наполеон, конечно, поспешил прислать Александру этот документ в надежде, что русский император, узнав о том, что Меттерних мечтал всадить ему в спину нож, поспешит порвать с австрийским предателем. Но Александр, пригласив Меттерниха к себе, показал ему этот документ и бросил бумаги в камин. С этого часа они старались не ссориться друг с другом.

Всем известно, какие события отметила тогда бесстрастная Клио. Александр вторично въехал в Париж. Этот въезд не был таким веселым, как первый, и русский император, обидевшись на непостоянство парижан, на сей раз не очень защищал город от притеснений и оскорблений разъяренных немцев. А Наполеона увезли англичане на остров Св. Елены, чтобы он там на досуге диктовал свои мемуары.

XIX

Наполеон побежден. Европа свободна. Александр, увенчанный лаврами, возвращается в Россию. Но странное дело — эти лавры и эта победа нисколько не радуют Александра. Напротив, он стал меланхоличнее и суровее. В семейном кругу Александра называли прежде «кротким упрямцем» («le donux entete»), но теперь едва ли кто-нибудь решится назвать его кротким.

Михайловский-Данилевский, находившийся при государе, записал у себя в дневнике 1816 года: «В десять часов утра его величество гулял по саду и семь раз прошел мимо моих окон. Он казался веселым, и взгляд его выражал кротость и милосердие, но чем более я рассматриваю сего необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключениях. Например, каким образом можно соединить спокойствие души, начертанное теперь на лице его, с известием, которое мне сейчас сообщили, что он велел посадить под караул двух крестьян, которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение».

Декабрист И. Д. Якушкин рассказывает в своих записках, как в 1814 году, когда гвардия вернулась в Петербург из похода, он наблюдал торжественный въезд царя. «Наконец, — пишет он, — показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую уже он готов был опустить

перед императрицей... Мы им любовались. Но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего о обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет. Я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако же, не могла видеть мыши, не бросившись на нее».

Не один Якушкин разочаровался тогда в императоре Александре. Но и сам Александр был разочарован и в людях и в идеях. Не то чтобы он перестал верить в те идеалы, какие были ему внушены с детства Лагарпом и прочими ревнителями философии энциклопедистов, но вера эта стала теперь какой-то отвлеченной и сухой. Александр думал теперь, что идеалы весьма почтенные — сами по себе ничто, а вся суть в том, как [167] складывается реальная жизнь, а это часто не зависит от нашей доброй воли. Вот, например, Александр думал ранее, что республика лучше монархии и что всякую автократию нужно ограничить конституцией, он и теперь в атом не сомневается, но он теперь знает очень хороню, что не так уж просто применить к делу эти либеральные идеи. «Я люблю конституционные упреждения — говорил он когда-то Лафероне, — и думаю, что всякий порядочный человек должен любить их. Но можно ли вводить их безразлично у всех народов? Не все народы готовы в равной степени к их принятию».

Александр думал, по-видимому, что западные народы созрели для правопорядка, но он сомневался, созрел ли для него русский народ. Тот патриотизм, который, по уверению многих историков, овладел душой монарха в 1812 году, был патриотизм особого рода. Любовь *к* России для Александра вовсе не отождествлялась с любовью к русскому пароду. Русский народ — это тог дурашливый мужик, который всегда

не вовремя появляется на дороге и мешает эффектно салютовать шпагой перед золотой каретой императрицы. Полиция бьет палками этого мужика. Так и надо, ибо иначе его не подготовить к либеральной конституции.

Конституция уместна там, где вообще есть гражданственность, порядок, грамотность, добрые нравы. В России этого нет. Он, Александр, хотел заняться этими хорошими вещами, но помешал злодей Наполеон. Лучшие молодые годы ушли на борьбу с этим чудовищным порождением чудовищной революции.

Но ведь революция не то же самое, что мирное либеральное развитие страны. Разве не доказал Александр своими делами, что он не враг свободы? Разве он не настоял, чтобы Людовик XVTII дал стране конституцию? А сам разве не обеспечил свободу и автономию Финляндии? А Польша? Польская конституция либеральнее французской. Правда, вся власть, согласно этой конституции, сосредоточилась в руках шляхты, а нищая крестьянская масса так и осталась 'бесправной, но нельзя же. в самом деле, «все сразу». Во всяком случае, в Польше теперь не хуже, чем в Европе, а это уже кое-что.

По-видимому, Александр не оставлял своего намерения дать в конце концов конституцию и всей России. Рассуждая с Киселевым о злоупотреблениях администрации, Александр говорил: «Все сделать вдруг нельзя, [168] обстоятельства нынешнего времени не позволили заняться внутренними делами, как было бы желательно, но теперь мы занимаемся новой организацией... Армия, гражданская часть — все не так, как я желаю, но как быть? Вдруг всего не сделаешь, помощников нет».

Открывая весной 1818 года Варшавский сейм, в своей тронной речи Александр объявил недвусмысленно, что он намерен ограничить самодержавие на пространстве всей

России, а не только ее окраин. «Устройство, уже существовавшее в вашем крае, дозволило мне ввести немедленно то, которое я даровал вам, руководясь правилами свободных учреждений, не перестававших быть предметом моих забот, и которых благодетельное влияние, надеюсь я, с помощью божией, распространить на все страны, провидением попечению моему вверенные. Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что уже издавна я ему готовлю и чем оно воспользуется, как только начата столь важного дела достигнут надлежащей зрелости».

По поводу этих заявлений Карамзин писал одному из своих друзей: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию, судят, рядят, начинают и писать в «Сыне отечества», в речи Уварова иное вышло, другое готовится. И смешно, и жалко...»

По-видимому, эти варшавские речи иных обрадовали, а иных напугали не на шутку. Для этого испуга были основания. Теперь мы знаем, что в 1818 году Новосильцевым был составлен одобренный Александром план конституционного устройства России. Но помещикам казалось, что у нас конституция не пройдет так гладко, как в Польше, где крестьянская масса была покорнее овец. Итак, одним снилась «конституция», а другие страшились ее, памятуя о Пугачеве, который тряхнул Россией еще при Екатерине. Все эти толки и опасения стали известны Александру. И Сперанский, возвращенный тогда из ссылки и назначенный пензенским губернатором, разделял, по-видимому, опасения многих. «Вам, без сомнения, известны, — писал он, — псе припадки страха и уныния, коими поражены умы московских жителей варшавской речью... И хотя теперь все еще здесь спокойно, но за спокойствие сие долге ручаться невозможно...» Опасность, оказывается, в том, что составилось «общее в черном народе мнение, [169] что правительство не только хочет даровать свободу, но что оно уже ее и даровало и что одни только

помещики не допускают или таят ее провозглашение:.. Что за сим следует, вообразить ужасно, но всякому понятно...».

Если такие просвещенные люди, как Сперанский и Карамзин, не видели ничего доброго в ограничении самодержавия, чего можно было ждать от самого самодержца, у которого к тому же было самое грустное впечатление от тогдашних нравов? Вернувшись из Европы, Александр нашел в стране чудовищный развал администрации и хозяйственных дел. Он убедился воочию, что чиновники грабят население бесстыдно, что из пятидесяти двух губернаторов нет и пяти честных и порядочных, что все правительственные, ученые и научные учреждения империи — как малый оазис, в пустыне темного невежества. Так, по крайней мере, казалось Александру, европейцу по своим вкусам и воспитанию. Из этого Александр сделал тот вывод, что в России нет еще людей, пригодных для насаждения гражданственности. У Александра не было склонности и умения увидеть и почувствовать мужицкую Россию. Конечно, эта многомиллионная Россия была вовсе не цивилизована *в* европейском смысле, но, однако, в ней уже сложилась своя древняя культура. Александр, вероятно, никогда не слушал сказителей былин, не любил народных песен, не видел хороводов и плясок, не замечал изумительного талантливого быта, а главное, до его слуха не дошла та речь, русская речь, тот язык, полный красок и гармонии, богатейший и гениальный язык, который Арина Родионовна бережно вручила Пушкину как залог великого будущего России. Правда, Александр благосклонно прочел стихи молодого поэта «Деревня», из коих запомнил сочувственные строки:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, а собственность, и время земледельца;
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца...{79}
«Поблагодарите Пушкина, — сказал он по-французски князю И. А. Васильчикову, который вручил царю стихи, — поблагодарите его за добрые чувства, какие он внушает своими стихами». [170]

Стихи, однако, по цензурным условиям при жизни Александра в печати не появились, и «добрые чувства» поэту не пришлось тогда внушить согражданам. А потом Пушкин стал писать иные стихи. Они уже не пришлись по вкусу сентиментальному государю, и он повелел строптивому поэту выехать на юг, подальше от столицы.

Пушкин не любил Александра. Поэт славил императора как участника мировых событий, но он не чувствовал в нем ничего для себя близкого. И не мудрено, ибо трудно найти людей более противоположных, чем они. Пушкин всегда прислушивался к голосу национальной стихии. Александр не различал гармонии в этом гуле народной жизни. Ему нравились чувствительные песенки, какие распевают белокурые немки на берегах Рейна. Туда бы ему уехать! Там бы ему поселиться, подальше от этих жутких и непонятных русских мужиков, которые как будто на все способны — и на пугачевский бунт и на Бородинскую битву. В годовщину Бородина, когда Александру напомнили об этом, он отвернулся, хмурясь. Ему тяжело было вспомнить об этой битве, об этой мужицкой кутузовской тактике, осужденной немецкой военной наукой.

Иные называли Александра сфинксом. Его душа была непонятна в своих противоречиях. Легко было объяснить его двусмысленное поведение жалким лицемерием и природной лживостью, но это — слишком простое объяснение слишком сложного факта. Пушкин высказывал противоречивые оценки личности Александра. В 1829 году, будучи на Кавказе,

он увидел однажды мраморный бюст императора. Кто-то обратил внимание его на то, что брови царя нахмурены, а на губах улыбка. Это дало повод поэту написать его известную эпиграмму:

Напрасно видят тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку
И гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен;
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин{80}.

Да, если угодно, император Александр был в каком-то смысле арлекином. Но какая это была трагическая арлекинада! Он сам, как умный человек, понимал [171] двусмысленность своих дел и мнений, но не была ли причина этой двусмысленности в объективных условиях тогдашней императорской власти? Александр искренне хотел быть либералом, и многие, окружавшие его, не прочь были воспользоваться этим настроением государя, но при том условии, чтобы этот либерализм не простирался далее тех или иных социальных группировок, в коих они были заинтересованы. Вот почему даже такие друзья его «якобинской» молодости, как Кочубей, отговаривали императора спешить с освобождением крестьян. А ведь были и такие, как Шишков, который сам в своих записках рассказывает, как Александр в манифесте 1814 года повелел выбросить те фразы, где знаменитый крепостник говорил о связи помещиков и крестьян, «на обоюдной пользе основанной». По свидетельству Шишкова, Александр сказал: «Я не могу подписать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен».

XX

Александр был очень точен и аккуратен. Его мундир был безукоризненно сшит. Он никогда не появлялся даже в домашней обстановке небрежно одетым. Его письменный стол был в идеальном порядке. Бумаги, которые он подписывал, всегда были одного формата. Он любил Симметрию до странности. В комнате расставлялась мебель по строгому плану. «Однообразная красивость» военных парадов всегда неудержимо влекла его к себе. Вид немецких городов был ему более по вкусу, чем наших российских. Там больше было симметрии. И пейзаж немецкий был как-то правильнее и пристойнее, чем унылость наших худо обработанных полей или сумрак наших дремучих лесов. Там, на Рейне, все более походило на какие-то милые, давно знакомые картинки в книгах, выписанных когда-то для юного Александра из-за границы добродетельным швейцарцем. Немецкие ландшафты так невинны! Но разве можно разгадать угрюмые сны нашего дикого севера или золотую беспредельность южных степей? Москва, с ее полуазиатским стилем, неприятна Александру. Петербург симметричен и более похож на европейские столицы, но тут ужасные воспоминания, наводящие мучительную тоску. Проезжая мимо замка, [172] построенного Павлом, Александр всегда закрывал глаза. Нет, страшно жить в этом суровом, надменном городе, с великолепным его ампиром. В этом городе есть что-то безумное, жестокое и холодное. А так хочется мира и покоя! И не думать бы вовсе об этих призраках прошлого...

Надо побольше впечатлений — и, если нет войны или конгресса, надо ехать куда-нибудь, чтобы видеть новое, и ехать быстрее. Хорошо, что в России любят ездить, не щадя лошадей и собственного живота. Александр исколесил всю Россию. Перед ним в пестрой панораме неслась, как на крыльях, огромная многообразная Русь. Александр не останавливался подолгу нигде. Он всегда спешил куда-то, и

было непонятно, зачем, собственно, путешествует этот странный император.

Александр тяготился тем, что в России не так все благоустроено, как в Европе. Да и в Европе не все достаточно хорошо налажено. Надо бы всем правительствам создать такой порядок, при котором каждому гражданину было отведено свое, определенное место. Пусть он работает известное время на себя, но пусть уделяет и государству, в меру своих сил, нужное время, а государство должно обеспечить ему жизнь. Должны быть дни отдыха. Пусть тогда гражданин веселится. Но и веселье должно быть пристойное и под наблюдением начальства. Надо, чтобы гражданская жизнь походила на военную. В полку каждый солдат знает свое место и свое дело. В армии все гармонично и точно. Нельзя ли как-нибудь сочетать жизнь гражданскую с этой благодетельной военной дисциплиной?

В 1812 году Александру попалась французская книга генерала Сервана, который предлагал проект особых военных поселений на границах империи. Александру эта книга чрезвычайно понравилась. Он решил, что надо воспользоваться идеей французского генерала. Этот Серван как будто угадал мечту самого Александра. Вот когда будет порядок! Вот когда вместо неряшливой и неплодотворной гражданской жизни наступит стройная военная система!

Александр приказал перевести на русский язык книгу Сервана. Дело в том, что Аракчеев не понимал по-французски, а ему надо первому прочесть эту книгу. Кто же сумеет наилучшим образом применить к России план французского генерала? Конечно, он, [173] Аракчеев, верный «друг» царя. Царь вообще нуждался в этом своем «друге».

И какая странная «дружба» связывала этих людей? В чем была ее тайна? Кажется, тайну эту надо искать в болезненной

мнительности Александра. Его глухота еще больше подчеркивала ее. Он с трудом мог слышать человека, если он сидел за столом против него. Глухие всегда мнительны. Но для мнительности Александра были основания, более важные, чем глухого. Удивительно, что не все государи страдают манией преследования. Впрочем, кажется, государей, вполне свободных от этого недуга, никогда не было. В какой-то мере болен был психически и Александр.

«Ему казались такие вещи, о которых никто и не думал, — писала в своих мемуарах великая княгиня Александра Федоровна, — будто лад ним смеются, будто его слушают только для того, чтобы посмеяться над ним, и будто мы делали друг другу знаки, которых он не должен был заметить. Наконец, все это доходило до того, что становилось прискорбно видеть подобные слабости в человеке с столь прекрасным сердцем и умом. Я так плакала, когда он высказал мне подобные замечания и упреки, что чуть не задохнулась от слез».

Александр был мнителен и подозрителен. Однажды Киселев, Орлов и Кутузов, стоя у окна во дворе, рассказывали друг другу анекдоты и смеялись. Мимо прошел Александр. Через десять минут к нему в кабинет вызвали Киселева. Генерал застал Александра перед зеркалом. Император тщательно себя осматривал се всех сторон. Он решил, что смеялись над ним, над его наружностью. «Что во мне смешного? Почему ты и Кутузов с Орловым смеялись надо мною?» — допрашивал мнительный император изумленного и растерявшегося Киселева. Генералу с большим трудом удалось убедить Александра, что дело было в анекдотах, а не в наружности Александра. Подобных случаев было немало. Императора очень беспокоила сплетня, что у него будто бы искусственные ляжки, сделанные из ваты для красоты.

«Без лести преданному» Аракчееву удалось убедить Александра, что он, Аракчеев, вернейший его раб, что все готовы предать своего государя, только он один любит его, как самого себя. Александр поверил. Ведь надо же было кому-нибудь верить. Вельможи и сановники, все без исключения, всегда старались показать, [174] что они не глупее императора. А! Не глупее? Значит, тайно они думают, что они умнее его... Они так назойливы со своими советами! Они хотят распоряжаться государством. Но кто их уполномочил на это? Ведь конституции еще нет пока... Аракчеев никогда не решался учить Александра. Он, правда, высказывал свей мнения, но всегда лишь по частным вопросам. О высшей политике у него не было совсем своих мнений. Он был старше Александра на восемь лет, но он трепетал перед ним, как мальчишка. Входя в кабинет, он бледнел, вздрагивал и крестился, как будто он не временщик, фаворит, всесильный граф Алексей Андреевич, у которого государственные мужи, убеленные сединами, дожидаются в приемной три часа аудиенции, а робкий проситель, в первый раз попавший во дворец.

Легенду о том, что Аракчеев был вдохновителем Александра в эпоху реакции, уже разоблачили историки. Самые важные бумаги, исходившие за подписью Аракчеева, писаны по черновикам самого императора. Аракчеев был исполнителем и орудием Александра, а не его ментором. Знаменитый фаворит мог влиять на судьбу того или другого сановника или генерала, но он никак не мог влиять на политику императора вообще. У Аракчеева не было идей. У него была только душа раба. Александр правил многомиллионной рабской Россией, но это были какие-то неведомые и, кажется, строптивые рабы. А императору, несмотря на весь его либерализм, нужен был раб несомненный, убежденный и, главное, живой, близкий, тут всегда под руками. Таким безупречным рабом был Аракчеев. Для него Александр был

не только «его величество», но и «батюшка». Он так и обращался к нему в письмах, ползая перед ним на коленях.

И Александр любил своего раба. И в то время, когда современники почитали его лютым извергом, царь был иного мнения. «Злодеи вроде Балашова и Аракчеева продают такой прекрасный народ...» — писала одна мемуаристка в трудный 1812 год. Александру, напротив, казалось, что Аракчеев печется об этом народе. Император по опыту убедился, что все окружавшие его люди корыстны и жадны. Много явных казнокрадов, немало хитрецов, склонных грабить на «законных» основаниях, а честных людей как будто вовсе нет. Аракчеев не крал. В этом он в самом деле был неповинен. Он зорко стерег казенный сундук. Это внушало [175] императору к нему особое доверие. В этом смысле Аракчеев был фаворит и временщик. Распоряжаться людьми он мог самовластно. «Он все давит, — писал Жозеф де Местр. — Перед ним исчезли, как туманы, самые заметные влияния». Так могло казаться, ибо под конец царствования Александр принимал почти все доклады через Аракчеева. Министрам нелегко было добиться аудиенции.

В Аракчееве была одна черта, поражавшая почти всех якавших его лично. Это — жестокость. Правда, я век, м который он жил, был «жестокий» век, как его заклеймил Пушкин, но все же чем-то, должно быть, превзошел своих современников этот мрачный граф. «Граф делал мне добро, но правду о нем надобно писать не чернилами, а кровью», — говорил Н. С. Ильинский, протоиерей села Грузина, облагодетельствованный временщиком.

Но Александр этого не замечал. Когда-то на разводах и Гатчине Аракчеев в припадках ярости вырывал у солдат усы. И однажды, чуть ли не в день воцарения Павла, откусил у одного солдата ухо. В его Грузине провинившиеся мужики ходили с рогатками на шее, а розги постоянно хранились в

рассоле, в особых бочках. По словам А. М. Тургенева, «во всех сословиях общества Аракчеева называли змеем-горынычем». Но Александр ничего этого не замечал. Он любил ездить к этому жестокому графу на мирный отдых в «прекрасное» Грузине, не подозревая вовсе, что невольные холопы ненавидят этого добровольного холопа и готовят ему кровавую месть. Царь не подозревал этого. Он гулял вместе с хозяином Грузина по его великолепной усадьбе. Александру нравился берег Волхова; Он с удовольствием въезжал в это для него гостеприимное поместье, любуясь на две белые башни с дорическими колоннами у каменной пристани. Два льва сторожили вход в усадьбу. Везде эмблемы императорской власти — римские доспехи, венки и тяжелые распластанные орлы. Собор в Грузине — простой, строгий, холодный. Внутри сделанный Мартосом памятник Павлу I. Опять римские доспехи, римский венок, знамена, порфира, а надпись не римская: «Сердце чисто и дух прав пред тобою». Этого не может сказать про себя Александр, и он почти завидует своему любимцу. Он суеверно не отпускает его от себя. Павел расстался с этим рабом и погиб. Александр никогда не оттолкнет [176] от себя единственного верноподданного. В первый раз Александр посетил Грузино в 1810 году, и с тех пор он постоянно приезжал сюда отдыхать от страшных дел государства. Аракчеев устроил для своего царственного гостя кабинет — совершенную копию петербургского кабинета императора. И на столе были разложены симметрично письменные принадлежности, совсем как в Зимнем дворце. Аракчеев любил симметрию, как его коронованный хозяин. Ничто так не сближает людей, как общие вкусы. И дом в Грузине нравился Александру. Белые стены вестибюля расписаны античными фигурами. Музы танцуют пристойно вокруг Аполлона. Вообще все пристойно снаружи. Есть, правда, в саду беседка с какими-то секретными зеркалами, где спрятаны порнографические картины, но это все замаскировано внешним порядком и

благолепием. Дисциплина, система и симметрия. Аракчеев любил издавать брошюры, посвященные Грузину. В 1818 году, например, напечатана была книжка — «В Грузине мера саду в разных местах и расстояние деревень» — с точным обозначением количества сажен от церкви до дома и всякие иные топографические сведения, до мельчайших подробностей и совершенно бесполезные.

Александр иногда заходил в аракчеевскую библиотеку. Здесь, улыбаясь, перебирал он книги своего любимца: «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами», «Опасное стремление первых страстей», «Любовники и супруги или мужчины и женщины, и то, и се, читай, смекай и может слюбится и прочая тому подобная...». Надо, впрочем, отдать справедливость грузинскому помещику: кроме этих эротических книжек были и другие — духовно-нравственного содержания, а также немало было военных сочинений. Аракчеев любил военное ремесло на плацу и в кабинете, а на войне, по слабости нервов, избегал опасности.

И любовница у Аракчеева была такая же, как он: сластолюбивая и жестокая. Александр и с ней, с Настасьей Минкиной, беседовал благосклонно, не ревнуя ее к временщику. Он не подозревал, что дворовые убьют эту помещицу, и тогда Аракчеев, забыв о своем государе, покинет его в самую опасную минуту его жизни.

А между тем Александр верил своему Аракчееву, как никому другому. 22 мая 1814 года Александр писал из Англии своему любимцу: «Я скучен и огорчен [177] до крайности. Я себя вижу после четырнадцатилетнего управления, после двухлетней разорительной ; и опаснейшей войны лишенным того человека, к которому моя доверенность была всегда неограничена. Я могу сказать, что ни к кому я не имел подобной, и ничье удаление мне столь не тягостно, как твое. Навек тебе верный друг».

Вот этому верному другу и поручил Александр устройство «военных поселений». В 1816 году в Новгородской губернии, где было имение Аракчеева, целая волость была обращена в военный поселок. Мужики объявлены были военными поселянами. Здесь же были расквартированы батальоны регулярного войска. Солдаты попали в положение батраков. Мужиков тоже обрили, надели на них мундиры и заставили учиться строевой службе. Теперь глаз Александра мог радоваться. Серые избы и плетни исчезли. На их месте стройными рядами стояли новенькие домики, все на один образец, выкрашенные в одну краску. Мужикам давали ссуды, льготы, лошадей, скот и всячески старались соблазнить их новыми порядками. Но дело не клеилось. Александр не понимал, почему эти упрямые мужики недовольны новым положением. Разве нет прямой выгоды в том, что солдаты теперь не будут оторваны в мирное время от семьи? Разве не легче будет содержать государству всю эту огромную армию, ежели она сама будет участвовать в землепользовании? Разве не лучше, наконец, весь этот новый, точно предусмотренный быт, чем старые ветхие обычаи и нравы? Приятно смотреть на эти новые домики, похожие на прусские, симметрично расположенные, как солдаты на параде. Ничто не ускользало от недреманного ока начальников. Ни одна вдова, ни одна девица не оставались без мужей. Женихам и невестам велся .учет, как животным, предназначенным для случки. Мальчишки все были зачислены в кантонисты и с десятилетнего возраста уже подчинялись аракчеевской дисциплине.

К концу царствования военные поселения устроены были не только в Новгородской губернии. На Украине было зачислено в военные поселения тридцать шесть батальонов пехоты и двести сорок девять эскадронов кавалерии. На севере числилось девяносто батальонов пехоты. Это значит, почти треть всей армии на мирном положении. Александр

восхищался успехами [178] задуманного им дела. И на первый взгляд как будто бы успех реформы в самом деле был очевиден. Финансовая отчетность была образцовая. Аракчееву удалось скопить запасный капитал в пятьдесят миллионов рублей. В поселениях процветали и земледелие и ремесла. Начальству выносили на пробу во время ревизий жирные щи, поросят и кур — яства с трапезы поселенцев. Но эти поросята и куры, а также и вся прочая декорация военных поселений были вроде «потемкинских деревень». Но Александр верил, что все это не бутафория, а настоящее. И когда ему решались критиковать реформу, он ссылался на лестные отзывы о поселениях таких людей, как В. П. Кочубей, барон Кампфенгаузен, Карамзин и даже возвращенный из ссылки Сперанский. Они все ели жирные солдатские щи и видели собственными глазами симметрично расставленные домики, где блаженствовали солдаты-земледельцы. Во время учения начальники кричали: «Приметно дыхание! Не дышать!» И великолепно обученные солдаты переставали дышать, повинуясь командирам. Казалось, чего лучше. Но мужикам не нравились военные поселения.

В 1819 году вспыхнул в Чугуеве среди военных поселенцев бунт. Аракчеев приехал для расправы. Шпицрутены пущены были в ход. Долго не выдавали зачинщиков, но пытка продолжалась, и в конце концов бунтовщиков усмирили. Аракчеев Писал Александру: «Батюшка, ваше величество... Происшествия, здесь бывшие, меня очень расстроили, я не скрываю от вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли, и я от всего оного начинаю уставать, в чем я откровенно признаюсь перед вами».

Александр, прочитав подробное донесение о чугуевском бунте, писал в свою очередь Аракчееву: «С одной стороны, мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах... С

другой, — умею я также и ценить благоразумие, с коим ты действовал в сих важных происшествиях. Благодарю тебя искренне от чистого сердца за все труды». Однако в том же письме он предлагал своему другу «строго, искренне и беспристрастно нам самих себя вопросить: выполнено ли нами все обещанное?..» Похвалив состояние новгородских поселений, он замечает не без огорчения: «Не скрою от [179] тебя, что... четыре женщины жаловались на насильное отдание их замуж за солдат».

По другому поводу, когда кто-то осмелился возразить императору относительно полезности военных поселений, Александр будто бы сказал: «Военные поселения будут существовать, хотя бы для этого пришлось выложить трупами всю дорогу от Петербурга до Новгорода».

Сказал ли император так или как-нибудь иначе, во всяком случае несомненно, что он твердо решил довести дело до конца. Бунты усмирялись сурово, а вместе с тем Аракчеев старался не раздражать поселенцев напрасно и писал об этом Александру. Под конец наступила видимая тишина, и царь думал, что все благополучно. А на самом деле население ненавидело установившиеся порядки. В идее военных поселений был весь Александр. Та отвлеченная мысль об идеальном порядке, о благообразии быта, какая внушалась Александру еще в отрочестве, отразилась теперь на этой реформе в странном карикатурном сходстве. Это была безумная мысль о том, что можно облагодетельствовать граждан сверху, без их свободного участия в создании жизни. Мужики сами не понимали, чего им надо, а он, император, знает. Он поселит их не в серых лачугах, а в раскрашенных по-гатчински, по-прусски домиках; мужики будут сыты, одеты, обучены ремеслам и военной дисциплине; они будут счастливы без свободы... Это пока. Потом он освободит их. И вот тогда весь мир убедится, что Александр был прав.

Свободные, они все останутся добровольно в этом аракчеевском эльдорадо.

XXI

Вольнодумец, равнодушный к религии, Александр впервые прочитал Евангелие в 1812 году и был поражен необычайностью этой книги. Он был тогда не одинок в этом своем увлечении Новым заветом. В этой книге для него и для многих его современников звучал какой-то призывный голос, таинственный и внушительный. Официальная церковь не внушала Александру почтения к своей деятельности. Он видел в архиереях, украшенных лентами и орденами, ревнителей все той же пышной государственности, которая досталась ему [180] наследие екатерининской империи. Александр и без архиереев задыхался в этом торжественном великолепии. Другой церкви он не замечая. Он не интересовался тем, как она существовала в течение двух тысячелетий. Он слышал, что были христианские апологеты, мученики, отцы церкви... Но всех этих святых заслоняли императоры и патриархи монументальной Византийской империи. Эта огромная и тяжелая декорация не нравилась Александру, утомленному мировой политикой, в коей пришлось ему играть такую ответственную роль. Ему не удалось осуществить своей давней мечты — уединиться в качестве простого гражданина где-нибудь на берегах Рейна. Но он еще не утратил надежды освободиться когда-нибудь от мучительной сложности истории. Ему хотелось сложность заменить глубиной. И вот в этой неожиданно обретенной им книге Александр нашел желанную глубину. И вместе с тем как проста эта книга! Зачем ее читать нараспев среди золота и мрамора соборов? Не лучше ли забыть об официальных истолкователях книги? Не лучше ли самому приникнуть к этому простому повествованию о жизни прекрасного галилеянина и его учеников, этих добрых рыбаков, которые, вовсе не интересуясь кесарем, жили на берегу Тивериадского

озера? Вместе с тем как загадочны и мудры изречения, записанные в этой книге. Бог с ними, с архиереями в их шелковых рясах, с их семинарской ученостью. Лучше Александр будет беседовать об этой книге с князем А. Н. Голицыным. К тому же неловко как-то, беседуя с архипастырями, цитировать Евангелие по-французски, а между тем французский текст был понятнее и милее, чем эти трудные и крутые славянские обороты. Старый приятель князь А. Н. Голицын объяснил Александру, что дело не в православии, не в том или ином вероисповедании, а в нашем внутреннем личном опыте. Оказывается, есть такие духовные люди, которые, не будучи попами, одарены, однако, свыше и могут на прекрасном французском языке объяснить аллегорический смысл не только евангельских рассказов, но и смысл посланий гениального и вдохновенного Павла; эти люди могут даже истолковать очень убедительно страшные видения Апокалипсиса. Александр стал искать встречи с подобными людьми.

Одна из таких встреч произошла в 1813 году, в дни военного затишья, когда Александр удалился от главного [181] штаба к поселился недалеко от Рейхенбах», в местечке Петерсвадьдау.

Император жил в огромном господском заброшенном доме. Вокруг был парк с буковыми великанами в древними дубами. В одичалом фруктовом саду чернели непроходимые чащи. Дорожки заросли бурьяном в папоротником. Зеленый пруд покрыт был камышами. Филины и лягушки устраивали каждый вечер меланхолические концерты.

В громадном мрачном доме жил государь с гофмаршалом Толстым. Свиты не было. Только Балашов и Шишков жили неподалеку в крестьянской хижине, изнемогая в смертельной тоске и не понимая, зачем императору понадобилось это уединение в силезском захолустье.

Приходя к государю с докладом, Шишков иногда часами сидел в большой мрачной комнате с одной свечкой, дожидаясь, когда Александр позовет его к себе. Это наводило на него уныние и ужас.

Время от времени задумчивый и сосредоточенный, император куда-то уезжал совсем один. Оказывается, — он уезжал в местечко Гнаденфрей. Там была колония гернгутеров, или так называемых моравских братьев. Эти набожные, трудолюбивые и чистоплотные люди рассказывали императору о своем учении. С кротким упрямством, которое представлялось Александру прекрасной верой, эти люди уверяли, что их вера возникла во времена Кирилла и Мефодия, что некий Петр Валдус боролся с мраком папского суеверия, что Иоанн Гус был также гернгутер, но что его последователи забыли пламя констанцекого костра и что истинные дети великого Гуса только они — гернгутеры, моравские братья.

Таинства и догматы официальной церкви — дурнее заблуждение. Обряды не нужны. Святых они не видали и не желают видеть. Иконы — все равно что идолы. Они только поклоняются Богу в духовном уединении в признают евангельское учение о нравственности. Им не надо никаких посредников и никаких церковных преданий. Правда, они терпимо относятся к разным там католикам, православным или протестантам, потому что в каждом вероисповедовании есть зерно истины, но сами гернгутеры узнали великую тайну о нравственном долге и святом духе непосредственно от Бога. Слушая эти рассуждения и вспоминая невольно [182] тех плохих архиереев, каких ему приходилось видеть в Петербурге, Александр очень радовался, что в Силезии есть люди, которые думают и верят совершенно так же, как он сам и как милый маленький князь Голицын. К тему же чистенькие домики, однообразно построенные в этом

селении Гнаденфрей, отвечали вкусам Александра, любившего симметрию и порядок.

Подобных встреч в жизни Александра было немала. Эти беседы с моравскими братьями давали какое-то сладостное успокоение его утомленной душе. Ведь нелегко в самом деле так долго воевать, да еще с таким противником, как Наполеон, страшиться за судьбу своей страны, пережить сожжение столицы, сознавать, что в глубоком тылу полный развал, нищета населения, рабство, лихоимство и грубое суеверие. Отдохнуть бы! Отдохнуть бы! Вот за этой книгой, где говорится о добром пастыре, о полевых лилиях и птицах небесных, так хорошо успокоиться от душевных волнений. А ведь их немало. Еще не совсем исцелилась рана от неудачного брака, а теперь уже кровоточит и болит новая язва позорной измены той, в любовь которой он верил, оказывается, напрасно.

В январе 1813 года Александр писал из Плоцка известному мистику Кошелеву: «Как мне приятно узнать, что вы меня поняли. Моя вера чиста и ревностна. С каждым днем эта вера во мне растет и крепнет, давая такого рода наслаждение, которое было неведомо для меня. Но не думайте, что это только результат последних дней. То рвение, которое я испытываю, происходит от добросовестного исполнения заветной воли нашего Спасителя... Теперь несколько слов по поводу приезда в Петербург М. А. Нарышкиной. Надеюсь, что вы слишком хорошо осведомлены о моем душевном состоянии, чтобы беспокоиться на мой счет. Скажу вам больше, если я еще считал бы себя светским человеком, то, право, здесь нет заслуги остаться равнодушным к особе после всего, что она сотворила».

Значит, Александр в 1813 году уже не считал себя светским человеком. Он чувствовал себя членом некоего таинственного духовного братства и смотрел на мир со стороны, как

обладающий каким-то новым опытом, не для всех открытым. Он чувствовал себя посвященным.

Впрочем, Александру приходилось, конечно, несмотря [183] на свой уединенный опыт, присутствовать при официальных богослужениях, и он даже иногда умилялся, слушая церковное пение, и сам подпевал приятным баритоном, стоя у правого клироса. 17 апреля 1843 года он рассказывает в письме к А. Н. Голицыну, как он был растроган, слушая на Пасху в Дрездене за обедней «Христос вокресе...».

Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много богородиц — владимирская, казанская, «утоли моя печали», «всех скорбящих радость» или мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны о ниспослании дождя; освящают колодцы, если в них попадает мыть; они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз... А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий, подобно этим добродетельным гернгутерам.

С этой целью 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. Это было отделение Великобританского библейского общества. Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и т. д.

На первом собрании в доме князя А. Н. Голицына, оберпрокурора Святейшего синода, заседали люди самые разнообразные и друг другу чуждые — пастор англиканской церкви Питт рядом с католическим митрополитом

Сестренцевичем, голландский пастор Янсен рядом с обер-гофмейстером Р. А. Когаелевым, агенты Великобританского библейского общества Патерсоп и Пинкертон рядом с православными епископами. Тут были и митрополит петербургский Амвросий, и архиепископ минский и литовский Серафим (впоследствии митрополит петербургский), и ректор Петербургской духовной академии архиепископ Филарет, впоследствии знаменитейший митрополит московский.

По поводу этого собрания Александр писал Голицыну: «Я придаю ему (Библейскому обществу) величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое писание заменит пророков (les prophetes). [184] Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом-Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».

Немалое наслаждение доставляли набожному императору и встречи с квакерами. Ему, видевшему тысячи гниющих трупов на полях сражений, было приятно встретиться с этими людьми, отрицавшими войну. В 1814 году в Лондоне к русскому царю явились известные квакеры Вильям Аллен, участник коммунистического предприятия Овена, Стефан Грелье, мистик и филантроп, Джон Вилькенсон и Люк Говард. В их записке было сказано, что они явились к императору «на случай, если бы среди лести, которую монархи принимали ежедневно, он захотел на минуту выслушать голос истины». Они были так же кротки и упрямы, как гернгутеры в местечке Петерсвальдау. Впрочем, Александр ничего не мог и не хотел противопоставить их тупенькой морали и сомнительному мистицизму. Они были довольны друг другом. Император со всем согласился. «Служение Богу, — говорил он, — должно быть духовное... Внешние формы не имеют значения... Я сам молюсь каждый день без слов... Прежде я употреблял слова, но потом оставил

это, так как слова часто Пыли неприложимы к моим чувствам».

Потом Грелье решился напомнить ему об ответственности, какую он несет, будучи самодержавным царем великой страны. Тогда Александр, конечно, пролил слезы и сказал квакеру: «Эти ваши слова долго останутся напечатленными в моем сердце».

Через четыре года квакеры приехали в Петербург. Александр принял их в маленьком кабинете, посадил их рядом, называя «старыми друзьями». После беседы русский император предложил им предаться внутренней молитве и медитации. Они сидели молча некоторое время, ожидая духовной помощи свыше. Когда им показалось, что желанное достигнуто, они, растроганные, простились. При этом император взял руку квакера и благоговейно ее поцеловал.

В третий раз у Александра состоялось свидание с Адленом в Вене в 1822 году, накануне Веронского конгресса. Тут, несмотря на взаимное дружелюбие, обнаружилось некоторое разногласие. Александр полагал, что если сектанты нападают на господствующую религию, власть имеет право вмешаться в это дело. Аллен решительно отрицал это право вмешиваться в религиозные [185] споры. Однако они расстались друзьями и в этот раз.

В 1824 году Александр встретился с квакером в последний раз. Это был сумасшедший Томас Шеллиге. И с этим фанатиком и чудаком Александр занимался мистическими упражнениями. Это свидание состоялось в Петербурге за полтора года до смерти императора. Александр, склонный с 1812 года к мечте о «внутренней церкви», искал ее ревнителей, и целая вереница их, особенно женщин, проходит в его биографии. Среди этих экзальтированных душ едва ли не самое сильное впечатление произвела на

Александре госпожа Крюднер. Эта необыкновенная во многих отношениях женщина, когда-то страстная и увлекавшаяся земными прелестями, не лишенная дарования писательница, а впоследствии филантропка и пророчица, была представлена Александру в Геймбронне, когда император ехал из Вены через Гейдельберг в действующую армию. Он слушал с волнением ее обличения. «Вы. государь, — сказала она, — еще не приближались к богочеловеку, как преступник, просящий о помиловании. Вы еще не получили помилования от того, кто один на земле имеет власть разрешать грехи. Вы еще остаетесь в своих грехах. Вы еще не смирились пред Исусом, не сказали еще, как мытарь, из глубины сердца: боже, я великий грешник, помилуй меня. И вот почему вы не находите душевного мира. Послушайте слов женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение всех своих грехов у подножия креста Христова».

Разговор этот происходил с глазу на глаз, и, конечно, точных слов, сказанных тогда госпожой Крюднер, никто не знает, но смысл диалога был именно таков. Александр, слушая госпожу Крюднер, вспоминал свое участие в заговоре против отца, свою измену жене, свою гордость, свое неверие... Он обхватил голову руками и зарыдал.

Госпожа Крюднер, увидев эти слезы, кажется, перепугалась, что она пересолила в своей фанатической суровости, но император ее успокоил, осушив слезы платком, и просил ее не удаляться от него. Она охотно последовала за императором в Гейдельберг, где была главная квартира и поселилась в маленьком домике, поближе к дому государя. У них происходили постоянные свидания, и госпожа Крюднер делилась с [186] Александром своими откровениями. Разговоры велись в том же духе, как и с моравскими братьями, как с квакерами, или с знаменитым Юнгом Штиллингом, с которым он успел познакомиться в Бадене.

Госпожа Крюднер пламенно рассказывала своему собеседнику о своих видениях. Она знает судьбу мира. Исполняются пророчества Даниила. Царь Севера побеждает царя Юга, этого служителя антихристовой силы. Зло в конце концов будет побеждено. Вот уже низвергнут сеятель дьявольских соблазнов Бонапарт.

Когда закончена была кампания и Александр поселился в Париже во дворце Бурбонов, госпожа Крюднер опять появилась в обществе императора. Она жила в отеле «Моншеню», в Елисейских полях, я Александр постоянно навещал ее, ища утешения.

Не мудрено, что эта визионерка и проповедница произвела впечатление на Александра. Ей придавали немалое значение такие столь разные люди, как Бенжамен Констан, Шатобриан, Анри Грегуар и многие другие.

Впрочем, здесь, в Париже, госпожа Крюднер несколько скомпрометировала себя в глазах императора. Однажды Александр застал у нее некоего Фонтена и Марию Куммиринг. Шарлатан Фонтен объяснил государю, что его спутница — ясновидящая. Она в самом деле легла на канапе и стала пророчествовать в трансе. Император усомнился в ее духовности, когда она объявила ему, что божественный голос повелевает русскому императору выдать ей, Марии Куммиринг, какую-то сумму денег.

Госпоже Крюднер пришлось извиниться за неудачное пророчество, и Александр успокоил ее, но, по-видимому, этот случай несколько охладил его к подобным опытам.

Однако госпожа Крюднер приехала на знаменитый смотр в Вертю в императорском экипаже; все парижане говорили об ее влиянии на русского царя.

Эмпейтар, постоянный спутник госпожи Крюднер и ревнитель «внутренней церкви», рассказывает в своих записках о возникновении в дни парижских торжеств идеи Священного союза. «За несколько дней до своего отъезда из Парижа, — говорит он, — император Александр сказал нам: «Я оставляю Францию, но до моего отъезда я хочу публичным актом воздать Богу отцу, сыну и святому духу хвалу, которой мы обязаны [187] ему за оказанное нам покровительство, и призвать народы стать в повиновение Евангелию. Я принес вам проект этого акта и прошу вас внимательно рассмотреть его, и если вы не одобрите в нем какого-нибудь выражения, то укажите мне его. Я желаю, чтобы император австрийский и король прусский соединились со мною в этом акте богопочтения, чтобы люди видели, что мы, как восточные маги, признаем верховную власть Бога-спасителя. Вы будете вместе со мной просить у Бога, чтобы мои союзники были расположены подписать его».

Но доверие императора к госпоже Крюднер значительно умалилось с течением времени. Говоря однажды о высоких целях провидения, Александр сказал, по сообщению княгини Мещерской, что он думал ранее, будто сам бог предназначил госпожу Крюднер для изъявлений своей воли, но ему очень скоро пришлось убедиться, что свет, исходивший от нее, был как ignis fatuus (блуждающий огонь).

Госпожа Крюднер уехала в конце октября из Парижа, и тогда же началась ее бурная проповедническая деятельность. Императору доносили, как она в Швейцарии переезжала из кантона в кантон, проповедуя «царствие божие», как она собирала вокруг себя толпы бедняков, которых она снабжала пищей и одеждой, уговаривая поверить в близкое наступление «тысячелетнего царства». Буржуазная Швейцарская республика усмотрела в ее проповеди социальную опасность и выслала ее из пределов страны.

Подобной же пропагандой она занималась в Баденском графстве, и здесь у нее вышли недоразумения с правительством. Ее проповеди затрагивали вопрос о собственности. Это было небезопасно в то время: год был неурожайный, на фабриках была безработица, и толпы голодных охотно слушали пропаганду госпожи Крюднер, которая обещала в недалеком будущем царство справедливости на земле. Пришлось выехать из Бадена. В 1818 году Александру донесли, что госпожа Крюднер появилась в Лифляндии. К своим пророчествам она присоединила теперь сочиненные ею песнопения, в коих не все могло нравиться ее коронованным друзьям. «Я верю твердо, — заявляет она в этих гимнах. — Кто может еще остановить меня? Дайте мне крест, грозящий тронам! Любовь покоряет земные власти. И мой Спаситель со мною в битвах». Обличительница [188] «безбожной революции», она, сама того не замечая, оказывала сомнительную услугу европейским государям, подымая такие вопросы, какие невыгодно было подымать их правительствам.

В начале 1821 года, когда Александр был на конгрессе в Троппау, Крюднер появилась в Петербурге. Император окончательно охладел к ней, когда она стана пламенно защищать интересы восставшей Греции я требовать европейского вмешательства. Тогда император уведомил ее через Александра Тургенева, что она «поселяет волнения вокруг трона и нарушает свои обязанности подданной и христианки». Крюднер пришлось удалиться из Петербурга. Александр слышал, что она предалась самым крайним аскетическим подвигам. Друзья увезли ее в Крым. Она умерла 25 декабря 1824 года.

XXII

Декларацию Александра о Священном союзе подписал благочестивый прусский король Фридрих-Вильгельм III и

равнодушный к благочестию австрийский император Франц. Первый подписал не колеблясь, а второй, увлеченный какими-то новыми музыкальными произведениями, долго не мог попять, чего от него хотят. Потом он посоветовался с Меттериихом. Австрийский бесстыдник объяснил своему императору, что союз с русским царем необходим. Конечно, досадно и смешно, что приходится назвать «священным» этот союз, но делать нечего. Лучше что-нибудь, чем ничего. Так началась эпоха конгрессов.

Священный союз, который стал впоследствии синонимом реакции, при своем зарождении в помыслах императора был, напротив, оплотом европейской свободы. На деле все вышло иначе. В 1815 году Александр был еще убежденным либералом. В Польше и » Финляндии, согласно его плану, были созданы конституции, правда, жалкие, но, по понятиям того времени, достаточно демократические. Новосильцев по требованию государя сочинял и для всей России «Уставную грамоту», то есть разрабатывал конституционный проект Сперанского. Но либерализм, как известно, нередко попадает между молотом и наковальней. Наковальней оказалась австрийская меттерниховская реакция, а молотом — революция. Либерализм Александра [189] оказался не закаленным булатом, а простим стеклом, которое и раздробилось мгновенно при первом же ударе молота, даже не очень тяжелого.

Французская буржуазия в своей Большой революции выдвинула известную формулу — «свобода, равенство и братство или смерть». Мы теперь знаем, что на деле применялась только последняя часть формулы, а первую часть полностью применить не удалось. Явился Бонапарт и, посмеявшись над «свободой и братством», оставил в силе один только принцип «равенства». Этого было достаточно для того, чтобы апологеты объявили его сыном революции. Александр, напротив, имел вкус к «свободе и братству», по

крайней мере в романтическом смысле этих принципов, зато к равенству у него не было никакой склонности. Эта «плебейская» идея казалась ему весьма сомнительной. Он никогда не мог простить Сперанскому того, что он навязал ему эту идею. Пока Александр был «якобинцем», ему удавалось кое-как, вопреки своим вкусам, признавать этот принцип, но как только он усмотрел в революции «зверя», явившегося под личиной Бонапарта, ему другого ничего не оставалось, как отказаться от этой жуткой идеи. «Равенства нет и быть не может, — думал он. — В космосе мы видим иерархический порядок. Мадам Крюднер уверяет, что иерархический порядок присущ также и загробному миру, В этом многообразии биологическом и духовном вся тайна и красота мироздания. Ежели вместо сложной формулы качеств и степеней устроить монотонное равенство всех в всего, наступит царство мертвой скуки».

Меттерниху понравилась эта мысль, и он сделал из этих эстетических и метафизических идей практические выводы: надо сохранить привилегии во что бы то ни стало. Пусть останутся на своих местах императоры, короли, герцоги, бароны; пусть не мечтает о равенстве перед законом та чернь, которая нетерпелива и строптива; пусть университеты и науки служат властям, а не какой-то будто бы объективно существующей истине; пусть, наконец, не воображают нищие, что австрийские и всякие иные магнаты поделятся с ними своими богатствами.

Осенью 1818 года собрался в Ахене первый конгресс Священного союза. Речь шла главным образом о том, надо или не надо выводить оккупационные [190] войска мл Франции. Вее чувствовали, что Людовик XVIII сидит на своем троне не очень прочно. Франция вообще подозрительна. В ней всегда — революционная зараза. Но, с другой стороны, нельзя же до бесконечности тратить миллионы на

содержание армии в чужой стране. К тому же это не содействует авторитету Бурбонов.

Славные традиции веселого Венского конгресса продолжались и в Ахене. И разговоры о возможной революции чередовались с развлечениями — любовались на девицу Гарнерен, которая подымалась на воздушном шаре; смотрели знаменитых кулачных бойцов; толпились жадною толпою вокруг рулетки, где играли на огромные суммы...

Среди этих забав было решено вывести иностранные войска из Франции. Возник еще один вопрос — о прекращении торговли неграми. Александр, у которого в подвластном ему государстве продавались и покупались люди даже без земли, выступил, не боясь быть смешным, в качестве горячего защитника чернокожих и требовал самых радикальных мер для прекращения торговли.

В числе множества ходатайств, поданных императору Александру, было одно, не лишенное остроумия. Некий Фортюнид просил государя принять его на службу в качестве придворного шута, ибо только таким способом русскому царю представится случай услышать некоторые истины весьма горькие, но полезные. К числу неприятностей Ахейского конгресса надо отнести появление небольшого, худо отпечатанного воззвания с эмблемами какого-то тайного общества. Листок призывал к низвержению как раз тех принципов, какие участниками конгресса почитались священными.

К концу Ахейского конгресса пришло известие, что открыт заговор. Какие-то французские патриоты решили во время предполагавшейся поездки Александра в Париж похитить его в дороге и принудить к признанию императором Франции сына Наполеона под опекою Марии-Луизы. Заговор был ликвидирован, и Александр поехал на последний

торжественный смотр союзных войск во Франции. Во время маневров Александр сказал строго графу М. С. Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг» («le pas n'est pas assez accelere»). Воронцов на это ответил: «Государь! Мы [191] этим шагом пришли в Париж («Sire, c'est avec cё pas que nous sommes venus a Paris»).

В это время многие участники заграничных походов были убеждены, что у них теперь есть или, вернее, должны быть некоторые права и что не так уж важно, чтобы шаг солдата на параде был равен непременно аршину — не более и не менее.

Все ото не нравилось Александру. Приятно освобождать народы, особенно в речах или на бумаге, но вовсе не приятно быть свидетелем, как эти народы сами начинают освобождаться. Это сопряжено с большими неудобствами. Эти народы ужасно нетерпеливы. Епископ Эйлерт,{81} муж святой нравственности, убедил Фридриха-Вильгельма, что данные им народу конституционные обещания можно не исполнить для блага этого самого народа. И что же! В ответ на промедление в реформе начались в Пруссии волнения, что было, конечно, актом невежливости по отношению к добродетельному королю, другу Александра. Косвенно это касалось и русского императора. А тут еще история с брошюрой Стурдзы{82}, чиновника нашего министерства иностранных дел. Он резко осуждал в этой немецкой брошюре либеральное движение в Пруссии. Агент русского правительства, знаменитый писатель Коцебу, выступил на защиту злополучной брошюры, что вызвало целую бурю негодования. Известно, чем поплатился Коцебу за свое рвение. Его . убил слишком пылкий ревнитель свободы. Александр привык, чтобы его, русского государя, считали свободомыслящим. Ему казалось, что быть вольнодумцем на троне очень красиво. И вот теперь никто не ценит этой изящной позы венценосца. Как-то неожиданно для него самого Александр оказался выразителем европейской

реакции. Ему казалось это недоразумением, и он еще не утратил тогда надежды внушить к себе Прежние чувства и прежнее доверие. Но это было очень трудно. После того, как Занд убил Коцебу,{83} Меттерних устроил в Карлсбаде конференцию германских владетельных особ для борьбы с революцией. Меттерних требовал драконовской цензуры и прочих испытанных средств для борьбы с крамолою. Александр слабо протестовал против таких мер, но общественное мнение уже не различало, где кончается политика Александра и где начинается политика Меттерниха. Александру казалось, что Европу охватило [192] какое-то безумие. Во Франции Лувель,{84} сын купца, убил герцога Беррийского. В Испании, где партизаны-патриоты так успешно боролись с Наполеоном, вспыхнуло восстание. Народная война воспитала дух свободолюбия. Население Испании, руководимое масонами, отказалось вообще терпеть старый порядок. В одной только России было «благополучно». Впрочем, и здесь были некоторые неприятности. Вскоре после закрытия первого сейма в Варшаве поляки обратились к верховной власти с рядом настойчивых требований. Их заявления касались ответственности министров, реформы суда и отмены цензуры. Александр чувствовал, что Занд и Лувель, испанские мятежники и польские радикалы, — явления одного порядка, что здесь есть некое общее дело, что народные массы охвачены огнем таких страстей и таких инстинктов, с какими нельзя бороться ничем иным, кроме цензуры, тюрем и штыков.

После второго Варшавского сейма, оскорбленный явной враждой поляков к его правительству, Александр, мрачный и разочарованный, поехал на конгресс в Троппау. Здесь его ждали невеселые дела. Надо было обсуждать вопрос о революционном движении в Неаполе. В июле 1820 года карбонарии{85} принудили Фердинанда IV присягнуть

конституции. С этим не мог примириться Меттерних. Он пугал грядущим террором растерявшихся государей, и ему легко удалось склонить на свою сторону Францию и Фридриха-Вильгельма. Англия и Франция в качестве конституционных государств дали уклончивый ответ на требования Австрии немедленно вмешаться в неаполитанские дела и восстановить абсолютизм Фердинанда. Александр также не сразу дал свое согласие на это вмешательство.

Но у Меттерниха нашлось героическое средство против недуга вольномыслия, каким все еще страдал время от времени чувствительный Александр. Русский император не желает вмешиваться в неаполитанские дела? Значит, безбожники карбонарии — милые люди и пропаганда их не повредит Священному союзу? Или, быть может, Александр думает, что у карбонариев нет друзей во всех прочих странах Европы? Пусть знает русский император, что Священному союзу противостоит иной союз. Он, Меттерних, не желая лицемерить, вовсе не утверждает, что ему точно известно, [193] к какому из этих двух союзов благосклонен святой дух, но, независимо от этого богословского вопроса, в коем пусть разбирается сам Александр, совершенно очевидно, что реальная политика требует немедленного вмешательства в судьбу Фердинанда IV. Сегодня Неаполь, завтра Мадрид, а послезавтра Санкт Петербург. Что? Русский император улыбается? Он думает, что он располагает великолепной гвардией, которая сотрет в порошок дерзнувших посягнуть на верховные прерогативы власти? Но ведь эта самая гвардия вовсе не надежна. Она уже не раз вмешивалась в политику, убивая и возводя на престол императоров. Прежде это было привычкой, теперь это станет принципом... Меттерних уверен, что и в Петербурге найдутся карбонарии. И вдруг Александру доносят о бунте Семеновского полка{86}!

Император не верил своим ушам. Как! Его любимцы, герои Отечественной войны, герои Кульма, восстали против власти! Но ведь он знает лично каждого офицера в этом полку. Он даже знает многих солдат... К нему явился с донесением адъютант командующего корпусом лейб-гусарского полка штаб-ротмистр Чаадаев. Это был тот самый Петр Яковлевич Чаадаев, впоследствии автор «Философических писем».

Александру было неприятно почему-то встретиться теперь с глазу на глаз с этим офицером, и ранее ему известным. Если бы сейчас перед ним стоял какой-нибудь простец, камердинер Онисимов, или кучер Илья, или граф Аракчеев, ему было бы легче. Но видеть устремленные на тебя умные, проницательные глаза, все понимающие, — нет, это невыносимо!

Васильчиков и граф Милорадович уверяют в донесении, что бунт случился из-за глупости и грубости полкового командира Шварца, что будто бы избалованные добрым отношением прежнего командира нижние чины не могли стерпеть, когда этот Шварц издевался над ними, муштруя их, ветеранов, как животных. Но император не верил тому, что этот бунт — простая случайность. Шварц был ставленник Аракчеева, и Александр поспешил написать своему фавориту: «Скажу тебе, что никто на свете меня не убедит, чтобы сне происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с оными полковника Шварца. Он был всегда известен за хорошего и исправного офицера и командовал с [194] честью полком. Отчего же вдруг сделаться ему варваром? По моему убеждению, тут кроются другие причины. Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял. Офицеры же все усердно старались пресечь неповиновение, но безуспешно. По всему выписанному заключаю я, что было тут внушение чуждое, но не военное.

Вопрос возникает: какое же? Сие трудно решить. Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которые, по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собой, и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау. Цель возмущения, кажется, была испугать...»

Меттерних, который сам внушал императору, что его северная столица так же не застрахована от революции, как любой город Европы, в душе не очень верил, что казацкая Россия в самом деле заражена мятежным духом. «Превосходило бы всякую меру вероятия, — писал он, — если бы в России радикалы уже могли располагать целыми полками».

Аракчеев был иного мнения. «Я совершенно согласен с мыслями вашими, — писал он Александру, — что солдаты тут менее всего виноваты и что тут действовали с намерением, но кто ,и как, то нужно для общего блага найтить самое начало... Я могу ошибаться, но думаю так, что сия их работа есть пробная, и должно быть осторожным, дабы не случилось чего подобного». Возможно, что опасения Александра были основаны на некоторых фактах. «Воззвание от Семеновского полка к Преображенскому», разбросанное как раз во время бунта на дворе казарм, у Таврического сада, едва ли было сочинено простым солдатом. Для императора не было также секретом участие семеновских офицеров в масонских и других тайных обществах. Он вспоминал, краснея, как однажды на заседании масонской ложи «Трех добродетелей» А, Н. Муравьев, давая ему объяснение как наместный мастер ложи, обращался к нему, императору, по правилам братства, на «ты». Лакая дерзость! Вот оно, равенство! Тогда же Александру стало не по себе, и он удалялся по возможности от масонских дел. А. Н. Муравьев с 1818 года был Уже в отставке, но Александр знал, что друзья Муравьева служат в Семеновском полку. Сергей Иванович и Матвей Иванович Муравьевы-Апостолы были [195] членами той же самой ложи

«Трех добродетелей». Это они в 1817 году были основателями Союза Благоденствия. И тогда уже можно было предвидеть, к чему все это клонится. Источник революции надо было искать в Европе, на Западе. Теперь уже Александр не сомневался, что сатанинский дух (le genie satanique) присутствует во всемирном революционном движении. Тщетно его умоляли вернуться в Россию. Он не хотел. «Если я в такую важную минуту, — писал он Васильчикову, — брошу все это дело, дабы скакать в Россию, замешательство самое пагубное может произойти во всех этих делах, а успех их окончательно поколеблется. К тому же все эти радикалы и карбонарии, рассеянные по Европе, именно хотят заставить меня бросить начатое здесь дело; мы имеем в наших руках об этом и не один документ; они взбешены, видя дело, которым мы здесь занимаемся. Нужно ли им дать это торжество?»

Конгресс из Троппау переехал в Лайбах. 12 март» 1821 года австрийцы вступили в Неаполь, и освободительное движение было задушено. Впрочем, тотчас же вспыхнула новая революция — в Пьемонте. И тут инсургенты потерпели неудачу. Австрийцы заняли Турин.

Александру казалось, что какая-то враждебная а тайная сила хочет вырвать у него из рук дело свободы и справедливости. Тут что-то нечистое. Совершается какая-то подмена. Заговорщики готовы зажечь весь мир. После Неаполя и Пьемонта приходят самые мрачные вести из Испании. Конгрессы не перестают заседать, и государи, вместо того чтобы заниматься своими национальными делами, вынуждены готовить походы в соседние страны для усмирения мятежников. Австрийцы наводят свои австрийские порядки в Италии, французы — в Испании.

Но тут случилось нечто неожиданное. Еще заседал конгресс в Лайбахе, когда было получено известие о восстании Греции. И кто же был зачинателем этого нового мятежа? Генерал-

майор русской службы, князь Александр Ипсиланти{87}. Собрав в Бессарабии отряд из свободолюбивых греков и русских удальцов, 22 февраля 1821 года он перешел Прут, призывая греков к восстанию. На его призыв откликнулись прежде всего Мо-рея и острова Архипелага. Разве не ужасно положение Александра? Разве он не глава греческих единоверцев? [196]

Разве не считает он себя ревнителем христианской правды? Турки разрушают православные храмы, насилуют гречанок, истязают повстанцев... Что же делать? Помогать грекам? Воспользоваться таким стечением обстоятельств, чтобы осуществить политическую программу, намеченную еще Петром Великим и бабушкой Екатериной, чьим заветам он обещал следовать в своем первом манифесте к народу? Но князь Меттерних объяснил русскому царю, что греки, хотя и христиане, бунтуют совсем не по-христиански. Всякий бунт есть бунт. Бунт надо не поощрять, а усмирять. Александр и сам чувствовал, что здесь есть какая-то неумолимая логика. «Русский император становится ревнителем моей школы», — говорил Меттерних, уверившись, что Александр не склонен поддерживать греков. Положение русского министра Каподистрии{88} поколебалось, к удовольствию австрийского хитреца. Зато Меттерних теперь совершал дружеские прогулки в окрестностях Лайбаха с маленьким Нессельроде, который прекрасно усваивал его школу.

Когда Александр вернулся в Россию, Константине) польский курьер привез ему известие о том, что делала Турецкая Порта. Повсюду совершались избиения греков и вообще христиан. Патриарх Григорий, которому было в это время семьдесят четыре года, был схвачен на Пасхе у алтаря и повешен в полном облачении на паперти храма. Его труп волочили потом по улицам и бросили в море{89}. Наш константинопольский посол Строганов требовал немедленного вмешательства, но Александр ни на что не

решался, боясь противоречий. Доводы Каподистрии в пользу греков казались ему сомнительными. Ведь все-таки они мятежники, эти греки! Однако он порой заговаривал с французским послом о возможном разделе Турции. Потом приходилось раскаиваться в подобных разговорах. Все-таки Меттерних прав. Он пишет очень убедительно, что война с Турцией будет брешью, через которую вторгнется революция. «Судьба цивилизации находится ныне в мыслях и в руках вашего императорского величества», — писал он Александру. Оказывается, что интересы этой самой цивилизации настоятельно требуют, чтобы в Неаполе и Пьемонте сидели монархи, ничем не ограниченные, чтобы в Константинополе был повешен строптивый патриарх; чтобы во всей Европе бдительная цензура душила всякую мысль, неугодную Меттерниху… [197] От всех этих интересов цивилизации можно было сойти с ума.

Надо было выбирать между Меттернихом и его противником — Каподистрией. Австрийский князь называл его «апокалипсическим Иоанном» и мечтал об его; окончательном падении. Так и случилось. В половине августа 1822 года Каподистрия выехал из Петербурга. Он отправился в Швейцарию и поселился в окрестностях Женевы. Расставшись с министром, который нарушал своими идеями стройный меттерниховский план борьбы с революцией, Александр, однако, вовсе не нашел успокоения.

Осенью 1822 года пришлось ехать на Веронский конгресс для улаживания испанских дел. По дороге, в Вене, у императора было свидание с аббатом князем Александром Гогенлоэ, который славился своими католическими добродетелями. Прощаясь с этим аббатом, Александр опустился перед ним на колени и поцеловал его руку. Впрочем, в эти же дни он целовался с квакером Алленом. Получив духовное подкрепление из столь разных источников, Александр отправился в Верону.

Когда дело греков было уже проиграно, Александр говорил Шатобриану: «Я очень рад, что вы, побывав в Вероне, можете быть беспристрастным свидетелем наших действий. Неужели вы думали, как уверяют наши неприятели, что Священный союз составлен в угоду властолюбию? Это могло бы случиться при прежнем порядке вещей, но в настоящее время станем ли мы заботиться о каких-либо частных выгодах, когда весь образованный мир подвергается опасности? Теперь уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской; теперь одна лишь политика общая, которая должна быть принята народами и государями для блага всех и каждого. Я должен первый пребыть верным тем началам, на коих я основал Союз. Представилось испытание — восстание Греции. Ничего не могло быть более выгодного для меня и моего народа, более согласного с общественным мнением России, как религиозная война против турок, но я видел в волнениях Пелопоннеса признаки революции и — удержался... Нет, никогда не оставлю я монархов, с которыми нахожусь в союзе. Государи имеют право заключать явные союзы для защиты от тайных обществ». [198]

Но, может быть, «тайные общества» — легенда досужих умов? А если они существуют, то, может быть, они не так уж безбожны? Может быть, их цели — действительное благо народов? Нет, Меттерних уверяет с документами в руках, что заговорщики ведут антихристианскую пропаганду. Архиепископ римский их осуждает, хотя иногда двусмысленно. Александр не верит в антихристианский дух революции? Тогда Меттерних ему напоминает кое-что, касающееся его православной империи. Знает ли он, что значит «Панта Коина»? Это значит — «все вместе». Это — лозунг тайного варшавского общества — Союза Друзей, образовавшегося еще в 1817 году. По поручению петербургского правительства какой-то дивизионный

генерал производил следствие по этому делу. Члены общества давали самые невинные показания. Все это было как будто даже очень добродетельно. Но известно ли Александру, что установлена связь между польским обществом и таковым же прусским? Председатель варшавского общества Мауэрсбергер писал председателю прусского общества Келлеру: «Правительство есть власть, которою несколько лиц пользуются во вред всем прочим, составляющим общество. Чем более эта власть велика и неограниченна, тем менее остается свободы состоящим под нею. Религия есть подпора правительства, потому что наравне с ним ограничивает и стесняет человеческую свободу и проповедует покорность и набожность, направляя к благочестивым думам, отклоняет от вольнолюбивых действий и препятствует помышлять о свободе». По уверению самого Мауэрсбергера, он извлек эти мысли из «Общественного договора» Жан-Жака Руссо. Но не все ли равно, каков был источник этих мыслей? Важно, какие выводы сделал этот вдохновитель тайного общества, созданного в пределах и за пределами России. С этими заговорщиками поступили слишком великодушно. Меттерних осторожно намекнул, что, может быть, имя Жан-Жака Руссо, которым в молодости увлекался сам император Александр, повлияло на мягкость приговора следственной комиссии. Однако в 1822 году стало ясно, куда клонилась деятельность тайных обществ в Польше. После волнений в университете нашлись при обыске воззвания с лозунгами: «Когда идет дело о благе отечества, убийства не есть преступление» или «Стремиться к мщению — добродетель». А вот что сказано в ритуале [199] тайного польского Патриотического Союза. На вопрос мастера: «Как обширна твоя ложа?» — надзиратель отвечает: «Границами ее служат высокие горы, два великих моря и две реки». Ежели перевести этот высокий стиль на обыкновенный язык, то это значит, что поляки желают не только полной независимости,

но и присоединения к своему шляхетскому королевству юго-западных областей с исконным русским населением. Границы Польши определены государями Священного союза, и во всяком их изменении заинтересованы Австрия и Пруссия. Об этом должен помнить император Александр. Или император вообще не придает значения тайным обществам? Нет, Александр придает им огромное значение, но не странно ли, что он сам не сознает вполне ясно и точно, где же, собственно, границы этих загадочных сообществ. Масоны считают его своим. Его руки нередко встречают при рукопожатии по-масонски сложенные пальцы. При обысках в Польше у заговорщиков находились его портреты в рамках с масонскими эмблемами. Правда, теперь официально в России масонские общества закрыты, но ведь это не значит, разумеется, что масоны перестали быть масонами. «Идеи пушками непобедимы», — как говорила бабушка Екатерина.

Еще до отъезда в Верону А. X. Бенкендорф доносил о существовании Союза Благоденствия{90}. Перечислены были имена заговорщиков, иногда с их любопытными характеристиками. Александр читал этот список. Здесь было столько ему известных гвардейских офицеров! Иных он знал как масонов. Были и штатские! Муравьев, Трубецкой, Пестель, Николай Тургенев, Ф. Глинка, Михаил Орлов, Фонвизин, Кюхельбекер и многие другие. Список был слишком длинный, и таи не хотелось вникать в это дело, которое напоминало увлечение его собственной молодости, такой слепой и духовно скудной. Были и другие предупреждения.

Генерал-адъютант Васильчиков, когда Александр вернулся в Царское Село из Лайбаха, сообщал ему о наговоре. Он также представил царю докладную записку и перечень участников тайных обществ. Тогда император задумался. После долгих и томительных минут молчания Васильчиков с изумлением

услышал от 'Императора, что он не желает вмешиваться в дела тайных обществ.

— Дорогой Васильчиков! — сказал он. — Вы были [200] у меня на службе с самого начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения... Не мне подобает их карать...

В конце ноября в Вероне началась зима. Мороз доходил до десяти градусов. Однако император по-прежнему выезжал один верхом на прогулки. Ему нравилась и Паацца делле Эрбе, где некогда был древний форум, а тогда рынок, и храм Сайта Мария Антика, и в готическом духе Сан-Фермо-Маджоре... А главное, ему нравилось итальянское небо. И мысль о том, что, быть может, он в последний раз дышит этим прекрасным воздухом Ломбардии, печалила его. Ему хотелось посетить Рим, но он, уезжая, дал слово императрице-матери не видеться с папой. Она опасалась, что с его религиозной жаждой он увлечется римской идеей. Впоследствии, незадолго до смерти, Александр отправил в Рим к папе Льву XII генерала Мишо{91} с какой-то загадочной миссией религиозно-дипломатического характера. Это послужило поводом для измышлений иезуитов, которым очень хотелось, чтобы русский император умер, признав папизм. Однако в конце царствования Лафероне доносил французскому правительству, что в России «католицизм пользуется меньшей протекцией, чем другие культы». Итак, в Рим из Вероны ехать не пришлось. В Милан тоже нельзя было ехать, ибо там открыли заговор против австрийской власти. Да и пора было возвращаться в Россию. Италия сурово провожала русского царя. Мороз усилился до шестнадцати градусов. Около Падуи царя настигла настоящая вьюга, и некоторые спутники его отморозили себе пальцы.

Меттерних заметил, что там, в Вероне, русский император с каждым днем становился грустнее. Причин для этой меланхолии было немало. Между прочим, императора огорчило письмо Лагарпа, который писал откровенно своему бывшему воспитаннику, что решения Веронского конгресса представляются ему напрасной попыткой задержать ход событий, все равно неизбежных. Что касается греков, то он считал их дело правым и предостерегал императора от невыгодных для России последствий веронской политики. В конце концов освобождение греков возьмет на себя Англия, в тогда ключ к Дарданеллам будет в руках исконной соперницы России. С тех пор Лагарп не получал о» Александра писем. [201]

В России императора встретили немые белые поля и лютый мороз. 20 января 1823 года он прибыл в Царское Село.

XXIII

Веронский конгресс был последним политическим событием, в коем император Александр принимал деятельное участие. В сущности, жизнь его как государя окончилась. Он еще продолжал царствовать, присутствовал на смотрах и маневрах, удалял министров и назначал новых, произносил речи на Варшавском сейме, подписывал рескрипты, но это уже был не прежний Александр, который мечтал о возрождении отечества, об освобождении Европы от Наполеона и вообще о благе народа... Окружающие уже не видели его благосклонной улыбки и не слышали его ласковых слов. Теперь он не заботился о том, какое впечатление производит он на людей. Он стал мрачным, недоверчивым и сосредоточенным, как будто плененным какой-то одной думой, тяжкой и неотвязной. Жизнь кончалась. Надо было подводить итоги. Принимая корону, он думал, что трудами государственными он усыпит совесть. Павел убит, но зато воскреснет Россия. Александр освободит

ее. Тогда он отречется от власти и удалится куда-нибудь как честный человек. И что же! Ему не удалось ни освободить России, ни самому освободиться от тяжкого бремени самодержавной власти. Делая смотры войскам, расположенным в Пензе, он почувствовал усталость, какой раньше не замечал за собой. Пензенский губернатор осмелился заметить, что «империя должна сетовать на его императорское величество…» — «За что?» — «Не изволите беречь себя». — «Хочешь сказать, что я устал?» — спросил царь, смутясь. Да, император устал. Вот он смотрит сейчас на эти прекрасные и славные войска. Но не довольно ли для России побед и славы? Больше, пожалуй, не надо. «Когда подумаю, — сказал он, — как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря. От этого устаю».

Внутри государства в самом деле все было безрадостно. Александр знал, что даже при Павле не было такого лихоимства и казнокрадства, как теперь; он [202] знал, что крепостные мрачно и нетерпеливо ждут обещанной в 1812 году свободы; он знал, что дело просвещения, руководимое А. Н. Голицыным, запутано безнадежно, что такие люди, как Магницкие и Руничи, как будто нарочно уродуют идею, какая представлялась ему высокой и светлой… Честный Паррот, этот смешной дерптский энтузиаст, прав, когда он пишет императору откровенно о безобразиях официальной — науки…{92}

Александр все это видит и понимает, но нет уже воли, чтобы предпринимать что-нибудь. Да и возможно ли сделать что-нибудь теперь? Не поздно ли? Нетерпеливые заговорщики уже готовят свой план преобразования России. Им кажется, что дело свободы — очень простое дело. И Александру тоже казалось лет двадцать тому назад, что стоит лишь объявить о свободах, равенствах и всяких братствах — и на земле настанет райское житье. Но теперь он сомневается в этом. А

разве можно что-нибудь делать удачно и хорошо, ежели сомневаешься?

Слава, которая окружает его имя как умиротворителя Европы, теперь не утешает Александра. Разве не пришел он к ужасному противоречию с самим собою, отвергнув притязания греков? Разве цельность Священного союза не потерпела какого-то нравственного ущерба в этом деле, несмотря на всю эту сложную диалектику Меттерниха? В мировой политике есть что-то неблагополучное.

А личная жизнь Александра? В декабре 1818 года умерла подруга молодости, сестра Екатерина Павловна, ' которая умела быть такою нежною, а в решительные минуты такою непримиримой и настойчивой. А теперь : умерла и милая восемнадцатилетняя Софи, единственная дочь императора. Пусть ее мать, эта обольстительная полька, обманувшая сначала Нарышкина, а потом и самого Александра Павловича Романова, безнадежно порочна и преступна, но ведь ее дочь невинна. Было так отрадно смотреть в ее чистые глаза. Эти две, ушедшие из нашего мира, как будто зовут его за собой.

А религиозные сомнения, которые терзают императора? В 1812 году, незадолго до вторжения Наполеона в Россию, впервые прочитав Библию, он думал, что обрел истину. Но прошло десять лет, и то, что казалось простым и ясным, опять стало сложным и трудным. [203]

Недавно, переодеваясь, Александр долго смотрел на свои огрубевшие колени с большими мозолями — знаки, оставшиеся навсегда от долгих молитвенных стояний перед аналоем. Он сам старался уверить себя, что молитва дает ему неизъяснимое блаженство. Но даже это утешение отнял у него один странный человек, который посеял в душе императора сомнение в чистоте его молитвы. Александр

думал, что всякая вера сама по себе уже доброе приближение к истине. Зачем какие-то догматы, вероисповедания, обряды? Пусть каждый молится, как ему нравится. Важно соединиться в духе с первопричиной бытия. Эта и есть та «внутренняя церковь», о которой говорит убедительно маленький князь Голицын. Татаринова молится по-своему. Ее душа бывает в экстазе, когда она со своими единоверцами, надев белые балахоны, кружится до изнеможения. Разве в этом есть что-нибудь худое? А госпожа Крюднер? А князь Гогенлоэ? А скромный и благочестивый Фридрих-Вильгельм прусский? А трогательные квакеры? Они все молятся по-разному, каждый на свой лад. Но скоро наступит время, когда не будет более никаких разделений, ибо Бог один и он вовсе не требует никаких посредников между собой и человеком... Но вот летом 1822 года пришел этот странный человек, говорил с Александром, и теперь у несчастного императора нет уже прежней уверенности, что надо молиться так, как советует маленький князь. Кто же этот человек? Это — монах Фотий{93}. О нем говорил Александру тот самый Голицын, который теперь не внушает императору прежнего доверия. Он ему рассказывал про этого монаха удивительные вещи. Этот Фотий — великий подвижник. На нем вериги и власяница. У него бывают видения. Он слышит голоса. Он предсказывает грядущее. Кроме того, он духовно просвещен. Образованный Филарет Дроздов уважает этого монаха.

Фотию была дана аудиенция. Он явился к царю как равный ему или даже как старший, хотя и по возрасту, он был значительно моложе Александра, да и по своему скромному положению не мог, казалось бы, рассчитывать на особое внимание «благочестивого' монарха». Когда Фотий вошел в царский кабинет, Александр встал и хотел подойти под благословение, но монах, как будто не замечая императора, поворачивался во все стороны, ища образа. Отыскав,

помолился [204] и только тогда удостоил Александра своего благословения.

Этот маленький, худощавый, бледный монашек, запостившийся, должно быть, с клобуком, надвинутым на брови, из-под коих зорко глядели голубовато-серые глаза, поразил почему-то воображение Александра.

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская{94} крепко верит, что сам Бог предназначил этого монаха обличать мирскую неправду. У него дар видеть козни, предуготованные диаволом. А ведь это так важно. Александр нередко сам не знает, где истина и где ложь. Разве в молодости не принимал он за добро то, что на самом деле сущее зло. Все эти госпожи Крюднер, Татариновы и прочие экзальтированные особы — разве они в конце концов не так же слепы, как и он, Александр? У них, правда, на все есть объяснение. Они очень точно и складно сообщают о тайнах мироздания, но эта прозаическая точность как-то подозрительна, и не хочется верить, что Господь Бог открыл той или другой даме свои божественные замыслы. Кроме того, ангел в Апокалипсисе требует от человека или пламени, все испепеляющего, или небесного ледяного холода. А все эти мистики не холодны и не горячи, и речь их похожа на приторный теплый сироп.

И какой странный полуславянский язык у этого монаха. Александр сказал:

— Я давно желал тебя, отец Фотий, видеть и принять благословение.

Монах помолчал, как будто прислушиваясь. Клобук еще ниже надвинулся на глаза, и Фотий вдруг стал похож на мохнатого медвежонка, который смотрит исподлобья. Глазки засверкали.

— Яко же ты хощешь принять благословение от меня, служителя святого алтаря, то, благословляя тебя, глаголю: мир тебе, царю, спасися, радуйся, Господь с тобою буди.

Они теперь сидели друг против друга совсем близко, так что колени их касались.

Слова этого Фотия были какие-то необыкновенные, все как будто шершавые, пернатые. Они не пропадали бесследно, а запоминались невольно. Было в них что-то грубое и корявое, совсем не похожее на сладкую и круглую французскую речь хотя бы той же мадам Крюднер.

Слыхал ли про нее Фотий? [205]

Да, он слыхал про нее. Ему даже открыто, кто она такая.

— Женка сия, в разгоряченности ума и сердца, от беса вдыхаемой, не говорит никому противного от похоти и плоти обычаям мира и делам вражиим. Посему она и нравиться умеет всем во всем, начиная с первых столбовых боляр. Мужи, жены, девицы спешат, как оракула некоего дивного, послушать женку Крюднер.

Он даже видел портрет этой Крюднерши.

— Почитатели сделали все изображение, с руками, к сердцу прижатыми, очи на небо имеющую, а над нею писан святой дух с небес, как на Христа, сходящий во Иордане или на деву Богородицу при Благовещении архангельском. Сделано сие из обольщения своего или из ругательств над святынею христианских догмятов…

Но почему же этот Фотий так строг к этой особе? Она искренне верует…

— И бесы веруют и трепещут…

— Значит, недостаточно одной веры?

— А ты как думаешь? Арий тоже веровал, да не право. Церковь единая верует истинно.

Фотий плотнее приник к Александру и шептал ему на ухо. Император чувствовал его дыхание и запах ладана. Голова слегка кружилась, и замирало сердце. Как будто странная сила исходила от этого монаха.

— Церковь? Но что такое церковь?

Может быть, той «внутренней церкви», о которой говорили Кошелев и Голицын, причастен этот Фотий? Уж если кто действительно владеет тайной, то, конечно, этот пламенный инок! А хорошо бы отдать ему свою волю, отказаться от себя…

— Я сижу в глубине безмолвия и уединения и молю Господа, да изведет в свое время на дело свое человека божия подкопать, взорвать дно глубин сатанинских, содеянных в тайных вертепах — тайных обществ, вольтерьянцев, франкмасонов, мартинистов, и сокрушит главу седмиглавого змия треклятого иллуминатства…

Это первое свидание императора с отцом Фотием состоялось 5 июня 1822 года. Через несколько дней петербургский митрополит Серафим в Петропавловском соборе во время службы возложил на Фотия алмазный крест. А 1 августа того же года последовал рескрипт на имя министра внутренних дел Кочубея: [206] «Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то: масонских лож или других, закрыть и учреждения их впредь не дозволять, а всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь ни под каким видом ни масонских, ни других тайных обществ ни внутри империи, ни вне ее составлять не будут».

Копия с этого рескрипта была послана отцу Фотию, который в это время выехал в Новгородскую губернию, в Юрьевский монастырь, куда был назначен настоятелем. Потом Александр предался обычным делам; потом был на конгрессе в Европе; опять встречался с разными религиозными мечтателями, но иногда образ изможденного и жуткого, с блестящими глазами отца Фотия возникал перед императором, пугая воображение.

Весной 1824 года Александр получил от юрьевского архимандрита Фотия письмо.

«В наше время, — писал он, — во многих книгах сказуется и многими обществами и частными людьми возвещается о какой-то новой религии, якобы предоставленной для последних времен. Сия новая религия, проповедуемая в разных видах: то под видом нового ; света, то нового учения, то пришествия Христа в духе, : то соединения церквей, то под видом какого-то обновления и якобы Христова тысячелетнего царствования, то внушаемого под видом какой-то новой истины, есть отступления от веры божией, апостольской, отеческой, православной. Эта новая религия есть вера в грядущего антихриста, двигающая революцией, жаждущая кровопролития, исполненная духа сатанина. Ложные пророки и ее апостолы — Юнг Штиллинг, Эккартсгаузен, Гион, Бем, Лабзин, Госнер, Феслер, методисты, гернгутеры... Да воскреснет Бог и десницею твоею и духом, на тебе сущим, да расточатся врази богоотцев наших и да исчезнут со всеми ложными учениями от лица земли нашел».

В это время подготовлялся заговор против князя А. И. Голицына. Во главе интриги стояли петербургский митрополит Серафим, перебежчик Магницкий, графиня Орлова, Шишков и, главное, сам Фотий.

Двадцатого апреля 1824 года состоялось второе свидание императора с Фотием. Его провели во дворец [207] тайно, с секретного входа, «дабы сие не было всем гласно» — совсем как в 1801 году, когда сходились F императору его молодые друзья якобинцы, составлявшие знаменитый комитет Спасения.

На этот раз беседа продолжалась три часа. Фотий пламенно говорил о том, что Россия должна быть православной. Если царь не православен, значит, и России нет спасения. Революция подняла голову недаром. Соблазн сеет само правительство. Библейское общество распространяет еретические книги; Голицын поощряет сектантов и отступников; под видом благочестия питают души ложными учениями...

Александр был потрясен. Он назвал Фотия ангелом. Он упал на колени, молясь. Он молил монаха представить ему записку для искоренения духовной крамолы, в коей был сам повинен.

Седьмого мая 1824 года Фотий представил царю «План революции, обнародоваемой тайно, или Тайна беззакония, делаемая тайным обществом в России и везде». Потом вскоре представлена была еще записка «О действиях тайных обществ в России через Библейское общество».

Через неделю Александр призвал к себе своего старого друга А. Н. Голицына и сказал ему ласково и мягко, что он убедился теперь в бесполезности его службы в качестве министра народного просвещения и управляющего министерством духовных дел. Пусть остается князь министром почт. Александру будет приятно видеть его время от времени, а на прежних его должностях будет Шишков.

Так окончилась государственная карьера маленького князя, мечтавшего совместить несовместимое.

Осенью, взволнованный новыми духовными потрясениями, Александр назначил очередную никому не нужную и всех удивлявшую поездку по России. Как всегда, он скакал стремительно из города в город, как будто желая ускользнуть от мрачных мыслей, которые преследовали его, как фурии.

В начале ноября он вернулся в Петербург. Седьмого числа с утра Нева хлынула на граниты набережных. Выл дикий ветер. Тучи низко неслись над землей. Казалось, что весь город плывет куда-то в туманную бездну. Было страшно. Земная и водная стихии смешались в мрачной колдовской пляске. В суеверном ужасе Александр наблюдал за мятежными волнами, которые [208] неслись так же неудержимо, как неудержимо и фатально надвигалась на Европу революция. Как только вода стала спадать, император отправился в Галерную гавань. Страшная картина гибели и разрушения предстала перед ним. Он видел в ней вещий смысл. Он вышел из экипажа, стоял в толпе молча и тихо плакал. Кто-то сказал: «За грехи наши бог нас карает». «Нет, за мои!» — пробормотал царь.

XXIV

Семнадцатого июня 1825 года, в пять часов пополудни, в кабинет Александра в Каменноостровском дворце ввели унтер-офицера 3-го Украинского уланского полка. Государь приказал запереть дверь, и они остались с глазу на глаз. Это был не совсем обыкновенный унтер-офицер. Его фамилия была Шервуд. Родители его были англичане, и сам он родился в Кенте, близ Лондона. Будучи образован и владея французским, немецким, английским и русским языками, Шервуд без труда проник в общество офицеров, внушил к себе доверие, посещал знаменитую Каменку Давыдовых, встречался со многими участниками Южного общества, сам был приглашен к участию в заговоре и, дав уклончивый ответ, поспешил в Петербург с доносом.

Прежде Александру сообщали о тайных обществах, о политической пропаганде, о конституционных планах, но никто еще с такой определенностью не говорил ему о заговоре против него лично и против всего царствующего дома.

Выслушав страшные и грозные для всей династии вести, Александр задумался, вспоминая, вероятно, судьбу Павла. И опять, как тогда, — дворяне, титулованные гвардейцы…

— Да, Шервуд, твои предположения могут быть справедливы… Чего же эти… хотят? Разве им так худо?

— От жиру, собаки, бесятся.

— И велик этот заговор?

— Ваше величество, по духу и разговорам офицеров вообще и особенно во Второй армии полагаю, что заговор должен быть распространен довольно сильно.

— А нет ли среди заговорщиков кого-либо из лиц [209] поважнее? — вдруг спросил император и нахмурился, почувствовав, что сказал лишнее.

Он вспомнил, должно быть, графа Палена.

Но Шервуд нисколько не смутился. Этот холодный и трезвый англичанин, оказывается, и сам не лишен был каких-то политических убеждений. У него тоже была своя оценка тогдашнего положения вещей. Оказывается, этому Шервуду очень не нравятся «некоторые учреждения и постановления в государстве».

Александр смотрел на этого доносчика с брезгливым удивлением. И этот рассуждает!

— Не нравятся?

— Не может быть, чтобы государственные люди делали без намерения столь грубые ошибки.

— Что *же* именно? Какие ошибки?

— В военных поселениях людям дают в руки ружья, а есть не дают. Что им, ваше величество, остается делать?

— Я тебя не понимаю. Как есть не дают?

— А очень просто, ваше величество. Коренные жители обязаны кормить и семейство, и постояльцев, и резервистов, и кантонистов… А чем кормить? Они заняты перевозкой леса, постройками и прочей службой, а на полевые работы нет времени… Иногда люди умирали с голоду… Я был сам свидетелем… При нынешних обстоятельствах такое положение военных поселян может быть очень опасным…

Александр, сутулясь, слушал неприятные и почему-то для него лично обидные рассуждения самоуверенного унтер-офицера. Прогнать бы этого доносчика. Но прогнать нельзя, а надо быть ласковым и терпеливо слушать какие-то мнения какого-то сомнительного иностранца, в сущности поучающего управлять государством его, императора, победителя «двунадесяти языков», воспетого пиитами, увенчанного лаврами, умевшего говорить с первыми умниками Европы!

И вот вместо того, чтобы крикнуть «пошел вон, негодяй!», Александр милостиво протянул ему руку.

Шервуд поцеловал ее.

— Ну, теперь, Шервуд, — сказал государь по-английски, — поезжай, напиши мне, как думаешь приступить к делу... Я буду ждать известий.

От государя Шервуд поехал в Грузино, к Аракчееву. Там за ним ухаживали. Граф угощал его обедами и завтраками. За столом сидели вчетвером: хозяин, доносчик, [210] любовница Аракчеева Настасья Минкина, которую этот самый Шервуд впоследствии характеризовал как «пьяную, толстую, рябую, необразованную, дурного поведения и злую женщину», и, наконец, состоявший тогда на службе у графа Батеньков, через полгода примерно привлеченный по делу восстания на Сенатской площади и двадцать лет сидевший в крепости, в одиночной камере. Об этих завтраках доносил Аракчеев царю. Александр интересовался личностью унтер-офицера Шервуда. Этим человеком заинтересовался также и Батеньков и раз шесть спрашивал необычайного гостя о причинах его появления в аракчеевском Грузине.

Наступила осень. Выезжая из Каменноостровского дворца в открытом экипаже, Александр с грустью любовался на строгий, великолепный ампир Петербурга. Город весь теперь усыпан был желтыми и червонными листьями. В этом году осеннее увядание наступило рано. Теперь Александр думал всегда об одном и том же — жизнь кончилась! «Нельзя слишком долго показывать народу фантом». Тайна разоблачится. И все вдруг увидят, что нет никакого «благочестивейшего самодержавнейшего» монарха, а есть лишь несчастный, слабый, самолюбивый, замученный совестью, запутавшийся в ужасных противоречиях человек.

Доктора доложили государю еще об одном несчастии. Императрица Елизавета Алеексеевна тяжко больна. Ее положение стало таким опасным, что надо ехать немедленно на тог Франции или в Италию. Александр пошел в апартаменты государыни, и вид ее, слабый голос,

лихорадочный румянец — все показалось ему жутким и зловещим. Как он раньше не замечал этого? Она сгорает на его глазах, а он всегда занят собой, всегда чем-то озабочен и не видит, что погибает эта тихая женщина, все еще прекрасная в своем осеннем увядании. А ведь он виноват перед нею! Пусть она ему изменила... Но не сам ли он своим поведением толкал ее на эту измену? Да, это его преступление. Это он погубил ее жизнь! А ведь она была так добра к нему раньше и потом. Он сам оттолкнул ее. Если бы он был настоящим рыцарем, он не допустил бы ее пасть. А что, если вернуться к ней, к этой очаровательной, умной, нежной женщине? Ведь они уже стали дружески беседовать иногда последние [211] годы. Нельзя ли вернуть утраченное счастье? Не сказать ли ей прямо, что он любит ее, что все, что было, забвенно? Памятны только те минуты, когда она ему протянула записку, где было написано ею «люблю навек».

Елизавета Алексеевна отказалась ехать в Европу. Они о чем-то долго совещались с императором. И потом было объявлено, что они поедут вместе в Таганрог. Почему в Таганрог? «Признаюсь, не понимаю, — писал князь Волконский, — как доктора могли избрать такое место, как бы в России других мест лучше сего нет». Но было твердо решено, что поедут именно в Таганрог.

Смотр около Белой Церкви, предположенный осенью, пришлось отменить, потому что получены были сведения о мятежном настроении армии, и боялись покушения на особу государя.

Начались сборы в дорогу. Спешили уехать на русский юг. Кажется, у Александра и Елизаветы была какая-то надежда, что там, в Таганроге, они устроят жизнь, как в идиллической хижине «на берегу Рейна», о чем они мечтали когда-то в юные, романтические годы.

Маленький князь Голицын, лишенный официально всяких полномочий по требованию Фотия, пользовался, однако, личным расположением Александра. И вот, разбирая бумаги в кабинете царя, князь решился высказать Александру то, что всех беспокоило. Почему-то многим казалась эта поездка в захолустный городишко какой-то непонятной и опасной прихотью императора. Было что-то в этой поездке загадочное, и сложилось у многих убеждение, что, в сущности, Россия остается как будто обезглавленной и надо что-то предпринять.

А тут еще запутанный вопрос о престолонаследии. Еще в январе 1822 года великий князь Константин Павлович отказался от престола и дал в этом смысле письменное заверение. Наследником пришлось признать брата Николая Павловича. Летом 1823 года, с ведома Голицына и Аракчеева, московскому архиепископу Филарету был тайно вручен акт о наследовании престола Николаем, подписанный императором. На запечатанном конверте была собственноручная надпись царя: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в [212] случаев моей кончины открыть... прежде всякого другого действия».

Николай Павлович официально об этом акте не был извещен, однако еще летом 1819 года император говорил ему и его супруге о том, что, может быть, ему, Николаю, придется после его смерти или после отречения занять престол. В своих записках жена Николая Павловича передает этот разговор, будто бы смутивший и огорчивший их. А Елизавета Алексеевна в одном из писем к своей матери писала откровенно, что Николай Павлович спит и видит тот счастливый для себя день, когда он будет неограниченным повелителем России.

Маленький князь Голицын, посвященный в тайну престолонаследия, удивлялся, что государь держит эти свои намерения в секрете. Не следует ли их обнародовать, ежели государь так твердо решил ехать куда-то в южные степи на неизвестный срок?

Александр, выслушав Голицына, помолчал, потом, подняв руку к небу, сказал тихо: «Положимся в этом на Бога: он устроит все лучше нас, слабых смертных» («Remmetons nous en a Dieu: il saura mieux ordonner les choses que autres faibles mortels...»).

Александр решил ехать вперед, раньше Елизаветы, чтобы все подготовить к ее приезду. Как странен и загадочен был этот отъезд! 1 сентября ночью один, без свиты, он выехал из Каменноостровского дворца. Он приказал ехать в Александро-Невскую лавру. Там его ждали монахи. Как заговорщик, он спешно вошел в монастырские ворота и приказал запереть их за собой. В соборе, в полумраке, он молился у раки Александра Невского. Потом он пошел к какому-то схимнику, о котором ему говорил митрополит Серафим. Здесь он опять стоял на коленях перед распятием, повторяя за монахом слова молитвы. А после спросил почему-то старца, где он спит. Тот отворил маленькую дверь и показал черный гроб.

— Вот моя постель, государь. И ты ляжешь в нее когда-нибудь и будешь спать долго.

Царь благословился у монаха и пошел вон из лавры, сутулясь и крестясь.

Тринадцатого сентября 1825 года царь приехал в Таганрог. Через десять дней приехала туда императрица. Они поселились в небольшом одноэтажном доме, который вовсе не был похож на дворец. И обстановка [213] в этом доме была

скромная. Александру и его жене, по-видимому, хотелось забыть по возможности о придворной пышности, такой трудной и скучной.

Александр, готовясь к приезду Елизаветы Алексеевны, чистил дорожки в саду, развешивал в комнатах какие-то лампы, вбивал гвозди и перетаскивал диваны.

Он ухаживал за Елизаветой Алексеевной с нежностью молодого супруга. Ее здоровье, видимо, улучшилось, и чета, казалось, живет иллюзией, что там, в Петербурге, кто-то управляет государством, что сложная и мучительная жизнь двора, с ее международными интригами, страхами внутренних волнений, с ее лицемерием и ложью — все это оставлено навсегда, все это чуждо им, Александру и Елизавете.

Но страшная жизнь напоминала о себе неумолимо. Было получено известие, что дворовые Аракчеева зарезали его любовницу Настасью Минкину, ту самую «хозяюшку» Грузина, с которой не раз сиживал за одним столом Александр, будучи гостем у фаворита. Тщетно вызывал к себе в Таганрог своего любимца Александр. Теперь Аракчееву было не до «обожаемого» государя. Он готовил пытки и казни своим рабам за их кровавую месть. Он все забыл, даже дело Шервуда, который, исполнив поручение, приготовил список заговорщиков и ждал распоряжений об их аресте. Аракчеев об этом не позаботился. А сам император брезгливо слушал донесения о готовящихся событиях и не очень спешил принимать какие-нибудь меры. Так, например, после поездки Александра по земле Войска Донского, 18 октября явился в Таганрог граф Витт{95} и сделал новые сообщения, подтверждающие донос Шервуда. Надо было действовать решительно и немедленно задушить движение, но Александру не хотелось думать об этом ответственном и

темном деле, и он ограничился тем, что лениво приказал «продолжать расследование», хотя и без того все было ясно.

В тихом и мирном Таганроге жить было приятно, и не хотелось думать о международной политике, о необходимых внутренних делах и, главное, о революции. Жизнь императора кончилась, но так хотелось пожить еще простым, частным человеком, не внушая никому ни страха, ни зависти. Но и здесь трудно было забыть о том, что какие-то неведомые и неуловимые [214] враги готовят ему козни. Однажды в кушанье Александр нашел какой-то камешек. Что это? Не покушение ли на его жизнь? Как мог попасть камешек в пищу, приготовленную для него? И он, махнувший рукой на громадный и страшный заговор, очень строго допрашивал начальника своего штаба Дибича об этом злополучном камешке.

Но и здесь, в таганрогском уюте, проснулась у императора его страсть к скитаниям. Новороссийский генерал-губернатор Воронцов уговорил его посмотреть Крым. Накануне отъезда, когда император сидел за письменным столом, над городом собрались тучи. Стало совсем темно. Потом посветлело, но император все еще сидел при свечах, думая о чем-то. Вошел камердинер и хотел убрать свечи.

— Зачем? — спросил император.

— Худая примета, — сказал камердинер. — Днем при свечах покойники лежат.

— Унеси свечи, унеси, — пробормотал суеверный царь, невесело улыбаясь.

Итак, Александр отправился на прогулку по Крыму. Он посетил Симферополь, Гурзуф, Байдары, Алупку...

— Хорошо бы купить здесь клочок земли и зажить помещиком, — мечтал вслух Александр. — Я отслужил двадцать пять лет, и солдату в этот срок дают отставку...

Он все старался остаться один, освободиться от свитских, сопровождавших его. Из Балаклавы, например, он поехал в Георгиевский монастырь верхом с татарином. Это было 27 апреля в 6 часов пополудни. На императоре был один мундир. День был теплый, но к вечеру подул северо-восточный ветер. Все ждали императора в Севастополе, но он не возвращался. Стемнело. Свистел холодный и порывистый норд. Послали навстречу царю людей с факелами. К восьми он вернулся, и, кажется, с этой поездки началась его болезнь. Он старался ее не замечать. Ездил еще верхом в Чуфут-Кале, но лихорадка его томила. В одну из прогулок около Орехова он повстречал ехавшего из Петербурга с депешами фельдъегеря. На глазах императора ямщик разогнал тройку, опрокинул телегу, и фельдъегерь, ударившись головой о землю, не приходя в сознание, умер. Эта смерть напомнила императору, что и его жизнь на волоске. И [215] в самом деле, он как будто хирел, томился, сразу постарел, хотя ему было тогда всего лишь сорок восемь лет. «Лечился он неохотно. 14 ноября он собрался бриться, но порезался бритвой, потому что дрожала рука, а потом закружилась голова, и он упал на пол, потеряв сознание. Вечером Елизавета Алексеевна предложила ему причаститься, и он охотно согласился.

Девятнадцатого ноября был пасмурный и мрачный день. В 10 часов утра император Александр, умер.

Вскоре после этой официально засвидетельствованной смерти царя начались толки в народе, что император вовсе не умер, что он, тяготясь державой, ушел с посохом куда-то в неизвестную даль, а похоронили вместо царя кого-то другого. Возникала легенда. Впоследствии уверяли даже, что сибирский старец Федор Кузьмич, умерший в 1864 году, был

не кто иной, как сам император Александр. Легенду поддерживают иные даже в наши дни.

Но умер или не умер Александр Павлович Романов 19 ноября 1825 года в Таганроге — это в конце концов важно для его личной судьбы. Как император он умер давно. На Веронском конгрессе он уже был не более как фантом прежнего величественного монарха. Он был призрак самодержавия. Его победила и убила революция, смысл которой он тщетно пытался разгадать.

Николай Первый

Среди посмертных стихов Тютчева имеется эпиграмма, посвященная памяти Николая Г.

Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей{96}.

Не странен ли этот саркастический портрет императора в устах славянофила и монархиста Тютчева? Сам Николай полагал, что он служит идее истинного самодержавия, и эту его уверенность разделяли многие ревнители старого порядка. Но вот оказывается,, что один из самых примечательных романтиков русской империи клеймит этого государя жестоко, не щадя вовсе его памяти. Этот царь, по мысли поэта, был каботэн{97} и лжец; все дела его призрачны и пусты; он не служил «ни богу, ни России»...

А между тем надо признать, что вершиной петербургского периода русской истории — в смысле утверждения государственного абсолютизма — было царствование Николая I. Если этот самодержец не внушает никакого уважения одному из самых пламенных апологетов империи,

то не явно ли, что сама императорская власть уже в первой четверти XIX века была на ущербе, что она была обречена на гибель? Объективные исторические условия определили ее неминуемое падение, а ее внутренняя опустошенность и бессодержательность были в полном соответствии с этим страшным концом.

Кто же был Николай Павлович Романов? Был ли [217] он, как надеялся Пушкин в 1826 году, подобен его «пращуру» — Петру Великому —

Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен...{98}

или он «служил лишь суете своей», как думал Тютчев, царедворец и дипломат, знавший прекрасно кулисы монархии?

Ответить на этот вопрос возможно, вглядевшись пристально в лицо этого незаурядного государя. Сделать это, однако, не так легко, ибо Николай Павлович Романов не случайно любил посещать маскарады: это его пристрастие к личинам характерно для его биографии. В нем вовсе не было тех душевных сомнений, какие были свойственны его брату Александру, коего Пушкин за эти «противочувствия» назвал «арлекином», но однообразие своего бездушного деспотизма Николай Павлович умел рядить в разные наряды.

«Сегодня в три часа утра мамаша{99} родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, а кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков, а руки немного меньше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом», — так писала Екатерина II своему постоянному корреспонденту Гримму 25 июня (6 июля) 1796 года{100}. Далее последовало

то, что полагается при рождении всякой более или менее высокопоставленной особы, — колокольный звон, пушечные выстрелы и оды придворных стихотворцев… Написал и Державин соответствующие стихи, где было, между прочим, сказано:

Дитя равняется с царями…{101}

Царедворец по внушению музы написал нечто пророческое. Через полгода умерла Екатерина{102}. Первой няней и воспитательницей великого князя была англичанка Евгения Лайон. Эта иностранка, протестантка по исповеданию, учила его крестить лоб и читать «Отче наш» и «Богородицу».

Императрица-мать не очень была нежна с своими младшими сыновьями. Ласковее с ними был отец, император. [218] Каждый день ребят приносили к нему, и он, любуясь ими, называл их своими «барашками».

Одиннадцатого марта 1801 года убили Павла, В это время Николаю Павловичу шел уже пятый год, и в его душе сохранилось смутное воспоминание о страшном конце императора.

В своих записках 1831 года Николай Павлович рассказал о себе и брате Михаиле с достаточной откровенностью. «Мы поручены были, — писал он, — как главному нашему наставнику генералу графу Ламздорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки…» «Граф Ламздорф умея вселить в нас одно чувство — страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастия сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества

привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и, должно признаться, что не без успеха. Генерал-адъютант Ушаков был тот, которого мы более всего любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как граф Ламздорф и другие, ему подражая, употребляли строгость с запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом, страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум. В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и, я думаю, без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко граф Ламздорф{103} меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков».

Этот рассказ Николая о своем воспитании нисколько не преувеличен. Ламздорф бесчеловечно бил будущего императора. Нередко воспитатель пускал в ход линейку и даже ружейный шомпол. Великий князь был строптив и вспыльчив. Нашла коса на камень. И граф Ламздорф иногда в припадке ярости хватал мальчика за воротник и ударял его об стену. Подобные истязания, например наказание шомполами, заносились в педагогические журналы, и гессен-дармштадтская Мария Федоровна была осведомлена о методах [218] воспитания её сыновей. Она чрезвычайно ценила графа Ламздорфа.

Не мудрено, что ласковая и молоденькая мисс Лайон была для мальчиков немалым утешением, но, к несчастию, старик Ламздорф воспылал страстью к хорошенькой англичанке, и маленькие великие князья были свидетелями странных сцен, происходивших нередко в их детской. Целомудренная няня не желала удовлетворить вожделений старого ловеласа, и Ламздорф преследовал ее всячески, не прощая такой холодности к его чувству.

Но не все же горести. У маленьких Романовых были и свои радости. Главная и любимая — игра в солдатики. Их было очень много — оловянные, фарфоровые, деревянные… Были пушки. Строились крепости. И сами великие князья трубили в трубы, били в барабаны, стреляли из пистолетов.

Воспитатель Ахвердов{104} затыкал уши ватой… И даже Мария Федоровна беспокоилась, страшась, что чрезмерные увлечения военщиной отразятся худо на воспитании мальчиков. Но Николаю Павловичу было тогда всего только шесть лет, и однажды, услышав настоящую ружейную стрельбу, он так испугался, что убежал и спрятался куда-то, и его долго не могли найти. Он боялся грозы, фейерверка, пушечных выстрелов… Впрочем, в 1806 году, когда ему исполнилось десять лет, он, преодолев страх, сам научился стрелять.

В играх с братом и сверстниками, допущенными до великокняжеского общества, Николай Павлович был очень груб, шумлив, заносчив и драчлив. Однажды он так ударил маленького Адлерберга ружьем по лбу, что у него остался шрам на всю жизнь… Будущий министр двора был, однако, его любимым товарищем в детских играх. «Таково было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу, — сообщает в своих записках Николай Павлович. — Матушка решилась оставаться зимовать в Гатчине, и с тем вместе учение наше приняло еще более важности: все время почти было обращено на оное. Латинский язык был тогда главным предметом… Успехов я не оказывал, за что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно; успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил Охоту служить по инженерной части». [220]

И впоследствии, будучи царем, Николай Павлович любил говорить про себя: «Мы, инженеры». Любовь к точности, симметрии, равновесию, порядку, иерархической стройности была у Николая Павловича такой же исключительной, как у старшего брата Александра. Но у того это пристрастие к симметрии и порядку сочеталось как-то с немалой душевной сложностью, а у царя Николая эта особенность сделалась манией. Это была его идея. И, кроме этой идеи, иных у пего не было. Ее он положил в основание своей философии истории. Чтобы создать стройный порядок, нужна дисциплина. Идеальным образом всякой стройной системы является армия. И Николай Павлович именно в ней нашел живое и реальное воплощение своей идеи. По типу военного устроения надо устроить и все государство. Этой идее надо подчинить администрацию, суд, науку, учебное дело, церковь — одним словом, всю материальную к духовную жизнь нации. Но в отрочестве а в юности Николай Павлович еще не знал, что в ею руках будет неограниченная власть. Он не знал, что у него будет возможность проделать этот гигантский опыт устроения государства по военному принципу строжайшей субординации и дисциплины. Однако уже в детские годы, как будто предчувствуя, что ему придется править государством, во всех ребяческих играх брал на себя роль самодержца. У него была уверенность, что именно ему надлежит повелевать, и никто не оспаривал у него этого права. Как известно, за все шестьдесят лет своей жизни только однажды встретил он сопротивление своей воле. Это было 14 декабря 1825 года. Этого дня он никогда не мог забыть.

Подрастая, великий князь все более и более увлекался военной дисциплиной, парадами и маневрами. Он разделял вкусы Петра III и Павла. И впоследствии «единственным и истинным для него наслаждением» была «однообразная красивость»{105} хорошо дисциплинированного войска. Об

этом в 1836 году сочувственно свидетельствует столь близкий императору граф А. X. Бенкендорф{106}. Николай Павлович превосходно знал все тайны фронтовой части. Он был отличный ефрейтор и великолепный барабанщик.

Его внутренняя духовная жизнь в отроческие годы остается для нас тайной. В своих записках педагоги не скупятся на отзывы, нелестные для юного Николая Павловича. Они уверяют, что он был груб, коварен в [221] жесток. Однажды, будучи уже не маленьким — четырнадцати лет, — «ласкаясь к господину Аделунгу, великий князь вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступить ему на ноги» и повторял это много раз. Кавалеры, приставленные к великому князю, свидетельствуют в своих дневных записях еще об одной особенности. Он любил кривляться и гримасничать — черта, подтверждающая законность его рождения. Это было в духе его деда Петра III. Несмотря на многочисленных воспитателей, этот юноша вел себя в обществе как недоросль. «Он постоянно хочет блистать своими острыми словцами, — писали про него кавалеры, — и сам первый во все горло хохочет от них, часто прерывая разговор других».

Эти замашки юного великого князя беспокоили окружающих. На это были особые причины. Дело в ток, что иные уже знали о будущей исключительной судьбе этого юноши... Г. И. Вилламов{107} в своем дневнике 1807 года свидетельствует, что вдовствующая императрица смотрит на Николая Павловича как на будущего государя. Шторх{108} в записке об его воспитании, поданной Марии Федоровне, прямо указывает на необходимость включить в программу учебных занятий науки политические, так как, «вероятнее всего, великий князь в конце концов будет нашим государем». В своем известном труде Лакруа{109} уверяет даже, что будто бы уже в 1812 году и Мария Федоровна и брат Александр предупреждали Николая Павловича о предназначенной для него роли.

С этого времени, то есть когда ему исполнилось шестнадцать лет, стали замечать в нем некоторую перемену. Он сделался более сдержанным, суровым и озабоченным. Исторические события понудили, вероятно, и Николая Павловича задуматься над их страшным смыслом. Он просил, чтобы ему разрешили ехать в действующую армию. Эта просьба осталась тщетной. «Все мысли наши были в армии, — пишет в своих мемуарах Николай Павлович. — Учение шло как могло среди беспрестанных тревог и известий из армии. Одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа». Наконец в 1814 году Николай Павлович получил от своей матушки разрешение ехать на театр военных действий. 7 февраля вместе с братом Михаилом, в сопровождении графа Ламздорфа, он выехал [222] в Берлин. «Тут, в Берлине, — пишет он, — провидением назначено было решиться счастию всей моей будущности: здесь увидел я в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь. И Бог благословил сие желание шестнадцатилетним семейным блаженством». Это было написано в 1831 году.

Особа, доставившая «блаженство» будущему императору, была дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III, друга Александра Павловича, Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, которая была моложе Николая Павловича на два года. Она вышла за него замуж в июне 1817 года.

Что касается до военной кампании, в коей жаждал принять участие Николай Павлович, то желание его и на этот раз не было исполнено. Едва юный великий князь вступил в пределы Франции, пришло повеление от императора вернуться в Базель. «Хотя сему уже прошло восемнадцать лет, — пишет Николай Павлович в своих мемуарах, — но живо еще во мне то чувство грусти, которое тогда нами

одолело и ввек не изгладится. Мы в Базеле узнали, что Париж взят и Наполеон изгнан на остров Эльбу». Только тогда получено было приказание великому князю прибыть в Париж, и он отправился туда через Кольмар и Нанси.

Пребывание в Париже, кажется, было приятно Николаю Павловичу.

Особенно доставило ему удовольствие зрелище знаменитого смотра наших войск в Вертго. Здесь он в первый раз обнажил шпагу перед Фанагорийским гренадерским полком»{110}.

Мария Федоровна с нетерпением ждала возвращения своих сыновей в Россию. В то время, когда с таким блеском праздновали союзники свою победу над Наполеоном, в России, утомленной и разоренной войной, было беспокойное настроение. Даже неопытнее великая княгиня Анна Павловна писала братьям о том, что «внутренние дела идут плохо», что все больше и больше появляется недовольных, хулителей и критиков и что, надо признаться, существует немало поводов для их справедливого негодования. Но Николай Павлович, очарованный великолепием нашего военного могущества, кажется, не внял грустным предупреждениям своей сестры. По крайней мере, в своем дневнике, [223] который он вел в 1816 году, во время большого путешествия по России, записи его касаются частностей и мелочей. Никаких выводов и обобщений нет. А в «журнале по военной части», по словам барона Корфа, все почти замечания Николая Павловича относятся «до одних неважных внешностей военной службы, одежды, выправки, маршировки и прочего и не касаются ни одной существенной части военного устройства, управления или морального духа и направления войск. Даже о столь важной стороне военного дела, какова стрельба, пет нигде речи».

После большого путешествия по России{111} Николая Павловича отправили в Англию, дабы «обогатить его полезными познаниями и опытами». Однако кроме важного и полезного в Англии было нечто и опасное — ее конституция. Поэтому Мария Федоровна поручила графу Нессельроде, этому ничтожному подголоску Меттерниха, составить особую записку для великого князя. Смысл записки был тот, что «хартия вольностей» и все прочее, может быть, не так уж плохо для Англии, но совершенно не годится для России. Но Николай Павлович и сам не был склонен увлекаться демократией. «Если бы, к нашему несчастью, — писал он, — какой-нибудь злой гений перенес к нам эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или, еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление».

Один англичанин оставил свои воспоминания о пребывании в Лондоне великого князя. «Его манера держать себя, — пишет он, — полна оживления, без натянутости, без смущения и тем не менее очень прилична{112}. Он много и прекрасно говорит по-французски, сопровождая слова недурными жестами. Если даже не все, что он говорит, было очень остроумно, то, по крайней мере, все было не лишено приятности; по-видимому, он обладает решительным талантом ухаживать. Когда в разговоре он хочет оттенить что-нибудь особенное, то поднимает плечи кверху и несколько аффектированно возводит глаза к небу». В это же время одна англичанка писала о нем: «Он дьявольски красив! Это самый красивый мужчина в Европе».

Позднее, в 1826 году, русский современник так описывал его наружность: «Император Николай Павлович был тогда 32 лет. Высокого роста, сухощав, грудь имел [224] широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый,

голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью».

II

Однажды летом 1819 года, после маневров под Красным селом, император Александр изъявил желанна пообедать у брата Николая. В это время у молодых супругов был уже сын Александр, и Александра Федоровна была беременна старшей дочерью Марией. Николай Павлович командовал Второй гвардейской бригадой. Ему было тогда двадцать три года.

После обеда император Александр неожиданно заговорил многозначительно о том, что он чувствует себя худо, что скоро он лишится потребных сил, чтобы по совести исполнять свой долг, как он это разумеет. Поэтому он, Александр, думает в недалеком будущем отречься от престола. Он уже неоднократно говорил с братом Константином. Но брат Константин бездетен и питает «природное отвращение» к наследованию престола. Из этого следует, что Николаю Павловичу надлежит принять со временем достоинство монарха{113}.

Николай Павлович, которому старший брат не доверял до сих пор никакой государственной должности, был, по его словам, «поражен, как громом». «В слезах, — пишет он, — в рыданьях от сей неожиданной вести мы молчали. Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельской, ему одному свойственной лаской начал нас успокаивать и утешать... Тут я

осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе сил, ни духу на столь великое дело... Дружески отвечал мне он, что когда вступил на престол, он в том же был положении; что ему было [225] тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел... Что е восшествия на престол государя по сей части много сделано к улучшению и всему дано законное течение и что поэтому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать».

Вероятно, память изменила Николаю Павловичу, когда он записывал этот разговор. Прошло ведь тогда не менее семнадцати лет со времени этой беседы. Уверения императора Александра, что наследник найдет «все в порядке, который ему останется только удерживать», совсем не вяжутся с тогдашним настроением разочарованного государя.

По-видимому, и сам Николай Павлович сознавал, что весь этот порядок не так уж благополучен. «Кончился сей разговор, — пишет он, — государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить пли воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения».

Положение молодого бригадного генерала Николая Павловича Романова в самом деле было ужасно. И он мог без всякой аффектации и театральности сказать самому себе то, что он поверил бумаге в 1831 — 1835 годах, кажется, не совсем искренне. Вкус к власти, о чем свидетельствует, между прочим, императрица Елизавета Алексеевна, был у Николая

Павловича давно, с детских лет, и для него не было секретом, что Константин, напротив, страшился престола. Значит, едва ,.ли разговор с императором был для него неожиданностью. Но бояться власти в его положении, даже тайно о ней мечтая, было естественно. Николай Павлович Романов был человек неглупый, и он понимал, что не готов вовсе к управлению государством. А между тем после примечательного разговора в 1819 году Александр, неоднократно возвращаясь к этой теме, ничего, однако, не делал, чтобы подготовить брата к престолу. Он даже не назначил его членом Государственного совета, и будущий царь служил как заурядный генерал. Впоследствии, правда, ему поручили заведовать инженерной [226] частью, но эти обязанности не имели, конечно, прямого отношения к управлению страной.

«Все мое знакомство со светом, — писал Николай Павлович, — ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в десять часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие доступ к государю... От нечего делать вошло в привычку, что в сем собрании делались дела по гвардии, но большей частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего. Бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя начальников, ни правительство... Время сие было потерей времени, по я драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался».

Итак, будущий государь подготовлялся к своей ответственной роли, толкаясь в дворцовой передней. Как будто император Александр, понимая, что некому наследовать престол, кроме Николая, сам, однако, не мог в это поверить никак и медлил открыть ему секрет царского ремесла.

А между тем в великом князе был избыток властолюбия. Не имея пока возможности применить его во всероссийском масштабе, он поневоле сосредоточил свое внимание на подчиненных ему гвардейских частях. Ветераны славных кампаний оказались во власти молодого человека, не имевшего никакого боевого опыта. Офицеры и генералы, почти все раненые, смотрели на солдат как на товарищей, деливших и опасности и славу, — и все они, начиная с графа Милорадовича, прекрасно понимали, что муштровка и парады не делают людей способными к военным подвигам. Но Николай Павлович, как и все Романовы, полагал смысл военной службы во внешней дисциплине и в обучении солдат на прусский лад, устаревший и бесполезный. Гвардия возненавидела Николая Павловича Романова.

«Я начал взыскивать, — пишет он, — по взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, позволялось везде даже моими начальниками. Положение было самое трудное.

Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте, уважение к начальникам исчезло совершенно, [227] и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка... По мере того как я начал знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, то есть военным распутством, крылось что-то важное».

Весной 1822 года у строптивого великого князя было прямое столкновение с офицерами лейб-гвардии егерского полка. Генерал Паскевич, который в это время командовал гвардией, был в немалом затруднении. Дело в том, что он сам, как опытный и боевой генерал, презирал «акробатство», которого требовал с упрямой жестокостью молодой ревнитель старой прусской военщины. Но в одном отношении был прав Николай Павлович: за вольностью тогдашнего военного быта таилось нечто более важное.

Одним словом, гвардия была заражена революционными идеями, и в этом, как известно, Николаю Павловичу пришлось убедиться очень скоро.

Осенью 1825 года император Александр с больной императрицей уехал в Таганрог{114}. В царском семействе настроение было мрачное. Все чувствовали, что император устал, что надо что-то делать и как-то успокоить глухое недовольство, темной волной широко разлившееся по России. Но Александр Павлович как будто на все махнул рукою. Он даже не позаботился как следует о престолонаследии на случай своей смерти. Правда, еще в 1822 году составлен был акт об отречении Константина и приготовлен манифест о правах на престол Николая, но тот столь важный документ хранился тайно в Москве — в Успенском соборе, а в Петербурге — в Сенате, Синоде и Государственном совете. Когда посвященный в эту тайну князь А. И. Голицын рискнул напомнить государю о необходимости опубликовать акт об изменении престолонаследия, утомленный и ко всему равнодушный Александр указал рукой на небо и сказал: «Положимся в этом на Бога. Он устроит все лучше нас, слабых смертных». Сказал — и уехал в Таганрог.

В конце ноября 1825 года в Петербург пришли вести о болезни Александра Павловича. 27 числа, когда в большой церкви Зимнего дворца после обедни служили молебен о здравии императора, камердинер подошел к стеклянной двери, выходившей в ризницу, где стояло царское семейство, и сделал знак Николаю Павловичу. Так было условлено, если приедет курьер из [228] Таганрога. Великого князя встретил Милорадович. Николай Павлович по его лицу догадался, что император умер{115}.

Пришлось молебен прекратить, и вся церковь, наполненная людьми, так тесно связанными с династией, пришла в

смятение. Придворная чернь, испуганная и потрясенная, забыв правила благочестия, плакала и вопила, мешая истерические слезы с непристойной болтовней о возможных теперь переменах.

Романтический поэт и сентиментальный царедворец В, А. Жуковский был случайным свидетелем, как в опустевшей церкви великий князь опрометчиво приносил присягу брату Константину. Жуковский рассказывал, как Николай Павлович приказал священнику принести крест и присяжный лист и как, «задыхаясь от рыданья, дрожащим голосом повторял он за священником слова присяги». Вероятно, в это время в душе будущего императора было немало болезненных сомнений, и плакал он не без причины{116}.

Всем известно, какие странные дни междуцарствия пережила тогда Россия. Не было претендентов на российский престол. Николай каждый день посылал с курьерами письма Константину Павловичу в Варшаву, умоляя его приехать в Петербург. Спешили принести присягу Константину, несмотря на предупреждение Голицына, который настаивал на немедленном вскрытии таинственного пакета. Сам император сделал на нем надпись, из коей видно было, что после смерти его, Александра, надлежало ознакомиться с содержанием документа «прежде всякого другого действия»{117}.

Почему же Николай не послушался Голицына? Почему он делал вид, что не знает завещания Александра? Кажется, никто из Романовых не жаждал так власти, как Николай. Почему же он медлил принять ее? Казалось, что он, как Борис Годунов, «поморщится немного».

Что пьяница пред чаркою вина,
И, наконец, по милости своей,

Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему...[{118}]

Та хмельная «чарка вина», которую надо было выпить Николаю Павловичу Романову, была опасной чаркой. Он знал, что в ней может быть отрава. Дело в [229] том, что никто из окружавших его не хотел видеть его царем. Это очевидно между прочим из поведения Государственного совета, собравшегося в тот же вечер, 27 ноября, для обсуждения вопроса о престолонаследии. Спорили о том, надо ли вскрывать пакет. Д. И. Лобанов-Ростовский высказал мнение, что «les morts n'ont point de volonte» «у мертвых нет воли». На том же стоял А. С. Шишков. Граф Милорадович самонадеянно кричал, что нет надобности вскрывать загадочный пакет, что великий князь Николай Павлович уже принес присягу и дело сделано. Однако председатель Совета князь Лопухин решился все-таки распечатать пакет, и документ стал известен членам Государственного совета. Несмотря на это, Милорадович требовал не принимать во внимание завещание Александра, идти к Николаю Павловичу и предоставить ему самому решение этого вопроса. Так и сделали.

Николай вышел к членам Государственного совета. Со свойственной ему театральностью, «держа правую руку и указательный палец простертыми над своей головой», со слезами на глазах, вздрагивая всем телом, он произнес краткую речь, настаивая на принесении присяги Константину.

Иначе он поступить не мог. Дело в том, что тот граф Милорадович, военный генерал-губернатор Петербурга, который хвастался неоднократно, что «у него в кармане шестьдесят тысяч штыков», ничего не знал о заговоре, по он хорошо знал, что гвардия ненавидит Николая Павловича. Об

этом он с совершенной откровенностью сказал великому князю. Правда, у гвардии не было также оснований любить Константина, но тот был далеко, в Варшаве, а Николай был здесь и успел всех раздражить и озлобить. Сознавая это, Николай боялся престола, хотя и мечтал о нем страстно.

Его страх был самый настоящий, и он не скрывал его в письмах к братьям и в разговорах с матерью и женой. В то время как во дворце было смятение, слезы и страх, ночной Петербург казался совершенно спокойным. Государственный секретарь А. П. Оленин, которому выпало на долю извлечь из архива завещание Александра, сообщает в своей записке: «Едучи от себя к князю Лопухину, то есть от Красного моста, на Мойке всей перспективой до Литейного и обратно до Большой Морской, кроме горящих фонарей на улице, я ни в одном доме огня не видел и, кроме моей кареты, никакого [230] другого экипажа не слыхал. Не видно было даже ни одного конного или пешеходца, и только слышался глухой стук колес моей кареты и бег моих лошадей, да изредка перекличка часовых и ночных стражей».

III

Рано утром 12 декабря из Таганрога прибыл полковник со срочным донесением Дибича о раскрытом заговоре в гвардии и среди офицеров Южной армии. Неопределенный и неясный страх перед какой-то опасностью, владевший душою Николая, теперь, когда он прочел сообщение Дибича, стал уже чем-то несомненным и близким. Это уже не предчувствие, а сама грубая действительность. Смерть стояла совсем близко. Николай понимал, что тут не может быть компромисса и сентименталъностей. Гвардия привыкла играть коронами, как мячами. Он сознавал, что в эти два-три дня решится его участь — быть ему самодержавным императором многомиллионной России или валяться где-

нибудь на ковре Зимнего дворца изуродованным и задушенным, как его отец Павел.

Николай был одинок. Никого не было, кто бы мог ему помочь. Если ветеран славных походов, военный генерал-губернатор столицы Милорадович, решительно советует не посягать на трон, то на кого же рассчитывать? А между тем Константин не едет в Петербург, не присылает никакой официальной бумаги и *в* то же время отказывается от престола. Николай Павлович с нетерпением ожидал возвращения из Варшавы Михаила Павловича. Привезет он или не привезет необходимые документы от упрямого Константина, но уже само его присутствие здесь, как живого свидетеля отречения брата, важно чрезвычайно. А он, как нарочно, опаздывал.

В этот день пришло решительное письмо от брата, но совершен по интимное, и опубликовать его было невозможно, как и предыдущие письма. Послав Дибичу подробный ответ на его донесение, Николай присоединил к нему приписку: «Решительный курьер воротился. Послезавтра поутру я — или государь, или без дыхания. Я жертвую собою для брата. Счастлив, если, как подданный, исполню волю его. Но что будет г. России? Что будет в армии?.. Я вам послезавтра, [231] если жив буду, пришлю — сам еще не знаю как — с уведомлением, как все сошло... здесь у нас о сю пбру непостижимо тихо, mais le calme precede souvem 1'orage...» (но тишина часто бывает перед бурею...). Надо было подумать о манифесте. В апартамента» императрицы Николаю попался на глаза худенький, с лихорадочными розовыми пятнами на щеках Николай Михайлович Карамзин. Этому старенькому верноподданному историографу, изнемогавшему тогда от грудной болезни, поручил Николай Павлович написать манифест. Старичок тотчас же, кашляя и отирая платком потный лоб, принялся писать манифест и вскоре принес его будущему императору.

Манифест написан был высоким стилем, в надлежащем духе, но в нем говорилось слишком определенно о том, что новый император будет следовать во всем политике покойного Александра Павловича. А между тем новый претендент на трон, хотя и называл умершего брата «ангелом», как это было принято почему-то в семье Романовых, вовсе не хотел повторять двусмысленной и странной, по его понятиям, политики брата. Пришлось пригласить Михаила Михайловича Сперанского и ему поручить переделать манифест. Об этом акте еще никто не знал. Только на другой день, зайдя в комнаты жены и увидев там маленького Сашу, наследника, Николай Павлович показал ему манифест и сказал: «Завтра твой отец будет монархом, а ты цесаревичем. Понимаешь ли ты это?» Семилетний «le petit Sacha», будущий «царь-освободитель», был чем-то расстроен, хныкал и, услышав строгий голос отца, заплакал горько.

Вечером 12 декабря к Николаю Павловичу явился адъютант командующего гвардейской пехотой подпоручик Ростовцев{119}, Молодой офицер был как в лихорадке. Он умолял Николая быть осторожным и не спешить с новой присягой. Не называя имен, он намекал на то, что существует заговор, что гвардия волнуется, что Николаю Павловичу грозит опасность.

Великий князь обнял театрально своего взволнованного доброжелателя и отпустил, обещая дружбу.

Подпоручик ничего нового ему не открыл. Он и без него знал, что ему предстоит немалое испытание.

На другой день Николай Павлович пригласил к себе председателя Государственного совета Лопухина и сообщил ему о положении дел, об ответе брата и о необходимости взять на себя власть. [232]

Растерявшейся, смущенный князь Лопухин сам поехал к государственному секретарю Оленину, дабы тот немедленно известил членов о чрезвычайном собрании в Зимнем дворце. Вее должны были съехаться и семи часам. В назначенный срок все явились, недоумевая и со страхом поглядывая друг на друга.

Николай Павлович рассчитывал, что к заседанию подъедет брат Михаил. Его присутствие было необходимо. Но шли часы, а брата все не было. В смущении бродили по зале, как привидения, эти генералы и вельможи. Николай Павлович догадался устроить в соседней зале ужин. Это несколько оживило звездоносцев. В конце концов в полночь, не дождавшись брата, Николай Павлович пригласил всех на заседание и, сообщив решение Константина, сам прочел манифест о своем восшествии на престол. Первым вскочил и низко поклонился новому царю Мордвинов, которого декабристы считали либералом и намерены были сделать членом временного правительства, без его ведома... На другой день, 14 декабря, рано утром к новому императору явился с докладом генерал-адъютант Бенкендорф. Николай Павлович сказал ему: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». Мысль о гибели преследовала тогда Николая Павловича. Накануне он говорил об этом жене. Александра Федоровна отметила это в своем дневнике. «Я еще должна здесь записать, — сообщает она, — как мы днем 13-го отправились к себе домой, как ночью, когда я, оставшись одна, плакала в своем маленьком кабинете, ко мне вошел Николай, стал на колени, молился Богу и заклинал меня обещать ему мужественно перенести все, что может еще произойти. «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть, — умереть с честью».

А за день до этого Николай Павлович писал П. М. Волконскому: «Четырнадцатого числа я буду государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя, вы, верно, надо мною сжалитесь — да, мы все несчастные, но нет несчастливее меня...»

В день восстания, в шестом часу, собрались по дворце почти все генералы и полковые командиры гвардейского корпуса. Николай вышел к ним в Измайловском мундире, прочел главные документы, касающиеся престолонаследия, и свой манифест. Потом он спросил у [233] собравшихся, нет ли у кого каких-либо сомнений. И когда никто сомнений не выразил, он, приняв торжественную позу монарха, с величественным жестом сказал:

— После этого вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы, а что до меня касается, если я хоть час буду императором, то покажу, что этого достоин.

Члены Сената и Синода безропотно принесли присягу в семь часов утра. Вскоре явился во дворец беспечный Милорадович и старался уверить царя, что все в порядке и все спокойно. Но у Николая Павловича на этот счет было свое особое мнение. И в самом деле, не прошло и часа, как новый царь убедился в том, что самонадеянный граф Милорадович, когда-то большой воин, а теперь, несмотря на свой почтенный возраст, жуир и балетоман, прозевал заговор.

Первую тревожную весть принес командир гвардейской артиллерии Сухозанет{120}. Там, в некоторых частях, роптали офицеры, сомневались в законности второй присяги. Пришлось туда послать Михаила Павловича, который только что приехал во дворец и попал как раз к началу мятежа.

Еще страшнее была весть, которую привез взволнованный и смущенный генерал Нейдгарт. Он только что опередил

Московский полк, который шел на Сенатскую площадь, не слушая командиров. Нейдгарт просил у царя разрешения двинуть на мятежников часть конной гвардии и первый батальон преображенцев.

Увидев краспое расстроенное лицо генерала, Николай понял, что ему не на кого надеяться и что он, «добрый малый» «le pauvre diable», как его звали братья, должен теперь сам выпутываться из беды. Теперь уж он не бравый молодой бригадный генерал, а император всероссийский, но — увы! — пока еще без империи, без верноподданных, без правительства, без полководцев... Ему еще предстоит эту самую империю завоевать.

Спускаясь по салтыковской лестнице дворца, он думал о том, что когда-то он тщетно искал случая участвовать в сражении, а вот теперь судьба ему предназначила рисковать своей головой на Сенатской площади.

Николай прошел прежде всего на главную дворцовую гауптвахту и вывел оттуда егерскую роту Финляндского полка, крикнув зычно: [234]

— Ребята! Московские шалят! Не перенимать у них и свое дело делать молодцами!

Внутри у Николая Павловича все дрожало, но голос прозвучал хорошо, бодро, и его актерское сердце радовалось, что он начал, как надо, и его послушались и за ним пошли.

Когда Николай вышел за дворцовые ворота, площадь была усеяна народом. День был пасмурный, и, хотя мороз был не крепкий, было холодно, потому что дул северный ветер. Синеватый туман клоками ходил низко, и от этого казалось, что все вокруг как будто плывет куда-то, как будто все мираж.

Опять подошел Милорадович{121} и сказал, хмурясь: Cela va mal. Us marchent au Senat, mais je vais leur parler. «Дело плохо. Они идут к Сенату, но я поговорю с ними».

И генерал ускакал.

«Надо было мне выиграть время, — сообщает в своей записке Николай Павлович, — дабы дать войскам собраться. Нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным — все эти мысли пришли мне как бы по вдохновению, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ли мой манифест. Все говорили, что нет. Пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр. Я начал его читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал…»

В это время подоспел первый батальон преображенцев, и Николай сам повел его и поставил на углу Адмиралтейского бульвара. Здесь мелькнула перед глазами Николая Павловича фигура полковника князя Трубецкого{122}, и то, что он быстро удалился куда-то, казалось Николаю Павловичу зловещим и неприятным.

Тогда Николай приказал своему адъютанту Кавелину ехать немедленно в Аничков дворец и перевести семью в Зимний, а другому адъютанту, Перовскому, — в конную гвардию с приказанием выезжать на площадь.

В это время Николай услышал пальбу. От этих первых выстрелов стало страшно и весело. Началось!

Николай почувствовал себя полководцем. И в голове стал складываться план защиты. О нанадении он еще не думал, не зная сил загадочного врага. [235]

Когда флигель-адъютант Голицын прискакал с известием, что Милорадович пытался говорить с мятежниками и какой-то штатский смертельно его ранил, Николай, сосредоточенный на мыслях о защите дворца, принял весть как будто равнодушно, но где-то в глубине сознания запечатлелось, что это уже настоящая борьба и что теперь дело идет о жизни его самого, Николая.

Дойдя до угла Вознесенской и не видя еще конной гвардии, Николай приказал преображенцам остановиться. Со всех сторон сбегался народ — мастеровые, дворовые, разночинцы, все толпились, теснились, запруживая улицу, напирали на солдат.

И с площади неслись крики «ура!» и какой-то неясный гул. «В сие время, — пишет в своих мемуарах Николай, — заметил я слева против себя офицера Нижегородского драгунского полка, которого черным обвязанная голова, огромные черные глаза и усы и вся наружность имели что-то особенно отвратительное». Это был Якубович{123}.

— Я был с ними, но, услышав, что они за Константина, бросил и явился к вам, — сказал он, дерзко смотря в глаза Николаю.

«Я взял его за руку, — пишет Николай, — и сказал: «Спасибо! Вы ваш долг знаете». От него узнали мы, что Московский полк почти весь участвует в бунте и что с ними следовал он по Гороховой, где от них отстал. Но после уже узнано было, что настоящее намерение его было под сей личиной узнавать, что среди нас делается, и действовать по удобности».

Тем временем Алексей Орлов, брат декабриста, привел конную гвардию и построил ее спиной к дому Лобанова, недалеко от деревянного забора, за которым торчали леса строящегося Исаакиевского собора. Николай приказал перевести эти пять эскадронов так, чтобы они правым

флангом опирались на груду камней, выгружаемых для постройки собора на берегу Невы, а левым — на преображенцев, которые стояли спиной к Адмиралтейству. А место конницы заняли оставшиеся верными московцы и два батальона Измайловского полка.

Мятежники стояли вокруг памятника Петру. Генерал Воинов пытался подъехать к ним, но его встретили выстрелами, и он ускакал назад{124}. Флигель-адъютант Бибиков подошел к Николаю, прихрамывая. [236]

Лицо у него было в кровоподтеках. Его помяли солдаты, когда он проходил мимо каре. Из толпы мятежников слышались крики: «Ура, Константин», К многие не понимали, что, собственно, происходит и за что убит старый генерал Милорадович. Понимали до конца, в чем дело, заговорщики и сам Николай. Он знал, что решается участь самодержавной монархии — быть ей или нет. И он чувствовал каким-то звериным инстинктом, что надо сделать во что бы то ни стало последние усилия, сломить врага, раздавить его или самому погибнуть. И этот инстинкт внушил ему мысль, что надо непременно сосредоточить всех бунтовщиков здесь, на площади, дать им возможность собраться вместе. Тогда будет видно, как действовать. Только бы где-нибудь в тылу не остался враг. Огромная народная толпа, устремившаяся на площадь, пугала Николая. Он понимал, что если бы мятежники разбросили свои силы шире, их поддержала бы «чернь» и весь город запылал бы в страшном мятеже.

Вот почему, когда Николай увидел в беспорядке идущий лейб-гренадерский полк и, думая, что он покорен, крикнул «стой!», а солдаты в ответ, не слушаясь, гаркнули: «Мы за Константина!» — ему не оставалось ничего другого, как указать им на Сенатскую площадь.

«И вся сия толпа, — пишет Николай, — прошла мимо меня, сквозь все войска, и присоединилась без препятствия к своим... К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь бы наша была более чем сомнительна».

Многое было непонятно в поведении и тех батальонов, которые были в распоряжении Николая. Артиллерия, например, явилась без снарядов, и пришлось посылать за ними в лабораторию, и тогда привезли всего только три снаряда. Послали еще раз, и дежурный офицер отказался выдать, потому что не было официальной бумаги. На все это уходило время. А между тем силы мятежников увеличились. К ним присоединился весь гвардейский экипаж и примкнул со стороны Галерной. Потом подошли гренадеры. «Шум и крик, — по свидетельству Николая Павловича, — делались беспрестанными, и частые выстрелы перелетали через голову. Наконец народ начал также колебаться, и многие перебегали к мятежникам, пред которыми видны были люди невоенные. Одним словом, ясно становилось, что не сомнение в присяге было истинной [237] причиной бунта, но существование другого, важнейшего заговора делалось очевидным». По мере того как подходили новые верные правительству военные части, Николай расставлял их на площади, окружая непокорных.

Попробовал уговаривать мятежников Михаил Павлович, но в него пытался стрелять из пистолета Кюхельбекер, лично ему известный, и великий князь отъехал от фронта, махнув рукой. Испуганный митрополит Серафим, в полном облачении, с крестом, тщетно уговаривал солдат смириться. Ему пришлось сесть в карету и уехать.

Было уже три часа пополудни. Стало холоднее. Снегу было мало, и под ногами было скользко. Время от времени из

рядов московцев стреляли. В конной гвардии было много раненых.

Надо было что-то предпринимать, и Николай выехал вперед, чтобы осмотреть позиции. «В это время, — пишет он, — сделали по мне залп. Пули просвистели мне через голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были бы в самом трудном положении».

Прежде чем что-нибудь предпринять, Николай поскакал к Зимнему дворцу, чтобы усилить его охрану. Ему все еще мерещилось нападение с тылу. По дороге его остановил Карамзин, который подбежал к нему без шапки, в распахнутой медвежьей шубе. Несчастный историограф несколько раз по просьбе императрицы выбегал на мороз из дворца, чтобы донести ей, жив ли император: она никому не верила, изнемогая от страха.

Всем известно, что делалось тогда в рядах мятежников. Многие из заговорщиков не явились на площадь. Отсутствовал и «диктатор» Трубецкой. Бунтовщики не знали, что делать. Не было точного и обдуманного плана. Все надеялись друг на друга и чего-то ждали. Иные верили, что правительственные войска перейдут на сторону восставших. Ждали вечера. А между тем люди мерзли. Голод давал себя знать. Послали за хлебом и водкой, но принесли мало. И голодные солдаты ворчали, что нет начальников, но пока еще держались, ободренные тем, что народ, которому опостылела [238] царская власть, был явно на стороне восставших.

Николай попробовал послать конницу. Сначала пошла в атаку конная гвардия, но лошади скользили от гололедицы, да и палаши оказались неотпущенными, и пришлось

вернуться обратно, унося раненых. Та же участь постигла кавалергардов.

Было явно, что еще час нерешительности, и Николаю Романову не быть на троне. Генералы, которые сначала сторонились императора, а иногда решались даже советовать ему осторожность и не действовать оружием, теперь вдруг спохватились, сообразив, что их участь будет не лучше участи самого Николая.

Несмотря на страх, который им овладел, по его собственному признанию, Николай еще мог производить на окружающих впечатление «сильного человека». Когда к нему подошел представитель дипломатического корпуса, выражая готовность поддержать его авторитет присутствием в его свите иностранных послов, он будто бы сказал, «que cette scene etait une affaire de famille, a laquelle 1'Europe n'avait rien a demeler», то есть что эта сцена — дело семейное, и в ней Европе делать нечего.

Наконец генерал-адъютант Васильчиков{125} сказал Николаю:

— Ваше величество! Нельзя терять ни минуты. Ничего не поделаешь. Нужна картечь!

Николай и сам понимал, что иного нет выхода. Но надо было сказать какую-нибудь «историческую» фразу, подходящую к случаю. И он сказал ее:

— Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?

— Да, — сказал Васильчиков, — чтобы спасти вашу империю!

И в самом деле, империя была спасена.

Всего на площади стояло четыре орудия — три на углу бульвара, где был Николай, и одно около канала, где находился Михаил Павлович.

Последнее предупреждение восставшим сделал генерал Сухозанет. Он вернулся к царю, потеряв на шляпе султан: его сняла пуля.

Тогда Николай зычно крикнул:

— Пальба орудиями по порядку!.. Правый фланг начинай! Первая! [239]

Начальники повторили команду. Но Николай крикнул «Отставь!» — и выстрела не последовало.

Так и во второй раз. Только в третий раз он решился стрелять. Но вышла заминка. Пальник не исполнил приказа. Тогда поручик Бакунин соскочил с лошади и, вырвав у солдата запал, сам выстрелил.

Картечь ударила через площадь в карниз Сената. С крыши свалилось несколько человек. Конногвардейцы, озлобленные бомбардировкой поленьями, встретили выстрелы криком «ура».

Второй выстрел ударил в средину мятежного каре... Начались паника и бегство. Император Николай одержал победу.

Заняв площадь войсками, Николай вернулся по дворец, где его ждали наша и дети.

IV

Вернувшись во дворец, Николай сел писать брату письмо. «Дорогой, дорогой Константин! — писал он. — Ваша воля исполнена: я — император, но какою ценой, боже мой! Ценой

крови моих подданных. Милорадович смертельно ранен, Шеншин, Фредерике, Стюрлер — все тяжело ранены{126}... Я надеюсь, что этот ужасный пример послужит к обнаружению страшнейшего из заговоров, о котором я только третьего дня был извещен Дибичем».

Всю ночь с 14 на 15 число Николай Павлович не ложился спать вовсе. Если на Сенатской площади не нашлось ни одного генерала, способного командовать войсками, верными правительству, и Николаю пришлось взять на себя роль военного диктатора, то теперь ему предстояла новая роль — трудная роль инквизитора. С первого же дня своего царствования у него сложилось убеждение, что ему не на кого надеяться и не на кого рассчитывать. Он сам взял в свои руки следствие по делу декабристов. В сущности, этот страшный день и эта страшная ночь определили его судьбу как императора. Николай поверил, что само провидение предназначило ему быть монархом. Враги были повержены. И этой победой он был обязан исключительно себе. «Самое удивительное, — говорил он впоследствии, — что меня не убили в тот день». В самом деле, это удивительно. Вопрос о цареубийстве принципиально [240] был давно решен в среде заговорщиков: Почему и таком случае Каховский, убивший Милорадовича, не решился убить царя? Почему? Настроение правительственных войск было так неустойчиво, что, наверное; с утратой Николая они не стали бы защищать обезглавленную власть. Но из мятежников никто не посмел взять на себя ответственность. Рылеев, Пущин, Каховский — вся тогдашняя интеллигенция — оказались бессильными перед политическим реализмом Николая. Заговорщики не сумели воспользоваться тем мятежный настроением, какое владело народной массой, о чем с совершенной откровенностью свидетельствует в своих записках и сам Николай. Взбунтовавшиеся дворяне, несмотря на свою враждебность к царскому самодержавию, по своей культуре

были ближе к Романовым, чем к этой взволнованной толпе солдат, рабочих и крепостных. Вот эта явная оторванность от широких кругов населения, враждебного петербургской власти, и погубила участников декабрьской революции.

Допросы арестованных убедили Николая в том, что эти люди морально не были достаточно сильными, и это сознание опьянило победителя. Отравленный этим хмелем, он овладел царством, и понадобился опыт тринадцатилетней самодержавной власти, европейская революция 1848 года и ужасы Севастопольской кампании, чтобы он освободился от этого хмеля и вдруг, понял, что «просвещенный абсолютизм» есть жалкая фикция, что он — мнимый самодержец, что он ничтожен перед стихийными силами, которые фатально развиваются, преодолевая на своем пути все преграды.

Но в ночь с 14 на 15 декабря 1825 года Николай еще не понимал того, что он понял в 1855 году.

«Когда я пришел домой, — писал в своих мемуарах Николай, — комнаты мои были похожи на главную квартиру в походное время. Донесения от князя Васильчикова и от Бенкендорфа одно за другим ко мне приходили. Везде сбирали разбежавшихся солдат гренадерского полка и часть московских. Но важнее было арестовать предводительствовавших офицеров и других лиц. Не могу припомнить, кто первый приведен был. Кажется мне — Щепин-Ростовский… Он, в тогдашней полной форме и в белых панталонах, был из первых схвачен, сейчас после разбития мятежной толпы. Его вели мимо верной части Московского полка, офицеры его узнали, и в порыве негодования на него, как увлекшего [241] часть полка в заблуждение, они бросились на него и сорвали эполеты. Ему стянули руки назад веревкой, и в таком виде он был ко мне приведен». Потом допрашивали Бестужева, и от него Николай узнал, что князь Трубецкой был назначен

предводителем мятежа. Его стали искать по всему Петербургу и наконец нашли в доме австрийского посла, который приходился ему свояком.

В присутствии генерала Толя{127} произошло свидание диктаторов двух вражеских станов — Романова и Трубецкого. Романов исполнил свой долг, как он его понимал, и этого не сделал Трубецкой, усомнившийся в решительный час и в самом себе, и в том деле, какое он защищал. Николай не удержался от того, чтобы самодовольно и мелодраматично описать это свидание в своих записках, в иных частях довольно правдивых и откровенных.

При обыске в доме Трубецкого нашли важную черновую бумагу на оторванном листе, писанную рукой Трубецкого, — «это была программа на весь ход действий мятежников на 14-е число, с означением лиц участвующих и разделением обязанностей каждому».

Николай воспользовался этим документом.

— Хочу вам дать возможность, — сказал он Трубецкому, — хоть несколько уменьшить степень вашего преступления добровольным признанием всего вам известного. Тем вы дадите мне возможность пощадить вас, сколько возможно будет. Скажите, что вы знаете?

— Я невинен, я ничего не знаю.

— Князь, опомнитесь и войдите в ваше положение. Вы — преступник. Я — ваш судья. Улики на вас — положительные, ужасные и у меня в руках. Ваше отрицание не спасет вас. Вы себя погубите, отвечайте, что вам известно.

— Повторяю, я не виновен, ничего не знаю.

Тогда Николай показал ему документ:

— Если так, так смотрите же, что это.

«Тогда он, — пишет Николай, — как громом пораженный, упал к моим ногам в самом постыдном виде».

Когда князь Трубецкой ползал у ног Николая Павловича, вероятно, в душе победителя окончательно созрела мысль о том, что у него, императора, нет более соперников.

Если князь Трубецкой, «вождь» восстания, пресловутый «диктатор», целует царские ботфорты, то кто [242] иной посмеет упорствовать в своих «заблуждениях»! И в самом деле, немногие из декабристов ускользнули из крепких сетей, расставленных талантливым следователем. Он сам, как актер, увлекся этой жестокой игрой. Так было приятно после пережитой опасности торжествовать победу, любоваться на поверженных врагов, обольщать какого-нибудь наивного Рылеева, пугать трусов, искусно добиваться признаний у строптивых, вроде Каховского Этот самолюбивый мечтатель понравился Николаю, может быть, потому, что тоже был склонен, как и царь, к театральной декламации. Николай даже отметил в своих мемуарах, что этот — декабрист был «молодой человек, исполненный прямо любви к отечеству», что, как известно, не помешало ему повесить патриота, ибо его патриотизм был «в самом преступном направлении».

Характеристики, которые делал Николай своим «друзьям четырнадцатого дня», весьма любопытны. Они рисуют облик самого царя. Участники Южного общества после восстания Черниговского полка его интересуют не менее, чем северяне.

«Муравьев, — пишет Николай, — был образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд». Твердость Николаю

всегда нравится, даже у врага. Муравьева привезли закованного, хотя он был тяжело ранен. Он сидел, изнемогая от раны, но давал показания обстоятельно.

— Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтобы считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть — преступным злодейским сумасбродством? — спросил Николай, забыв, по-видимому, что 14 декабря он сам не знал, что, собственно, происходит на Сенатской площади — несбыточное «сумасбродство» или гибель романовской империи. Тогда ведь Николай вовсе не был уверен, кто кого будет допрашивать как победитель и судья,

На вопрос Николая Муравьев ничего не отвечал, покачал головой с видом, что чувствует истину, не поздно.

Пестель был также привезен в оковах; по особой важности его действий его привезли и держали секретно... [243]

Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг.

Лртамон Муравьев был не что иное, как убийца, изверг без всяких других качеств, кроме дерзкого вызова на цареубийство. Подл в теперешнем положении, он валялся у меня в ногах, прося прощения...

Напротив, Матвей Муравьев, сначала увлеченный братом, но потом в полном раскаянии уже некоторое время от всех отставший, из братской любви только спутник его во время бунта и вместе с ним взятый, благородством чувств, искренним глубоким раскаянием меня глубоко тронул.

Сергей Волконский, набитый дурак, таким нам всем давно известный, лжец и подлец в полном смысле, и здесь таким же себя показал. Не отвечая ни на что, стоя как одурелый, он собою представлял самый отвратительный образец неблагодарного злодея и глупейшего человека».

Декабристы, которые держали себя с достоинством, внушали Николаю чувство уважения, которое он не всегда мог скрыть под презрительными словами. Михаил Орлов, например, чей «большой ум, благородную наружность и привлекательный дар слова» пришлось признать и самому Николаю, вызвал его самолюбивый гнев своей язвительной улыбкой, гордостью и прямыми насмешками над молодым императором, и все же царь не решился говорить о нем так, как он говорил об «одурелом» Волконском.

Прошло полгода после восстания. 14 июля 1826 года Николай Павлович писал брату: «Милосердный господь дал нам, дорогой и бесценный Константин, увидеть конец этого ужасного процесса. Вчера была казнь{128}. Согласно решению Верховного суда, пятеро ^наиболее виновных повешены, остальные лишены прав, разжалованы и присуждены к каторжным работам... Да будет тысячу раз благословен Господь, спасший нас... Да избавит он нас и наших внуков от подобных сцен...»

В дни казни царское семейство было в тревоге. Императрица и сам Николай не вполне были уверены, что все обойдется благополучно. Дня за три до казни Мария Федоровна писала Голицыну: «Вчера или сегодня государь должен решить судьбу этих несчастных... [244]

Я день и ночь думаю об этом. Это приводит меня, в ужасное состояние...» После казни императрица пишет тому же князю А. Н. Голицыну: «Слава Богу — всё прошло спокойно, все в порядке. Да помилует Господь казненных, и да будет к ним

милосерд вышний судия. Я возблагодарила на коленях Бога. Я верю, что, по милосердию божьему, Николай будет отныне царствовать мирно и спокойно!»

V

Итак, началось «мирное и спокойное» царствование Николая Павловича Романова. Оно длилось долго — тридцать лет. У нового императора был единый план царствования. И, надо признать, что это единство государственного замысла было удивительно в своей последовательности. Николай понимал власть царя как власть хозяина. Россия — это его собственность, а всякая «собственность священна». Хозяин должен заботиться о своем добре, не расточать его, копить, выбирать хороших и верных слуг. Все должны безропотно исполнять его хозяйскую волю. Младшие не должны учить старших. В хозяйстве должна быть строгая иерархия. Все должно быть подчинено дисциплине. Во всем должна быть система, точные правила. Должен быть закон.

Романтизм покойного брата был не по вкусу Николаю Павловичу. Будучи ревнителем монархической идеи, убежденным сторонником абсолютизма, он не хотел оправдывать самодержавие мистически. Ему казалось опасным вступать на эту зыбкую почву. Опыт брата доказывал, как легко впасть в жестокие противоречия с самим собой, если искать для политики высшей божественной санкции. Само собою разумеется, он не мог отказаться от официального признания, что власть сама по себе «священна», но ему вовсе не хотелось углубляться в эту опасную тему. Для этого он был слишком трезвым реалистом. Ему нравилась теория «просвещенного абсолютизма», и он искренно сожалел, когда умер Карамзин{129}, который, будучи апологетом самодержавия, не разделял, однако, вкуса к мистицизму последних лет царствования Александра. Николай Павлович без церемонии прогнал Магницкого{130}

и Рунича{131} и сократил Фотия{132}. Он понял, что можно [245] управлять страной и без этих слишком беспокойны и назойливых претендентов на какое-то особенное знание сокровенных тайн монархии. Николай не любил философии. Ему нравились инженеры. Надо заниматься не любомудрием, а строить крепости, мосты и дорой Тут нет ничего мистического. Нужен только точный расчет и порядок. Для этого необходимы единство власти и закон.

Единство власти осуществлялось в полной мере им самим, императором Николаем. Нужен был только человек, который сумел бы внушить стране уверенность, что Россия управляется на незыблемых основаниях закона. Такой человек нашелся. Это был Михаил Михайлович Сперанский{133}.

Николай Павлович прекрасно знал, что декабристы прочили в члены «временного правительства» именно Сперанского, которого считали по старой памяти либералом. Но он лучше знал этого человека, чем побежденные мятежники. Николай Павлович угадал, что Сперанский теперь уже не мечтает о конституции, что он стал приверженцем самодержавия, и он решил воспользоваться его замечательными способностями юриста и бюрократа, его точным умом, его пристрастием к строжайшей иерархической системе. Он был незаменим в этом отношении. Только один Сперанский мог воплотить в законе идею николаевского порядка.

Николая Павловича не пугало даже масонство Сперанского в прошлом и его благочестие последних лет. Мистицизм Сперанского, умозрительный и замкнутый, не был похож на буйный и беспокойный дух Фотия. С таким благоразумным мистицизмом Николай мирился. Но полное доверие императора надо было заслужить, и Николай подверг Сперанского испытанию. Оно было так мучительно и трудно, что старый Сперанский изнемогал и даже по ночам, по

свидетельству дочери, нередко глухо рыдал. Однако возложенное на него исполнил с педантизмом безупречного чиновника. Какое же это было испытание? Николай понудил Сперанского принять участие в том Верховном уголовном суде, который разбирал дело декабристов. Вереница бывших «братьев» по масонским ложам прошла перед Михаилом Михайловичем. Он даже встретил здесь своего ближайшего товарища но масонству и по законодательной работе в Сибири — Батенькова{134}. Сперанский был, кажется, самым ревностным участником этого [246] верховного судилища. Все дела отдельных декабристов ему были известны. Он, неустанно работая, сочинил подробнейшую программу судопроизводства. Он следил за каждым действием председателя и напоминал ему о порядке дел и резолюций. Он подсказывал суду решения. И ленивые генералы, сановники и епископы, как загипнотизированные, следовали во всем предуказаниям Сперанского. Сохранились многочисленные черновики, свидетельствующие о том, с каким рвением работал тогда Сперанский. Избранный в комиссию по распределению разрядов, он единолично сочинил строго разработанную классификацию родов и видов политических преступлений. Получилась удивительная по стройности схема. Но он этим не ограничился. Он для примера, по собственной инициативе, распределил по разрядам всех, привлеченных по делу восстания. Верховный суд принял целиком этот «примерный» проект Сперанского.

Тринадцатого мая состоялось свидание Николая со Сперанским. Еще недавно опальный сановник, докладывал теперь государю о Верховном суде. И царь самодовольно писал потом об этом докладе Дибичу. Николай убедился наконец, что Сперанскому можно довериться. И он поручил ему создать ту грандиозную декорацию законности, которая

должна была украсить и увенчать великолепный петербургский ампир.

К 1832 году Сперанский закончил свой колоссальный труд. Под его редакцией вышло сорок семь томов полного собрания русских законов, за время с 1649 года до последнего царствования. В 1833 году вышел им же, Сперанским, подготовленный свод действующих законов в пятнадцати томах.

Но в то время, как Сперанский корпел над сводом российских законов, стараясь придать самоуправному порядку некий вид законности, нашлись среди окружавших Николая лиц житейские практики, предлагавшие усовершенствовать полицейский аппарат, с тем чтобы он был послушным и гибким орудием в руках правительства. Тут уж никакой закон не действовал. Граф А. Х. Бенкендорф, человек вовсе не склонный к юридическим тонкостям, подал Николаю записку о реформе полиции. Дело, оказывается, очень просто. «Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. [247]

Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своей честностью и усердием...» С этого надо начать. Но этого мало: нужны доносчики. На кого же можно рассчитывать? Бенкендорф точно, оказывается, знает, из кого состоит эта категория полезных самодержавию людей. «Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут по крайней мере знать, куда им обратиться».

«Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные

связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе».

Обеспечив себе помощь подобных ревнителей монархической идеи — гоголевских почтмейстеров, людей, «стремящихся к наживе», бывших «злодеев», интриганов и глупцов, — полиция должна «употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха».

Эта записка Бенкендорфа положила начало знаменитому Третьему отделению собственной его величества канцелярии. Во главе этого учреждения был поставлен граф А. X. Бенкендорф, бывший член масонской ложи Соединенных Друзей, приятель декабристов, подавший на них донос Александру, но не успевший воспользоваться благосклонностью этого «коронованного Гамлета». Теперь он нашел себе щедрого покровителя в лице Николая I. Он ценил Бенкендорфа и поручил ему, по преданию, «отирать слезь?» обездоленных российских граждан. По свидетельству барона Корфа, шеф жандармов, предназначенный «отечески» опекать русское общество, «имел самое поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно». Но зато он был верный и преданный слуга царю. И Николай любил его. Во время его болезни в 1837 году император проводил у его постели целые часы и плакал над ним, как над другом и братом.

Портрет Николая нельзя нарисовать с достаточной убедительностью, если не поставить рядом с ним его спутника и любимца. Этот, даже по словам сочувствующего ему Греча, «бестолковый царедворец», «-добрый, но пустой», пользовался всеми прерогативами верховного [248] жандарма. «Наружность шефа жандармов, — говорил Герцен, — не имела в себе ничего дурного; вид «его был

довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатичным. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевший право мешаться во все, — я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица»... Будучи сластолюбцем и ловеласом, этот друг императора всегда был занят мечтаниями или воспоминаниями об альковных приключениях и не в состоянии был сосредоточить свое внимание на каком-нибудь деле. Но петербургские обыватели были невзыскательны. Являться к Бенкендорфу на прием было совершенно бесполезно. «Он слушал ласково просителя, ничего не понимая... Но публика была очень довольна его ласковостью, терпением и утешительным словом». В своих записках Бенкендорф тоже очень хвалит самого себя и нисколько не сомневается, что он стоит «на славном посту, охраняя нравственность».

Третье отделение не могло, однако, надлежащим образом «охранять нравственность», несмотря на прекраснодушие графа Бенкендорфа. По крайней мере, сам Николай был весьма низкого мнения о нравственных качествах своих чиновников. Он знал, что взятки и воровство — неотъемлемое свойство современных ему администраторов и судейских. Не только государственных людей, но простых исполнителей его собственной государевой воли было очень мало. Казалось, надо обратиться к иным слоям русского общества, поискать людей земских и независимых, но Николай I, сам воспитавшийся, по его собственному признанию, в дворцовой передней, искал себе помощников только здесь, среди искателей царской милости, «жадной толпой стоявших у трона»{135}. Независимых людей он боялся. А между тем когда брат Константин просил прислать в Варшаву делегатов

от Сената для присутствия на процессе 1827 года, Николай Павлович ему писал: «Представьте, что среди всех членов первого департамента Сената нет ни одного человека, которого можно было бы, не говорю уже, послать с пользой для дела, но даже просто показать без стыда». Из резолюций Николая [249] Павловича на журналах так называемого «секретного комитета», заседавшего с 1826 по 1830 и тщетно пытавшегося реформировать законы о государственных учреждениях и общественных состояниях, совершенно очевидно, что император решительно не верил в способность, знание и честность тогдашней бюрократов. Его отзывы о сенаторах и губернаторах презрительны и убийственны. Не менее презирал Николай и высшие государственные учреждения в целом, не считаясь вовсе с их правами, присвоенными законом. Однажды он по предложению Блудова подписал к опубликованию указ о мерах к уменьшению дворового класса, и когда Васильчиков указал на необходимость предварительно внести этот указ для обсуждения его в Государственный совет, царь возразил:

— Да неужели же, когда я сам признаю какую-нибудь вещь полезной или благодетельной, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согласие Совета?

Один из проектов министра финансов Канкрина, отвергнутый большинством Государственного совета, был утвержден Николаем Павловичем. Обозлившийся Васильчиков заявил государю, что необходимо еще раз рассмотреть проект в Совете или совсем уничтожить это высшее государственное учреждение, если у него отнимают права, предоставленные законом. Царь было согласился, но в день заседания Канкрин добился аудиенции, и члены Государственного совета получили записку, посланную царем с фельдъегерем, в коей было сказано: «Желательно мне, чтобы проект был принят». Возражении, разумеется, не последовало.

И, конечно, император Николай был по-своему прав: самодержавие — так уж самодержавие, — не было надобности маскировать его какими-то законосовещательными церемониями, ибо все учреждения все равно стояли на уровне той самой «передней», где учился . царствовать Николай. Панегиристов царствования Николая, было мало, больше было страстных хулителей, по ненадолго до нашей большой революции были попытки справедливо и объективно выяснить ход законодательных работ эпохи и реальные последствия деятельности правительства грозного императора. Эти почтенные попытки не дали никаких результатов. Картина получается самая плачевная. В сущности, за тридцать лет царствования не было сделано пи одного значительного государственного дела, если не считай, [250] кодификации свода законов, исполнение коих, однако, ничем не было гарантировано.

Перед Николаем возник при начале его царствования прежде всего вопрос о крепостном праве. Этот вопрос на разные лады обсуждался в так называемом «комитете 6 декабря» и позднее в целом ряде комитетов, но правительство было бессильно что-либо сделать, потому что его судьба была слишком тесно связана с судьбой дворян-крепостников. Известно, как начал свою речь в Государственном совете Николай при обсуждении крепостного вопроса: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у пае есть зло для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было делом еще более гибельным». Зачем, спрашивается, в таком случае понадобилось «теперь же» обсуждать этот заколдованный вопрос? По-видимому, записка Воровкова со сводкой политических мнений декабристов, лежавшая постоянно на столе Николая I, беспокоила монарха. Там сами дворяне, наиболее просвещенные и дальновидные, требовали отмены крепостного права, сознавая, что эта форма хозяйственных и

правовых отношений стала безнадежно ветхой. Но Николай страшился коснуться крепостного права, потому что это могло раздражить помещиков, а ведь они — его слуги, как мужики — слуги этих помещиков. Даже старый проект о запрещении продажи крестьян без земли, занимавший правительство Александра I, пугал членов «комитета 6 декабря», ибо этот проект мог показаться «стеснением прав собственности». Подобные реформы проводились правительством как-то по секрету, как будто оно боялось своих собственных мнений. Эта внутренняя конспирация государственных деятелей, возглавляемых самим Николаем, приобретала иногда опереточный характер. Так, например, учрежденный в 1839 году комитет по вопросу об изменении быта крепостных крестьян с целью отклонения всех подозрений и догадок назывался официально комитетом для уравнения земских повинностей в западных губерниях. Тайны иных комитетов соблюдались свято, и даже не все министры знали, чем какой комитет занимается. Когда понадобилось пригласить в «комитет 6 декабря» министра финансов, государь разрешил это сделать, но с тем, чтобы этот министр так и не знал, где, собственно, он заседает. Это было во вкусе брата Александра. [251] Романовы были вообще большими конспираторами.

Историки, подводя итоги тому, что сделано было; по крестьянскому вопросу в царствование Николая, приходят к выводу, что, в сущности, не было сделано ничего, если не считать нескольких ничтожных ограничений прав помещиков при продаже крестьян без земли. Историки утешают себя тем, что зато в правительстве «созрела мысль», что будущее освобождение крестьян должно совершиться с обязательным наделением крестьян землей. Но крестьяне были менее терпеливы, чем историки. Они даже не знали, что благодаря Киселеву «созрела мысль» о реформе. Зато они очень хорошо знали свой быт. Можно было бы составить

длиннейший список тех жестоких расправ, какие применялись к этим нетерпеливым крестьянам. За отказ платить непосильный оброк помещикам мужики наказывались кнутом, плетьми, батогами, розгами, ссылались в Сибирь, заключались в тюрьмы и даже прогонялись сквозь строй через тысячу человек по нескольку раз. Такие расправы случались нередко. Не было губернии, где бы не волновались крестьяне. Иногда бунты напоминали времена пугачевщины. Иные ненавистные помещики погибали от руки собственных крестьян.

Бывали бунты и среди казенных и удельных крестьян. Об этих бунтах существуют воспоминания очевидцев. «Такие бунты разливаются, как пожар», — замечает меланхолически современник. Один из очевидцев и усмирителей подобного бунта, описывая свое приключение в приволжской губернии, рисует такую картину.

«…Губернатор остановился, вызвал Федьку (зачинщика) и молодцом крикнул:

— Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!

Только тронулись за Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать… Мой храбрый губернатор бежать… Разошлась толпа, я нашел губернатора к постели, болен, кровавая дизентерия…

Вижу, дело очень плохо. Послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться двенадцати жандармам…

Рано утром приехали команды. Спиной к домам, в [252] одну шеренгу, выстроили солдат. Между церковью и солдатами собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил: повинуются ли? В один голос: нет, не повинуемся!

— Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять?

— Стреляй, батюшка, пуля виноватого найдет, нему что Бог назначил.

Тогда усмиритель обратился к первому по порядку:

— Повинуешься ты закону?

— Нет, не повинуюсь.

— Закон дал государь, так ты не повинуешься государю?

— Нет, не повинуюсь.

— Государь — помазанник божий, так ты противишься Богу?

— Супротивляюсь.

Крестьянина передал жандарму со словами: «Ну, так ты не пеняй на меня!» Жандарм передал другому... Последний передавал во двор, там зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю...

Пришёл во двор...

— Розг! Давайте первого!

Выводят старика лет семидесяти.

— Повинуешься?

— Нет.

— Секите его!

Старик поднял голову и просит:

— Батюшка, вели поскорее забить.

Неприятно, да делать нечего, первому прощать нельзя, можно погубить все дело. Наконец старик умер, я приказал мертвому надеть кандалы».

Этот рассказ ревнителя николаевской монархии, кажется, достаточно красноречив. Не мудрено, что в докладной записке генерал-адъютанта Кутузова, поданной государю после объезда этим генералом нескольких губерний во второй половине царствования, картина народной жизни представляется унылой. «При проезде моем, — пишет Кутузов, — по трем губерниям в самое лучшее время года при уборке сена и хлеба не было слышно ни одного голоса радости, не было видно ни одного движения, доказывающего довольство народное. Печать уныния и скорби отражается на всех [253] лицах... Отпечаток этих чувств скорби так общ всем классам, следы бедности общественной так явны, не правда и угнетение везде и во всем так губительны для государства, что невольно рождается вопрос: неужели все это не доходит до престола вашего императорского величества?» Наивный вопрос впечатлительного генерал-адъютанта остался и для самого Николая и для нас риторическим вопросом. Николай не мог знать того подавленного душевного состояния, в как находилось общество после расправы с декабристами. Но он презирал это общество. Мужики для него всегда были «чернь», интеллигенция — «канальи франчики». Он полагал свою силу и внутренний смысл империи в ее устроении на военный лад. Мужиков надо сделать солдатами, дворян — господами офицерами. Тогда бесформенная, некрасивая, своевольная и опасная стихия подчинится точным нормам дисциплины. Государственность должна быть военной. Еще до декабрьского восстания, будучи великим князем, он заметил, что иные офицеры выезжали на учение во фраках, набросив сверху шинель. Он решил, что это начало революции, и, может быть, эта мысль имела свои основания.

Какова же была армия, по образу и подобию коей должна была строиться вся жизнь государства? Из отчета, например, действующей армии за 1835 год видно, что из двухсот тысяч человек умерло одиннадцать тысяч, то есть каждый двадцатый, — процент чудовищный. Автор докладной записки, вышеупомянутый, так в ней и пишет: «При Суворове на пятьсот человек здоровых бывал один больной, теперь на пятьсот человек больных один здоровый. Методы обучения гибельны для жизни человеческой... Требуют, чтобы солдат шагал в полтора аршина, когда Бог ему создал ноги шагать в аршин... после всех вытяжек и растяжек солдат идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь... Огромнейшая армия есть выражение не силы, а бессилия государства. И для чего эта громадная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, съедает благосостояние государства без пользы и славы для империи».

Мемуарист николаевской эпохи пишет: «Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и т. и. Било солдат прежде всего их ближайшее начальство: унтер-офицеры и фельдфебеля, били также и офицеры... Большинство офицеров того времени тоже [254] бывали биты дома и в школе, а потому били солдат из принципа и по убеждению, что иначе нельзя и что того требует порядок вещей и дисциплина». В этом был убежден и сам император. Он помнил шомпол своего воспитателя Ламздорфа и, по-видимому, склонен был думать, что ежели он, государь, подвергался побоям, то нет основания избегать их применения при воспитании и обучении простых смертных.

Другой мемуарист описывает расправу после бунта в военных поселениях 1832 года.

«Приговоренных клали на «кобылу» по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым

было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на пятнадцать от «кобылы», потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому; кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался В воздухе свист и затем удар. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль в поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза глубоко прорубил кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казненных глухой стон, который умолкал скоро; затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов двадцать или тридцать, палач подходил к стоявшему на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки, и доктор давал ему нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к «кобыле» и продолжали наказывать. Под кнутом, сколько помню, ни один не умер. Помирали на второй или третий день после казни».

Шпицрутены были не менее страшны, чем кнут. Ежели человека прогоняли сквозь строй в тысячу человек три-четыре раза, смерть почти всегда была неминуема.

Любопытно, что на одном рапорте, где граф Пален [255] просил назначить смертную казнь нарушившим карантинные правила, Николай собственноручно написал; «Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас не бывало и не мне ее вводить».

VI

В истории все относительно, и не так легко «под грубою корою вещества» узреть живую душу. Но очевидно, что в «жестокий век»{136} николаевского царствования, несмотря на все эти шпицрутены, розги, кнут, несмотря на Александра Христофоровича Бенкендорфа, идиотскую цензуру, бездушное и казенное «благочестие», безобразное народное рабство, несмотря на самого бравого императора, где-то в глубине народное стихии тайно прозябали ростки иной жизни, духовной и прекрасной. Как пушкинская «Арина Родионовна», русская земля внушала лучшим своим людям любовь к исконным началам цельной жизни.

Если формы тогдашней культуры были всецело связаны с традициями величавой александровской эпохи, то есть с традициями своеобразного петербургского ампира, то зоркий глаз мог уже заметить, как происходит двойственный процесс распада этих ампирных петербургски-европейских форм. Этот распад обусловливался двумя причинами — отрицательной и положительной. Отрицательная причина коренилась в «дурном вкусе» императора Николая. Само собою разумеется, что не было бы надобности считаться с этим дурным вкусом Николая Павловича Романова, если бы он не был признаком вырождения всей петербургской монархии. Николаевская эпоха была наивысшей точкой петербургского абсолютизма и вместе с тем началом его конца. Наша гегемония в Европе, столь очевидная в предшествующую эпоху, в силу инерции еще продолжала импонировать Западу в первую половину царствования Николая, но в последние годы его жизни раскрылась, как известно, странная слабость восточного колосса. Это совпало с умалением высоких художественных достижений нашего зодчества — искусства, которое с удивительной точностью отображает в себе стиль той или другой государственности.

Правда, надо отдать справедливость Николаю Павловичу, [256] он не дошел в своей безвкусице до тех унизительных пошлостей, какие поощрялись последними царями, по сороковые и пятидесятые годы свидетельствуют о художественном ущербе наших архитектурных памятников. Сохраняется еще некоторая внешняя величавость форм, но уже нет той внутренней монументальности, которая легко сочетается с изяществом частей, сохраняя силу и устойчивость. В начале царствования еще работали некоторые хорошие зодчие александровской эпохи, например Росси, который создал в 1829 — 1834 годах Сенат и Синод, соединенные великолепной аркой, Александровский театр, здания Театральной улицы, Публичную библиотеку, Главный штаб и его арку. Но со второй половины тридцатых годов Николай Павлович, мечтая освободиться от эстетических пристрастий старшего брата, решился вступить на свой самостоятельный николаевский путь. Увы! Император Николай I не был гениальным человеком, и его вкус оказался весьма сомнительным и эклектичным. Памятниками такового неоригинального и слабого зодчества являются Большой кремлевский дворец в Москве, сооруженный А. К. Тоном, а также московский храм Спасителя, построенный им в ложном византийско-русском стиле. Этот же архитектор, полюбившийся императору, воздвиг в Петербурге целый ряд скучных храмов{137}. Правда, при Николае был построен все-таки значительный и торжественный Исаакиевский собор, по он строился по проекту Монферана, одобренному еще Александром I.

Но не только отрицательной причиной — дурным вкусом императора — обусловливалось падение петербургского ампира, была и положительная причина. Несмотря на двести лет петербургской монархии, в России не иссякла творческая народная сила. Художественный гений народа, не находя поддержки в официальной государственности и не имея

возможности проявить себя в монументальных формах зодчества, стенописи, скульптуры, нашел себя, заявил о себе в творчестве художников слова. Таковыми были прежде всего Пушкин и Гоголь.

Пушкин, понимавший и даже любивший петербургский ампир, был так, однако, огромен в своих замыслах и в своем изумительном даре угадывать народную стихию, что естественно разломал стеснявшие его формы императорского Петербурга. Этот его подвиг освобождения [257] был ему подсказан Ариной Родионовной и теми мужиками сельца Михайловского, речь коих он слушал жадно и умел слушать достойно.

Гоголь завершил дело Пушкина. Он показал, что за величавой и строгой красотой петербургской монархии притаился страшный зверь, что за благообразием усадебного быта скрываются оборотни, «мертвые души», что вся Россия заколдована, что готовится «страшная месть».

И Пушкина, и Гоголя Николай Павлович Романов знал лично. Жуковский, человек «свой», придворный,; и милейшая А. О. Россет-Смирнова{138}, тоже «своя», объяснили царю, что Пушкин и Гоголь — два великих художника и что Россия может ими гордиться. Еще в 1826 году в Москве, при первом свидании с Пушкиным, Николай Павлович понял, что этого человека выгоднее держать около трона, чем где-нибудь вдали. Он заставил его представить записку о воспитании{139}. Записка, разумеется, не понравилась, но тем не менее царь облагодетельствовал Пушкина. Он даже сделал поэта камер-юнкером и, напялив на него смешной мундир, указал ему место в толпе будущих царедворцев. Он даже простер свое великодушие до того, что ухаживал непристойно за его женой.

«Я ему напомнила о Гоголе, — пишет в своих записках Россет, — он был благосклонен: «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». — «Читали вы «Мертвые души»? — спросила я. «Да разве они его? Я думал, что это Сологуба». Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма».

Та же Россет, умная и наблюдательная, с совершенной откровенностью рассказывает о частной жизни Николая. Царю нравился порядок, нравилась дисциплина не только в армии, в государстве, в культуре, по также и в семье. Ему хотелось, чтобы его считали примерным семьянином. Кажется, он даже любил по-своему, по-николаевски, свою жену. Он всегда поддерживал видимое благообразие и благополучие своего домашнего уклада, что ему не мешало, однако, искать любовных приключений на стороне.

Россет сообщает расписание дня у императора: «В девятом часу после гулянья он пьет кофе, потом в десятом сходит к императрице, там занимается, в час [258] или в час с половиной опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В четыре часа садится кушать, в шесть гуляет, в семь пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в одиннадцать, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати».

Но любопытно, что этому точному расписанию в мемуарах Александры Осиповны Россет предпослан лукавый вопрос: «Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой?» Оказывается, за внешним благообразием семейной жизни скрывался самый обыкновенный адюльтер. Племянница знаменитой Нелидовой, в которую платонически был влюблен Павел, стала теперь наложницей более

прозаического, чем отец, Николаи Павловича. Об этом романе царя свидетельствует не только Россет, но и не менее чем она осведомленная А. Ф. Тютчева. Николай Павлович не был склонен к поэтическим мечтаниям. Его любовные связи были очень просты. Он требовал только покорности и внешнего приличия. С этим мирились все, даже Россет на видела в этом ничего страшного. «За ужином государь пожаловал за наш стол, — рассказывает она, — между мной и Захаржевской; по ту сторону Захаржевскоя сидела Варенька Нелидова, которую царь всегда зовет просто Аркадьевна; возле нее — А. Ф. Орлов. По некоторым словам Орлова и по тону его с Нелидовой надобно думать, что она пользуется все той же милостью и что даже этот господин ловко поддерживает ее; кое-что, может быть, приказано в свое время намеком. Она очень умно себя ведет и очень прилично». Это было в 1845 году. И ранее, например, в 1838 году, было то же самое. «Эта зима была одна из самых блистательных, — пишет Россет. — Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц... Государь занимался в особенности баронессой Крюднер{140}, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер... Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми... Всю эту зиму он ужинал между Крюднер и Мери Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась...» Госпожа Крюднер, урожденная [259] графиня Амалия Максимилиановна Лерхенфельд, во втором браке Адлерберг, была, вероятно, в каком-то отношении пленительной женщиной. Она нравилась Пушкину. В нее был влюблен Тютчев и ей посвящал стихи. Но, по отзыву Россет, она была «скверной немкой», непомерно жадной к деньгам. «После, — пишет Россет, — покойный Бенкендорф заступил место

Адлерберга, а потом и место государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: «Я уступил после свое место другому».

Таковы были нравы при дворе Николая Павлович. Злые языки уверяли, что многие миловидные фрейлины, прежде чем выйти замуж, пользовались особой «милостью» монарха. На этой почве случались и драмы. Рассказывали, например, про обманутого таким образом В. П. Никитина, полковника лейб-гвардии гусарского полка, неосторожно женившегося на баронессе Ольге Петровне Фредерике, которая, впрочем, не была фрейлиной, хотя и пользовалась благосклонностью императора. Вокруг трона складывались легенды, похожие на непристойные анекдоты, и если одна десятая этих сплетен была достоверной, то и этого достаточно, чтобы составить себе представление о Николае Павловиче как о человеке далеко не целомудренном. Уверяли, например, что возвышение Клейнмихеля объяснялось услугами, какие оказывала любовницам царя жена этого типичного деятеля николаевского царствования: госпожа Клейнмихель выдавала будто бы за своих незаконнорожденных младенцев государя. Впрочем, для возвышения Клейнмихеля были и другие основания: в его доме жила та самая Варенька Нелидова, связь которой с императором теперь для нас несомненна. В 1842 году графиня Нессельроде писала между прочила своему сыну: «Государь с каждым днем все больше занят Нелидовой, у которой такое злое выражение лица. Кроме того что он к ней ходит по нескольку раз в день, он и на балу старается все время быть близ нее. Бедная императрица все это видит и переносит с достоинством, но как она должна страдать». Тогда, в 1842 году, для Нессельроде еще было неясно, какого характера этот роман императора. «Все общество, как каждый его член в отдельности, чувствует к императрице либо преданность, либо восхищение ее неизменной кротостью относительно

этой Нелидовой, которая постоянно у нее перед глазами и в которую [260] государь продолжает быть влюблен, не имея ее еще своей любовницей, что все-таки странно, если подумаешь, что он ходит к ней во всякое время дня. На балу, на виду у всего общества, не заботясь о том, что станут говорить, он часто к ней подходит, ужинает подле нее, с другой, выбранной им дамой».

Через три года, вероятно, и Нессельроде убедилась, что в отношениях Николая Павловича к Нелидовой не было ничего «странного». Все было очень натурально, По-видимому, эта длительная связь не мешала царственному ловеласу развлекаться и с другими дамами. Та же Нессельроде пишет сыну: «Наш хозяин (Николай Павлович) не пропустил ни одного маскарада; оставался там до трех часов утра, разгуливая с самою что пи есть заурядностью. Одна из этих особ, с которыми он не опасается говорить запросто, сказала твоему дяде, что нельзя себе представить всей вольности его намеков. Об этом рассказывают, и вот как, благодаря этому и еще кое-чему, утрачивается к нему уважение». Товарищем по любовным приключениям государя был Адлерберг, тот самый, которого он в детстве ударил ружьем по голове. Матушка Адлерберга была начальницей Смольного, и по городу ходили слухи, что друзья, при содействии титулованной дуэньи, искали приключений с воспитанницами графини. Позднее излюбленным местом для развратников были кулисы, и, если верить сообщению Н. А. Добролюбова, Николай Павлович «весьма часто отправлялся в уборную актрис и очень любил смотреть, как они одевались. Театральные воспитанницы (то есть хорошенькие из них) делались прежде всего достоянием его, Адлерберга и Гедеонова». А. М. Гедеонов был небезызвестный директор театра, отличавшийся самодурством и женолюбием. Такова была интимная жизнь государя. Но это не мешало Николаю Павловичу считать себя

примерным семьянином. Однако судьба его детей была не совсем благополучна, и за столь желанным ему благообразием таилось нечто страшное и безобразное. Известный собиратель архивных материалов и, между прочим, поклонник Николая I П. И. Бартенев записал у себя в памятной книжке: «Не мудрено, что первенец Николая Павловича не мог иметь твердого характера. Он долго носился с мыслью устранить его от престолонаследия... Александр Николаевич не мог с ним быть искренним точно так, как и брат его Константин, который [261] в разговоре со мной в Крыму вспоминал с умилением о своей матери и никогда ни слова об отце. Между тем Николай Павлович — чадолюбивый отец. Я спросил его внучку Елену Григорьевну Строганову, как мог государь так неудачно выдать своих дочерей. «Он предоставлял им свободу выбора, — ответила она. — Мать моя и сестра ее Александра обе влюбились; в принца Гессенского, и вторая из них вышла за принца. Это такой человек, что нынешней императрице; Марии Федоровне крайне неприятно, когда при пей заговорят об этом ее родном дяде... Ольгу Николаевну, влюбленную в князя А. И. Барятинского, отец насильно выдал за наследника вюртембергского престола, и она была уже совсем несчастная, так как супруг ее, король, предан был греху содомскому. Из четырех сыновей только один младший, Михаил Николаевич, окруженный любившими его сыновьями, помер спокойно в Каннах. Старший его брат окровавил стогны града и собственный дворец; второй, Константин, лишился языка и перед смертью мычал в Павловске; третий, Николай, одиноко страдал идиотом и в разъезде с женой умер в опустелой Алупке. Ни жена, ни двое сыновей не приезжали к нему».

VII

Хотя Николай Павлович Романов и тратил время на маскарады, ухаживание за фрейлинами и нескромные забавы

среди воспитанниц театрального училища, все эти приключения нисколько, по-видимому, не занимали его души. Все это казалось ему невинным развлечением. Он всегда помнил, что он — монарх. Ему досталось после брата огромное наследство — многомиллионная Россия, ее военное могущество и ее слава. Но «коронованный Гамлет» оставил после себя не только престол самодержца, но и кое-что другое — ужасный заговор недовольных своей судьбой крепостных мужиков и два конституционных государства — Польшу и Финляндию, противоестественно связанных с русской самодержавной монархией.

Николаю Павловичу было над чем задуматься. Заговор, правда, он раздавил, мятежников повесил и сослал на каторгу; крепостных мужиков усмирял розгами и кнутом; но что ему было делать с Финляндией и Польшей? На Финляндию еще можно было махнуть [262] рукой. Это — чужое и случайное. Иное дело — Польша. Тут нечто старое, знакомое, родственное, братское и в то же время глубоко враждебное, надменное и оскорбленное. И что делать ему, самодержцу, с этой конституцией? С этими гордыми и строптивыми шляхтичами, которых он иронически называл «депутатами»? К несчастию, в Варшаве сидит старший брат Константин, женатый на польке. И он, Николай, как младший, должен быть с ним почтителен, хотя тот, с своей стороны, уже давно полушутливо обращался с ним как с монархом, когда еще он был великим князем и когда не было даже объявлено, что он наследник. Теперь Николай — царь, по трудно найти надлежащий тон по отношению к этому отказавшемуся от престола брату. Николай Павлович ненавидел всякие конституции, но он гордился тем, что чтит закон. Ему казалось, что он его чтит. Он думал, что не надо давать конституции, но ежели она дана, не следует ее нарушать. Вот почему он осуждал Карла X, когда тот, вопреки

присяге, издал ордонансы, отменявшие конституционные гарантии.

Так и с Польшей. Конечно, очень неприятно иметь дело с какими-то «депутатами», но ничего не поделаешь: приходится расхлебывать кашу, которую заварил покойный брат Александр. В одном из писем к Константину Николай Павлович писал: «Полезно, чтобы эти депутаты (аминь, аминь, рассыпься) присмотрелись к нам и привыкли к мысли о единстве нации и армии». Депутаты, разумеется, к этой мысли не привыкли, и всем известно, что из этого вышло.

Конфликт с Польшей осложнялся тем, что посредником являлся брат. Константин Павлович был, пожалуй, в иных случаях более жесток и груб, чем Николай, но он все-таки, как бывший масон, прошел известную идейную школу и, окруженный польским влиянием через жену, считал долгом отстаивать интересы Польши, как он их понимал. Первое недоразумение между братьями возникло по поводу следствия и суда над декабристами. Николай полагал, что он расправой над мятежниками дал «пример судебного процесса, построенного почти на представительных началах, благодаря чему перед лицом всего мира было доказано, насколько паше дело просто, ясно, священно».

Брат Константин, оказывается, был иного мнения. В Петербурге не было законного суда, ибо не было ни [263] защиты, ни гласности. Такой суд невозможен в Польше. Применение такого судопроизводства в Варшаве равносильно «ниспровержению всех конституционных идей». Николай Павлович согласился с доводами брата не без досады. Но он считал своим долгом исполнить хартию 1815 года.

Надо было короноваться польской короной. Это раздражало Николая Павловича. Коронация имеет смысл, если

признается, что власть — «божественного происхождения, но всякая конституция предполагает, что источник власти сам народ, а вовсе не какое-то божественное начало. Зачем же тогда короноваться? Но если этот обряд нужен, то по крайней мере надо сделать его как можно проще. «Чем меньше будет шутовства, тем это будет лучше для меня», — говорил император. Польский вопрос был самым мучительным вопросом царствования Николая. Он вскоре убедился, что поляки вовсе не склонны удовлетвориться конституцией 1815 года. Они явно мечтали о присоединении иных областей — прежде всего Литвы. В этом смысле покойным Александром были сделаны некоторые обещания, правда, очень сдержанные и неопределенные.

Николай Павлович в этом пункте мыслил как бабушка Екатерина, которая писала Гримму по поводу мнения прусского министра Герцберга: «Эта скотина заслуживает, чтобы его порядком побили, у него столько же познаний в истории, как у моего попугайчика... Он не знает, что не только Полоцк, но и вся Литва производила все дела свои на русском языке, что все акты литовских архивов писались на русском языке и русскими буквами... До XVII века не только в Полоцке, но и во всей Литве греческое исповедание было господствующим... Глупый государственный министр... Осел».

Такого же мнения был и Николай Павлович, поэтому, естественно, притязания поляков казались ему дерзостью. Вскоре он убедился, что польские тайные общества преследовали не столько цели народоправства, сколько самого крайнего национализма.

«Я должен был бы перестать быть русским в своих собственных глазах, — писал Николай брату, — если бы я вздумал верить, что возможно отделить Литву от России в тесном смысле этого слова».

Споры между братьями по этому поводу приобрели характер весьма запальчивый. [264]

«Я был, есть и буду, пока буду жив, русским, но не одним из тех слепых и глупых русских, которые держатся правила, что им все позволено, а другим ничего. Матушка наша Россия берет добровольно, наступив на горло, — эта поговорка в очень большом ходу между нами и постоянно возбуждала во мне отвращение». Но Николай был тверд в своем мнении. «Пока я существую, — опять пишет он брату, — я никоим образом не могу допустить, чтобы идеи о присоединении Литвы к Польше могли быть поощряемы так как, по моему убеждению, это вещь неосуществимая и которая могла бы повлечь за собой для империи самые плачевные последствия».

Только в мае 1829 года совершилась в Варшаве коронация Николая. Когда в королевском замке, в зале Сената, император возложил на себя корону и, приняв в руки державу и скипетр, принес присягу, архиепископ-примас провозгласил троекратно: «Vivat rex in aeternum!» Сенаторы, купцы и депутаты воеводств хранили при этом гробовое молчание. Проницательные люди тогда же поняли, что обряд коронования оказался, как и предполагал Николай, бессмысленным фарсом.

После дипломатической поездки в Берлин царь возвращался в Россию через Варшаву. Недалеко от Красностава, за одну станцию до знаменитых Пулав, где неоднократно очаровывал польских дам и магнатов обольстительный Александр, явился к императору Николаю какой-то человек приглашать его остановиться в поместье княгини Чарторижской, матери Адама. Посланный был в ненавистном Николаю фраке; царь, с удивлением его осмотрев с головы до ног, отказался от посещения Пулав. При переезде через Вислу, на другом берегу царя опять встретило посольство. На сей раз явилась

сама старуха княгиня. «Государь, — рассказывает очевидец, — стоя, несмотря на палящие лучи солнца, без фуражки, извинялся тем, что не может медлить в пути, так как цесаревич ожидает его на ночлеге. Старуха, которая имела вид настоящей сказочной ведьмы, продолжала настаивать и на повторенный отказ сказала: «Ах, вы меня жестоко огорчили, и я не прощу вам этого вовек!» Государь поклонился и уехал». Очевидно, что новый царь не склонен был к тому дипломатическому флирту, каким занимался когда-то император Александр. [265]

Ровно через год в Варшаве был открыт сейм. Он не собирался пять лет. Цесаревич Константин, как всегда непоследовательный, на этот раз был против созыва сейма и называл его громко, раздражая польских патриотов, «нелепой шуткой».

Но «нелепая шутка» была все-таки разыграна. Николай произнес тронную речь, которую сейм встретил холодно. Поляки поняли, что о воссоединении западных областей с Польшей не может быть и речи. Сейм, однако, не был распущен, несмотря на значительную оппозицию.

Но польские националисты не были удовлетворены создавшимся положением. Император думал, что он безупречен, как конституционный монарх. Нет, он не последует примеру Карла X. Нельзя безнаказанно нарушать клятвы, данные всенародно. 30 июля император принял французского поверенного в делах барона Бургоэна. Этот барон в своих записках воспроизводит свой разговор с Николаем. Русский царь был взволнован сообщениями о парижской революции.

— Что произойдет, если Карла Десятого свергнут? Кого посадят на его место? Не будет ли во Франции республики?

— Нет признаков, чтобы думали о республике, — сказал Бургоэн.

Они гадали о возможном будущем.

— Станем по крайней мере надеяться, что монархическое начало будет спасено, — повторял несколько раз Николай Павлович.

Собеседники стали перебирать возможных претендентов на трон — герцога Ангулемского, герцога Бордоского...

Упорный бой королевской гвардии восхищал царя.

— Молодцы ваши королевские гренадеры! — говорил он с искренним восторгом.

В начале августа пришло известие, что королем Франции провозглашен герцог Орлеанский — Людовик-Филипп. Николай Павлович негодовал. Как! Помимо прямого наследника завладевает престолом этот сомнительный представитель королевского дома с репутацией к тому же демократа и либерала! Под первым впечатлением от этого известия император отдал запальчивый и странный приказ кронштадтскому военному губернатору. Все французские корабли, поднявшие трехцветный флаг вместо белого, немедленно должны быть [266] изгнаны из русской гавани. И вновь прибывшие суда не смеют войти в Кронштадтский порт под непристойным трехцветным флагом. В них надо стрелять, если они рискнут все-таки войти в наши воды. Это был жест во вкусе императора Павла. Но Николай был благоразумнее отца. Императору пришлось отменить свой приказ после разговора с Бургоэном, который не замедлил явиться к разгневанному царю.

— Принцип легитимизма — вот что будет руководить мною во всех случаях, — сказал царь с театральной торжественностью.

Подойдя к столу, он ударил по нему кулаком и в гневе воскликнул:

— Никогда, никогда не могу я признать того, что случилось во Франции!

— Государь! — будто бы возразил Бургоэн. — Нельзя говорить «никогда». В наше время слово это не может быть произносимо: самое упорное сопротивление уступит силе событий.

В конце концов, если верить этому хитрому французскому дипломату, Николай Павлович стал менее строптив и запальчив, Бургоэн недвусмысленно дал понять императору, что в крайнем случае Франция не станет уклоняться от войны и что грозные окрики не испугают ее. Он даже имел дерзость намекнуть, что в случае новой коалиции демократическое правительство будет искать поддержки у народов. Николай вынес эту дерзость. Они стали мирно обсуждать параграфы новой конституции.

— Если бы, — сказал император, — во время кровавых смут в Париже народ разграбил дом русского посольства и обнародовал мои депеши, все были бы поражены, узнав, что я высказался против государственного переворота, удивились бы, что русский самодержец поручает своему представителю внушить конституционному королю соблюдение учрежденных конституций, утвержденных присягой.

Однако восстание в Брюсселе снова напомнило Николаю, что ему, самодержцу, следовало бы, по принципу Священного союза, вмешаться в это дело. Но в это время не на шутку перепуганный Константин Павлович стал писать царю письма с мольбой не впутываться в эту опасную историю. О новой коалиции не может быть и речи. «Я сильно сомневаюсь, — писал Константин Павлович, — чтобы в

случае, если бы произошел [267] второй европейский крестовый поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 1814 и 1815 годах, мы встретили бы то же рвение и то же одушевление к правому делу. С тех пор сколько осталось обещаний, неисполненных или же обойденных, и сколько попранных интересов! Тогда, чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались содействием народных масс и не предвидели, что рано или поздно оружие могут повернуть против пас самих».

Его утешала мысль, что зато в Польше все спокойно. Он не подозревал, что в Варшаве кипит подпольная работа, что польские патриоты мечтают связать свое национальное дело с лозунгами европейской революции. Он ничего этого не замечал, усыпленный своей морганатической супругой, светлейшей княгиней Лович{141}.

Николай был менее доверчив. И Европа, и Польша его очень беспокоили. Вообще было много неприятностей. А тут еще случилась холера. Царь поехал в зараженную Москву и посетил холерные госпитали. Иным это показалось чем-то героическим.

На обратном пути, в Твери, чтобы показать свое уважение к законным правилам, царь одиннадцать дней сидел в карантине. С ним был Бенкендорф. От скуки граф подметал в саду дорожки, а сам государь стрелял ворон.

А между тем по приказанию Николая Павловича началась «на всякий случай» мобилизация. Этих приготовлений к войне вовсе не скрывали. Однако, как известно, Николаю пришлось признать отделение Бельгии от Голландии. Россия оказалась совершенно изолированной. В это время Николай Павлович составил особую записку, которую сам назвал «исповедью». В этой записке царь жалуется, что Европа не

поддержала его протеста против «подлой июльской революции»; он ждет борьбы, которая должна разразиться «между справедливостью и силами ада».

Двадцать пятого ноября 1830 года Николай Павлович убедился из донесения цесаревича Константина, что «подлая революция» и «силы ада» заявили о себе в пределах его собственной империи. В ночь на 17 ноября в Варшаве был разграблен арсенал, и вооруженные повстанцы ворвались во двор Бельведерского замка. Цесаревич с трудом бежал из Варшавы. За ним последовали [268] русская военная часть и некоторые польские полки. Станислав Потоцкий и еще несколько генералов и министров пали жертвой возмутившейся толпы. В Варшаве, как известно, тотчас же началось междоусобие: временное правительство князя Адама Чарторижского и князя Любецкого тщетно пыталось ввести революцию в русло государственности, пытаясь сохранить связь с Россией. Одержало верх крайнее движение, во главе которого стоял Лелевель. Потерявший голову цесаревич разрешил польским войскам, бывшим при нем, вернуться в Варшаву, а сам с русской армией передвинулся к границам России.

Николай Павлович по-своему понял смысл событий. 3 января он писал Константину: «Кто из двух должен погибнуть, — так как, по-видимому, погибнуть необходимо, — Россия или Польша? Решайте сами».

Дибич повел войска на мятежников. 13 февраля он разбил поляков наголову около варшавского предместья Праги. Повстанцы отступили в город. Дибич почему-то не использовал своей победы, и Николай с ужасом, видел, как мятеж распространяется по всему Западному краю. 14 мая при Остроленке Дибич одержал вторую значительную победу над поляками. Через несколько дней наш главнокомандующий умер от холеры, и вместо него был

назначен Паскевич. Только 4 сентября 1831 года Николай Павлович получил наконец известие о взятии Варшавы после двухдневного штурма.

Западная Европа, особенно Франция, разжигала всячески национальные притязания поляков. Так как польским движением руководил преимущественно средний буржуазный и шляхетский классы, то естественно, что эта революция не вызывала особенного сочувствия у крестьянства и городских рабочих. В атом была ее слабость. Больше всего патриоты-повстанцы были заинтересованы в расширении пределов своего царства и в национальной независимости. Это был, по представлению Пушкина, «домашний, старый спор, давно уж взвешенный судьбой...»{142}. Русское дворянство сочувствовало карательной политике Николая. Император торжествовал, что на сей раз он нашел поддержку своей программы. Русские патриоты понимали польский мятеж как войну наших западных соседей за политическую гегемонию. Тютчев, например, думал, что взятие Варшавы есть торжество русской национальной [269] идеи, а не личной воли императора. По его убеждению, «не за коран самодержавья кровь русская лилась рекой». Обращаясь к польскому народу, поэт говорит:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судьбы свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как Феникс, возродится в нем{143}!

Но сам Николай Павлович Романов, едва ли, кстати сказать, читавший эти стихи Тютчева, конечно, ни о какой «общей свободе» не помышлял, усмиряя мятежников.

Двадцать первого февраля 1832 года был издан так называемый Органический статут, коим уничтожалась польская конституция. Паскевич прислал царю вместе с знаменами польскую конституционную хартию, и Николай приказал ее хранить в Оружейной палате как исторический курьез. С этого времени систематически умалялись все еще уцелевшие национальные привилегии польского общества. Николай воспользовался недовольством крестьянского населения шляхтой и, чтобы привлечь его на сторону петербургского правительства, учредил в 1840 году так называемые «инвентарные комитеты», которые, определяя норму крестьянских повинностей, облегчили до некоторой степени условия крепостной зависимости в Западном крае. Вместе с тем, однако, началась русификация Польши, которая проводилась грубо не в меру ревностными чиновниками.

VIII

Вступая на престол Российского государства, Николай должен был считаться с теми политическими идеями, которые занимали его предшественников. Одна из этих идей — необходимость для великодержавной России свободного выхода из Черного моря, иными словами — овладения Константинополем, — была самой трудной, ответственной и мучительной. Это стремление русского империализма к распространению своего влияния на Южную Европу обозначилось с достаточной отчетливостью [270] еще при Петре Великом, который и завещал будущим императорам осуществить эту обширную и сложную политическую программу. Трудность этой программы заключалась в Том, что Западная Европа издавна ревниво следила за каждым движением нашего государственного кормила, направляющим Россию к берегам Босфора. Екатерина Великая немало сделала, как известно, для осуществления этой части нашей империалистической

программы. Турция была отодвинута от наших пределов и впервые реально почувствовала, что ее база в Европе не так уж прочно обеспечена. При Александре I мы, казалось, легко могли бы овладеть Константинополем. Наполеон, по-видимому, ждал этого шага с нашей стороны и, может быть, не стал бы спорить до времени по этому пункту, но душевное состояние «коронованного Гамлета» было таково, что решиться на этот шаг он не мог. Даже восстание Греции, как известно, не понудило его решить эту политическую проблему. И свободу христианской страны он принес в жертву Принципу легитимизма. Очевидно, впрочем, что объективные реальные исторические условия, в каких находился тогда русский империализм, не соответствовали этой грандиозной программе. В самом деле, надо ведь было не только завоевать Константинополь, но предъявить что-то миру в доказательство нашего права на этот ключ к мировой гегемонии. Вывоз украинской пшеницы не мог сам по себе оправдать нашей власти над Южной Европой. Нужны были более значительные материальные и духовные причины для того, чтобы все поверили в право России на такое исключительное место в мире.

Император Николаи не был романтиком. Его не соблазняла мечта о всемирности. Он хотел сохранить империю, но он вовсе не желал дальнейшего развития ее государственности. Мечта о всемирном владычестве или по крайней мере мечта о мировой гегемонии заключает в себе нечто опасное и даже «революционное» с точки зрения последовательного консерватора. Петр Великий и Наполеон в каком-то смысле были «революционерами», и оба делали свое историческое дело, стремясь выйти за пределы национального государства. Николай, напротив, хотел только одного — задержать во что бы то ни стало поступательный ход истории. Но государство или должно развиваться и расширять [271] сферу своего влияния, или оно должно умаляться и падать. Неподвижным

оно не может быть. Драма Николая заключалась в том, что ему, несмотря на его удивительную твердость, последовательность и убежденность, не удалось сохранить империи, как национального государства, в рамках старого порядка. Под конец царствования он пришел к печальному для него сознанию, что его система оказалась негодной и самоубийственной. Но к этому сознанию он пришел не сразу, ибо некоторые события внушали ему надежду на возможное благополучие нашего государственного бытия.

Итак, хотя Николаю вовсе не хотелось вести государство по страшным путям империализма, он, невольно понуждаемый традицией и реальными интересами некоторых социальных групп страны, стремился упрочить наше положение на Востоке, закрепив за Россией берега Черного моря. Ему приходилось думать о наследстве «больного человека», то есть Турции. Вместе с тем, пользуясь тем привилегированным положением, какое занимала Россия под конец царствования Александра, Николай опекал по-своему Грецию, Сербию и Дунайские княжества, зорко наблюдая за тем, чтобы революционная зараза не проникла в малые балканские государства.

Тут начинались такие противоречия, из коих выйти благополучно было мудрено. Турция худо исполняла условия Бухарестского мирного трактата. Ее войска, вопреки ему, все еще были расположены в пределах дунайских княжеств; она по-прежнему оспаривала наши привилегии на восточном черноморском побережье и чинила препятствия нашей торговле; одним словом, надо было воевать. Наши военные операции в Закавказье должны были ускорить столкновение с «больным человеком», который, однако, вовсе себя таковым не считал и вел дипломатическую интригу не хуже любого «здорового» европейского государства.

Нет надобности напоминать все этапы наших отношений с Турцией. В конце концов Николаю пришлось вмешаться в греко-турецкий конфликт. Меттерних был очень задет политикой Николая в этом вопросе. Нет ли здесь в самом деле нарушения принципа легитимизма? Николай Павлович, человек прямолинейный, недоумевал, как ему быть. Пришлось, однако, волей-неволей [272] поддерживать Грецию, потому что невозможно было отказаться вовсе от нашего участия в этом конфликте. Англия легко могла вырвать у нас наши права на политическое влияние среди народов Балканского полуострова. Николай считался и с «Петербургским протоколом» 1826 года. Ведь на другой день после его подписания был послан Турции ультиматум, результатом чего явилась Аккерманская конвенция. Николай оказался тогда в полуневольном союзе с Англией и Францией. Это было закреплено в Лондоне в июне 1827 года. В конце августа произошла Наваринская битва, где соединенный русско-французско-английский флот разбил и уничтожил турецкую эскадру, что вызвало негодование австрийского кабинета. Но у Николая поело Навариискои битвы созрел план наступления на Турцию. Наши успехи в борьбе с Персией, увенчавшиеся выгодным для нас договором в Туркманчае{144}, поддерживали в Николае надежду на благоприятный исход и новой турецкой кампании. 14 апреля 4828 года был опубликован манифест о войне с Турцией. Эта кампания велась для нас успешно на азиатском театре военных действий. Паскевич взял ряд крепостей и между прочим Каре. На Балканах дело обстояло не так блестяще. Обнаружились многие слабые стороны нашей военной системы. Однако с назначением Дибича дело пошло лучше. В июне сдалась Силистрия, в начале августа — Адрианополь. В это время на Кавказе Паскевич взял Эрзерум.

Само собой разумеется, что с определившимся нашим решительным успехом вся Европа заволновалась, и Николай

убедился, что не только Австрия, но и союзники по делу освобождения Греции — Англия и Франция — ревниво следят за нашим движением к Константинополю. Адрианопольский мир, в силу которого признавалась внутренняя независимость Греции, а также восстанавливались права Молдавии, Валахии и Сербии, был самой высокой точкой международной политики Николая. Этот успех внушал императору уверенность в своей мощи. Он как будто забыл о том, что ему пришлось иметь дело с «больным человеком», и он воображал, что, независимо от качеств противника, в конечном счете за империей обеспечена победа. Он был удивлен, когда услышал предостерегающие голоса иностранных дипломатов, которых поддерживал наш собственный министр иностранных дел Нессельроде, этот [273] загипнотизированный Меттернихом человек, чья политика была всегда предательской по отношению к Рое сии, Николай не прогнал Нессельроде. И на этот раз мы не взяли Константинополя. Но все же Адрианов польский мир был нашей удачей и едва ли не единственной удачей нашей иностранной политики в царствование Николая. Прочие наши «удачи» и победы были «пирровы» победы, как, например, взятие Варшавы и разгром Польши в 1831 году.

С этого времени начинается собственно «николаевская эпоха». Анна Федоровна Тютчева называла Николая Павловича «Дон-Кихотом самодержавия». Увы! Эта умная женщина, кажется, на этот раз но угадала характера этого человека, или она худо представляла себе дивный образ Алонзо Доброго — «рыцаря Печального Образа». Искренняя и твердая убежденность Николая Павловича в том, что наилучшая форма государственного устроения есть абсолютизм, вовсе не была, однако, похожа на тот высокий романтизм, каким была проникнута душа Дон-Кихота, и если позволительно назвать поступки и решения Николая «донкихотством», то лишь в низком и вульгарном

понимании этого слова. Государственная твердость Николая была похожа на безрассудное упрямство, и это — естественно, ибо «самодержавие», которое охранял этот монарх, было для него принципом легитимизма, одним из консервативных начал, необходимых будто бы Европе, но вовсе было лишено какого-нибудь глубокого смысла и внутреннего содержания. Ему было все равно, что охранять — русское самодержавие, или австрийскую прогнившую насквозь и лживую монархию, или даже турецкого султана, — лишь бы «охранять». Это его упрямство в самом деле иногда походило на сумасшествие, но не всякий человек, утративший разум, похож на святого безумца Дон-' Кихота.

После наших успехов на Балканах Европа с ненавистью и завистью следила за каждым жестом императора Николая, но он не сразу понял то положение, в которое он ставил себя и Россию. А между тем злые интриги, направленные против русских, были очевидны. Прежде всего хотели умалить наше влияние на Балканах, особенно в Греции. По Лондонскому договору 1832 года на греческий престол был посажен шестнадцатилетний баварский принц Оттон, и регентство [274] повело тотчас же непристойную политику по отношению России.

Были и другие смешные неудачи в дипломатии Николая. Трудно представить себе что-нибудь более глупое и позорное, чем, например, вмешательство Николая в турецкие дела, когда этот мнимый Дон-Кихот во имя того же легитимизма ринулся защищать султана от восставшего на него Мегмета-Али. Бескорыстию Николая не поверила ни Европа, ни даже сама Турция. В такой политике не было ни бескорыстия, ни корысти, а одна только недостойная глупость.

Если Священный союз, созданный Александром, был не лишен некоторого пафоса, по крайней мере в душе романтического императора, то новый охранительный союз,

затеянный Николаем, был окончательно пуст и прозаичен. Между Россией, Австрией и Пруссией в 1833 году была заключена конвенция, направленная по существу не против каких-нибудь внешних врагов, а исключительно против народов или, как думал Николай, против революции. Державы, «по зрелому обсуждению тех опасностей, которые продолжают угрожать порядку, установленному в Европе публичным правом и договорами, в особенности договорами 1815 года, единодушно решили укрепить охранительную систему, составляющую незыблемое основание их политики».

Действия этого союза были отвратительны. Сербия, получившая после Адрианопольского мира независимость, фактически была еще стеснена Турцией, и Николай, по соглашению с союзниками, не придумал ничего лучшего, как послать туда барона Рикмана, который грубо учил свободолюбивых сербов, как они должны чтить самодержавного Николая и... высокую Порту. Такого рода дипломатия не способствовала укреплению нашего авторитета на Балканах. И все прочие наши дипломатические шаги того времени были не лучше миссии наглого барона.

До 1839 года кое-как держался наш союз с Австрией и Пруссией. 'Наконец Меттерних, воспользовавшись новыми неурядицами в Турции, предложил устроить в Вене конференцию из пяти держав для обеспечения «независимости и целости» Турецкой империи, то был прямой вызов России, и Николай отказался участвовать на конференции. Через год. однако, пришлось [275] участвовать в Лондоне на совещаниях по редкому вопросу. Лондонская конвенция 1841 года окончательно похоронила русскую дипломатию, претендовавшую на преобладание в вопросах восточной политики. Только такой лакей Австрии, как Нессельроде, мог видеть в Лондонской конвенции «крупную» победу русской дипломатии».

В сентябре 1843 года в Греции вспыхнула революция, свергнувшая правительство Оттона. Николай, вместо того чтобы радоваться падению враждебного России правительства, немедленно отозвал из Греции нашего посла. Смешнее и печальнее всего то, что в конце концов пришлось все-таки учредить посольство при новом правительстве, но в это время Англия и Франция уже внушили грекам уважение к своему политическому авторитету, и Россия осталась в положении менее выгодном. Летом 1844 года Николай Павлович, забыв свою гордость, поехал сам в Лондон к королеве Виктории. Результатом этой поездки было решение «удерживать христианские народности в покорности султану». Воистину, «коран самодержавия» был для Николая Романова святыней, и об этом не мешало бы напомнить его апологетам, которые были склонны в нем видеть «христианского рыцаря». Этот «рыцарь» даже в политике Фридриха-Вильгельма IV усмотрел признаки либерализма и все свои надежды возложил на Австрию. Но и здесь оп потерпел неудачу. Ему даже не удалось выдать замуж великую княжну Ольгу за австрийского эрцгерцога Стефана. Католики мстили за репрессии Против католической церкви в русской Польше.

Несмотря на все эти частные неудачи политики Николая Павловича, огромное здание русской монархии все еще внушало Европе известное почтение. Император, однако, не совсем был доволен своей судьбой и положением дел в Европе. Домашние дела также складывались не совсем удачно. Не странно ли? Он, Николай Павлович, честный человек, оп источник власти; от него исходят все мероприятия, а между тем — куда ни посмотришь — везде неустройство, беспорядок, казнокрадство, взятки... Николай Павлович изъездил всю Россию, и везде одно и то же. На окраинах еще хуже, чем в центре. «Нельзя не дивиться, как чувства народной преданности к лицу монарха не

изгладились от того скверного управления, какое, сознаюсь к моему [276] стыду, так долго тяготеет над этим краем», — писал император, посетив Закавказье.

Немало было и личных неприятностей. Во время путешествия по России, по дороге из Пензы в Тамбов, опрокинулась государева коляска, и царь сломал себе ключицу. С этого времени здоровье вообще стало изменять Николаю Павловичу, и, главное, появилась нервная раздражительность. Такие истории, как холерный бунт на Сенной площади в Петербурге или пожар Зимнего дворца{145}, когда погибло немало ценностей и важных документов, волновали царя. После пожара, каждый раз при виде огня или почуяв запах дыма, Николай Павлович бледнел, у него кружилась голова и он жаловался на сердцебиение. Особенно плохо он себя чувствовал в 1844 — 1845 годах: у него болели и пухли ноги, и врачи боялись, что начнется водянка. Он поехал лечиться в Палермо. На обратном пути, заехав в Вену, он говорил Меттерниху: «Пока живы вы, государство продержится. Что будет, когда вас не станет?..» Легко представить себе, как иронически улыбался Меттерних, когда русский император удалился из Вены. У Меттерниха за пазухой всегда был камень, и он, вероятно, предвкушал тот час, когда он освободится от необходимости таить от русского царя свои истинные намерения.

Весной 1847 года у Николая Павловича начались сильные головокружения и приливы крови. Он мрачно смотрел на свою личную жизнь, на будущее России и на судьбу Европы. Умерли многие деятели его царствования — князь А. И. Голицын, М. М. Сперанский, А. Х. Бенкендорф.

Двадцать второго февраля 1848 года курьер привез Николаю Павловичу чрезвычайное известие. В Париже революция. Людовик-Филипп бежал. Провозглашена республика. Падение этого «короля-узурпатора» вызвало у царя

смешанное чувство иронии и презрения. Но самый факт революции внушал ему отвращение. Французскому поверенному в делах Николай сказал, что Февральская революция — «заслуженное возмездие Июльской монархии». Дипломатические сношения с Францией были прерваны.

А между тем Февральская революция не ограничилась пределами Франции. Приходили вести одна Другой ужаснее. Страшный гнев овладел Николаем Павловичем. Тогда 14 марта 1848 года был издан знаменитый [277] манифест. «После благословения долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован новыми смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшею по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся наконец и союзных нам империи Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам вверенной России. Но да не будет так. По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь Бога всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашею Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших» — и т. д. Манифест оканчивался словами: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог».

Как будто в ответ на манифест русского царя Национальное собрание в Париже вотировало резолюцию, где между прочим было сказано, что Франция будет поддерживать «братский союз с Германией, восстановление независимой и свободной Польши, освобождение Италии».

С этого времени Николай Павлович считал своим долгом вмешиваться во все европейские дела. Наина дипломатия стала нервной, мнительной, запальчивой и судорожной. Ввиду волнений, возникших в придунайских княжествах, турецкие войска вошли в их пределы и заняли Бухарест. Тогда и Николай Павлович двинул внушительные силы в Молдавию и Валахию. Это вызвало протест Англии. Последствием нашей политики было неустойчивое устройство придунайских княжеств. Они попали в двойную зависимость от Порты и от России, и больной вопрос этим вовсе не был разрешен.

В монархии Габсбургов дело обстояло, по представлению Николая, очень худо. Меттерниху пришлось бежать из Вены, и царь писал ему: «В глазах моих исчезает вместе с вами целая система взаимных отношений, мыслей, интересов и действий сообща...» Он не доверял новому австрийскому правительству, но это не помешало ему отпустить из русского казначейства [278] крупную денежную сумму для подавления возникшего тогда в Италии освободительного движения. Ломбардия оставалась за Австрией по милости русского царя. В июне, к удовольствию Николая Павловича, была разбита чешская национальная революция. В это время австрийский престол занял Франц-Иосиф. Национальное освободительное движение в Венгрии было подавлено при помощи русских штыков. Николай послал за Карпаты стотысячную армию, и после ряда сражений, не всегда для нас удачных, в конце концов венгры были раздавлены в угоду Габсбургской монархии.

Везде и всюду появление русских знамен означало торжество реакции. Николай Павлович всеми силами старался помешать развитию либерального движения в Германии. Последствием этой слепой, страстной и неистовой политики Николая была ненависть пародов к России. Но этого мало. Австрийское и прусское правительства, обязанные Николаю

своим существованием, с тревогой и завистью следили за ролью России на Востоке, страшась ее гегемонии. Англия и Франция также не скрывали своей вражды к русской монархии. Николай пристально следил за тем, что делалось в Париже. Разгром генералом Кавеньяком июльских баррикад пришелся ему по вкусу, и он не упустил случая передать усмирителю свой сочувственный привет. Провозглашение в декабре 1852 года Людовика-Наполеона Бонапарта императором французов не очень понравилось царю, но это все же было лучше, чем республика. Он как-то «полупризнал» нового императора. И это «полупризнание» оскорбило и раздражило самолюбивого Бонапарта.

Все это подготовило почву для войны России с Европой. Поводом для этого конфликта явилось наше столкновение с Нортон по вопросу о привилегиях православных в Палестине. Турки, чувствуя поддержку Англии и Франции, не соглашались на уступки. Николай, как известно, занял дунайские княжества восьмидесятитысячной армией, требуя исполнения договоров. Ему скоро пришлось убедиться, что у него нет в Европе ни единого союзника. Надо отдать ему справедливость, что у него явилась тогда смелая мысль провозгласить действительную независимость молдаво-валахов, сербов, болгар и греков. Поднять балканские народы, придать этому движению освободительный [279] характер — это значило заручиться не только моральной поддержкой славян, но и обеспечить себе прочную военную базу. Но освободительное движение не сочеталось как-то с физиономией Николая Павловича Романова. «Карлик, трус беспримерный», по выражению поэта, граф Нессельроде объяснил цари неприличие его «революционного» замысла. Опять появились на сцене пресловутые «принципы легитимизма», и последняя возможность спасти свою честь была навсегда утрачена императором Николаем.

Россия начала военные действия. Адмирал Нахимов уничтожил на Синопском рейде турецкую эскадру, но вслед за этим появились в Черном море английские и французские корабли. 1 марта Англия и Франция предъявили России ультиматум, требуя очищения дунайских княжеств. Николай обратился к Австрии и Пруссии, предлагая подписать протокол о нейтралитете. Известно, какой бесстыдный ответ был получен от правительств, им еще так недавно поощряемых в ущерб русским интересам. Русским войскам пришлось отступить за Прут. Театр военных действий благодаря французскому десанту был перенесен в Крым. История Крымской кампании всем известна. 11 сентября 1854 года началась славная оборона Севастополя.

Царь делался все мрачнее и мрачнее. В это время один из проницательных современников писал из Москвы: «Понятно, что сбились с пути и завязли, но когда началось это уклонение? С какой поры? Как стать опять на верный путь? Пока же ясно, для меня по крайней мере, что мы стоим лишь на пороге всяких разочарований и унижений. Первая ставка нами проиграна — и проиграна безвозвратно... Разве каким-либо чудом, которого мы не заслужили, избежим мы позорной сдачи и в то же время будем стараться убедить себя в том, что в конце концов и этот исход не хуже других, причем это убеждение будет навязываться силою тем, которые с ним не согласятся».

П. А. Валуев, которого трудно заподозрить в политическом радикализме, характеризует тогдашнее нате положение как нечто весьма безотрадное и жуткое: «Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам

Семь морей немолчно плещут... [280]
Давно ли они пророчествовали, что нам

Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли и глас небес...{146}

Что стало с нашими морями? Где громы земли и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю... Друзей и союзников у нас нет... В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать под сенью официальных самохвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для уравнения боя; что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог... Сверху блеск — внизу гниль... Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде противоположение правительства народу, казенного частному. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах...»

Декабристы повешены, отправлены в Сибирь, на каторгу; туда же пошел Достоевский и петрашевцы; независимая мысль задушена цензурой; так называемые «западники» преследуются как преступники... Но, может быть, иная участь постигла тех, кто принципиально защищал самодержавие? Может быть, свободны «славянофилы»? Увы! И эти единственные ревнители царской власти гонимы при Николае не менее прочих. В чем же дело? А в том, что и эти люди, устами Хомякова, сказали в глаза царю страшную правду о его казенной России:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна{147}. [281]

И другой поэт-славянофил, Тютчев, писал в это время по поводу тогдашних событий об императоре Николае: «Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека»{148}.

Английский флот появился перед Кронштадтом. I Император Николай подолгу смотрел на него в теле-1 скоп из своего дворца в Александрии. В начале 1855 года император заболел. 18 февраля 1855 года он умер. | Все почему-то решили, что оп отравился. Трудно было представить себе, что этот гордый и самонадеянный человек может примириться с бесславной своей судьбой.

Александр Второй

Тринадцатого декабря 1825 года Николаи Павлович зайдя в комнату жены и увидев там маленького Сашу, наследника, показал ему приготовленный манифест и сказал: «Завтра твой отец будет монархом, а ты цесаревичем. Понимаешь ли ты это?» Семилетний Саша был чем-то расстроен, хныкал и, услышав строгий голос отца, заплакал горько.

Саша будущий царь-освободитель, вообще был плакса. Он часто, слишком часто плакал — то от радости, то от огорчений.

Четырнадцатого декабря, когда во дворце слышны были выстрелы и крики и простуженный Карамзин бегал в своих башмаках и чулках по приказанию императрицы на Сенатскую площадь узнавать о том, кто теперь император{149} — Сашин папа или кто-нибудь другой —

было немало причин и поводов для горьких ребяческих слез. Ни и в тот час, когда победивший революцию Николай Павлович, красный от пережитых мнений, вбежал по дворцовой деревянной лестнице, которая до пожара 1837 года вела из-под главных ворот к покоям императрицы Марии Федоровны, и увидел там изнемогавших от страха государынь, маленький Саша, бывший тут же, опять залился слезами.

Отец, прикрикнув на него и отерев ему наскоро слезы, приказал камердинеру надеть на него гусарский мундир и вынес к саперному лейб-гвардии батальону, стоявшему во дворе дворца. Этой сцены ни когда не мог забыть Александр Николаевич. В самом деле было очень страшно, когда отец передал Сашу солдатам. От этих усачей пахло водкой и потом, и они [283] громко кричали, и Саша не знал, что сейчас с ним сделают эти большие люди, казавшиеся ему опасными и непонятными, как и весь этот загадочно-пасмурный зимний день.

Александр Николаевич Романов родился в Москве в среду на Пасхе 17 апреля 1818 года, то есть почти за восемь лет до воцарения Николая. Его мать, великая княгиня Александра Федоровна, рожденная Шарлотта, принцесса прусская, обрадовалась появлению на свет этого мальчика, но вскоре ей стало грустно. «Счастье наше удвоилось, — писала она в своих мемуарах, — а впрочем, я помню, что почувствовала нечто серьезное и меланхолическое при мысли, что это маленькое существо призвано стать императором».

Мысль в самом деле не из веселых. Двести один пушечный выстрел, поздравления придворных льстецов и сладостные стихи милейшего Василия Андреевича не могли утешить догадливую прусскую принцессу. Она знала, как трудно, больно и страшно носить корону.

В своих стихах Жуковский рекомендовал младенцу «не трепетать, встречая рок суровый»:

Жить для веков в величии народном,
Для блага всех — свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать{150}...

Более точной программы царствования от авторе оды требовать едва ли разумно, но и эти «общие места» таили в себе несомненные трудности, и нет ничего удивительного, что маленький Саша, разделяя, должно быть, предчувствия матери, много плакал.

Сентиментальный Жуковский внушал своему питомцу всякие филантропические настроения, поощряя его чувствительность, и отрок проливал слезы ручьями. Однажды уехала куда-то его матушка, и разлука тотчас же была отмечена меланхолическими вздохами. Он нарвал цветов гелиотропа и просил отправить их Александре Федоровне вместе с письмом, а дневник свой в тот день начал так: «Милая моя мама и Мэри{151} уехали в Одессу. Я много плакал».

Да, он много плакал в своей жизни. Другой воспитатель Александра Николаевича, капитан Мердер{152}, был по вероисповеданию лютеранин. Он также замечал в своем воспитаннике чрезмерную нервность и впечатлительность. Его тяготили условия придворной жизни, [284] и он не раз признавался К. К. Мердеру, что жалеет о том, что «родился великим князем».

Иногда юный Александр Николаевич плакал без всякой видимой причины, но было немало и серьезных поводов для слез. Так, например, когда умер Карл Карлыч Мердер, эта смерть вызвала в великом князе потоки слез. Он рыдал, стоя

на коленях перед диваном, спрятав голову в подушки, и нелегко было успокоить потрясенного мальчика.

Когда исполнилось Александру Николаевичу шестнадцать лет, ему пришлось, по обычаю, приносить присягу как наследнику престола, и этот обряд не обошелся без плача. По выражению очевидца, московского митрополита Филарета, «величественные слезы августейшего родителя соединились с обильными слезами августейшего сына». Потом появилась мать, и тут вновь начались немецкие объятия, лобзания и слезы.

По плану Жуковского была разработана учебная программа цесаревича. Он овладел французским, немецким, английским и. польским языками. Профессора читали ему курсы истории, математики, стратегии и прочих дисциплин. Одним словом, Александр Николаевич был образован лучше и основательнее, чем его отец. Но Николай Павлович, хотя и терпел снисходительно Жуковского с его романтизмом, гуманностью и благодушием, все же позаботился о том, чтобы наследник прежде всего стал «военным человеком»{153}. И Александр Николаевич, как и все Романовы, пристрастился к смотрам и парадам, соблазненный великолепием нашей петербургской гвардии. Просвещенный капитан Мердер вздыхал по поводу этих увлечений своего воспитанника. Ему казалось вредным частое появление наследника на парадах. «Легко может ему прийти мысль, что это действительно дело государственное, и он может тому поверить».

Уже в 1826 году, будучи восьмилетним мальчуганом, Александр Николаевич лихо скакал на фланге лейб-гусарского полка, восхищая своей ловкостью императора и даже бывшего тогда на маневрах ветерана наполеоновской армии маршала Мармона{154}.

Вообще соблазнов было немало у этого впечатлительного отрока. Чего стоят хотя бы те обычные почести, которые выпадали по традиции на долю высокопоставленных особ! Если официальные и полуофициальные биографы преувеличивают ликование «народа» [285] при появлении цесаревича, все же в какой-то мере ликования были, и мальчику нравилось, что кричат «ура», махают шапками, и ему приятно было сознавать, что в честь папы и его, наследника, зажигают плошки и разноцветные фонарики.

После коронации и посещения Варшавы царская семья отправилась за границу{155}. Мать-немка внушала сыну благоговейные чувства к берлинским родственникам. При дворе Фридриха-Вильгельма III маленький Саша был окружен таким цветником всевозможных принцесс и принцев, что у пего кружилась голова: все поддерживали в нем убеждение, что он, Саша, существо необыкновенное и прелестное. Ему показывали знаменитый замок Сансуси и сады его, где разгуливал Великий Фридрих. Императрица повела мальчика помолиться над гробницей своей матери, королевы Луизы{156}, той самой, которая была влюблена в дядю Саши, императора Александра I.

И Саша долго смотрел на мраморное изваяние своей бабушки.

Возвращаясь в Россию, наследник со свитой остановился на берегу Немана, на той самой горе, с которой в 1812 году смотрел на свою великую армию Наполеон. Воспитанник Жуковского сорвал, конечно, ветку на память об этом впечатлении. «Ни Наполеона, ив его страшной армии уже нет… Так все проходит!» — сказал будущий император со слезами на глазах.

Жуковский продолжал воспитывать цесаревича. Он одобрил план занятий священника Павского, который намерен был

внушить будущему государю «религию сердца». В то время как законоучитель читал ему евангельские истории, толкуя их в духе гуманности и филантропии, сам Жуковский занимал Сашу чтением своих собственных произведений. Тогда же стали известны цесаревичу сказки из «Тысячи и одной ночи». Гуманность, романтизм, чувствительность — все это размягчало душу мальчика, но рядом с этим просыпались в нем иногда инстинкты чувственности и самомнения — черты предков, о чем свидетельствуют педагоги его высочества.

Но Романовы все были более или менее «прельстители», и Александр Николаевич не был исключением. К тому же в его характере в самом деле преобладало благодушие, и жестокости его царствования, которые многие историки старались объяснять «государственной [286] необходимостью», нередко сочетались в нем с припадками отчаяния от бессилия осуществить ту гуманную государственную программу, которая рисовалась в воображении его поэтического ментора.

Еще будучи мальчиком, на вопрос законоучителя, следует ли прощать обиды, цесаревич ответил: «Должно, несомненно, прощать обиды, делаемые нам лично, но обиды, нанесенные законам народным, должны быть судимы законами, существующий закон не должен делать исключений ни для кого». В этом ответе он как бы заранее оправдывался от обвинений, которые предъявлялись ему революционерами шестидесятых и семидесятых годов.

В 1835 году произошли некоторые перемены в учебных занятиях цесаревича. Приглашен был Сперанский читать «Беседы о законах». В этом году вдруг выяснилось, что Павский — еретик и что до семнадцати лет примерно будущий «благочестивейший» самодержец воспитывался совсем не православно. Это маленькое недоразумение

выяснил не кто иной, как знаменитейший митрополит московский Филарет. Убрали Павского и сделали законоучителем протопресвитера Бажанова{157}. При этом Николаи Павлович не стал ждать того, чтобы Саша обучился истинам веры на сей раз у несомненного протопресвитера, и поспешил сделать наследника членом Синода. На сей предмет был опубликован указ «по духовному ведомству православного исповедания». Недоставало только, чтобы Николай Павлович сделал Сашу «первоприсутствующим» Святейшего синода. Мог сделать л это. Если император Павел в своем сумасшествии считал себя главою церкви, то Николай Павлович, не склонный к мистицизму и не размышлявший на высокие темы, распоряжался, однако, высшим церковным управлением воистину как командир, с бесцеремонностью удивительной, руководствуясь исключительно интересами полицейской государственности, им утверждаемой столь последовательно. К различию вероисповеданий юный Александр Николаевич относился, по-видимому, равнодушно. На похоронах Мердера он сказал: «Я никогда не справлялся о его вероисповедании, но я знал его добрые дела, и мне не нужно было ничего более, чтобы уважать его и любить».

Согласно традиции, воспитание Александра Николаевича завершилось путешествием. Наследник исколесил [287] всю Россию. Путешественники ехали так спец по, как будто за ними по пятам гнались враги. Жуковский заметил по этому поводу, что столь торопливой обозрение России похоже на чтение одного оглавлений книги, оставшейся неразрезанной в руках ленивца{158}. Однако кое-что наследник все же увидел. В Сибири, в Ялуторовске и Кургане, он видел поселенных там декабристов. Его чувствительное сердце было растрогано! Он ходатайствовал перед отцом о смягчении их участи и Николай Павлович сократил некоторым сроки их изгнания. Это умилило Жуковского. За

время путешествия цесаревичу было подано шестнадцать тысяч просьб.

В 1838 году Александр Николаевич отправился в путешествие по Европе. В Дании цесаревич простудился и заболел. Пришлось лечиться в Эмсе. «Недуг наследника отразился на его внешности», — сообщает его биограф.

Красивый двадцатилетний юноша похудел и побледнел, взор его потускнел, он стал грустен и задумчив, в чертах лица выражалось страдание. Маркиз Кюстин{159}, доставивший немало горьких минут Николаю Павловичу своей злой книгой о России, был представлен наследнику в Эмсе. Этому маркизу понравился цесаревич. «Выражение его глаз, — пишет он, — доброта. Это в полном смысле слова — государь (un prince). Вид его скромен без робости. Он прежде всего производит впечатление человека, превосходно воспитанного. Все движения его полны грации; он — прекраснейший образец государя, из всех, когда-либо мною виденных».

Из Эмса наследник поехал в Веймар, а потом в Берлин, в нежные объятия прусских родственников. Из Берлина — в Италию. Он переезжал из города в город, наслаждался итальянским небом, силуэтами пиний и нежными далями Тосканы... Ему хотелось тишины. Он мечтал остаться один в какой-нибудь Падуе, поселиться в обыкновенной гостинице, навещать там ежедневно безмолвную капеллу с фресками Джотто, по все эти мечты были недостижимы. С ним была свита и прикомандированные к нему австрийские офицеры. Он осматривал укрепление Вероны и поле сражения австрийцев с французами в 1796 году.

В Милане семь дней подряд устраивали в честь его военные торжества, и по ночам ему снились лошади, [288] щетины блестящих штыков, бой барабанов и крики австрийской

команды… Все это было утомительно. Из Рима он писал одному из своих адъютантов: «Хотя Италия очень хороша, но дома все-таки лучше. Завтра отправляемся в Неаполь, а оттуда далее по назначенному маршруту, так, чтобы к 20 июня быть дома. О, счастливый день! Когда бы он скорее пришел!»

Надо было заехать в Вену. Из дневника княгини Меттерних, который она вела в 1839 году, мы знаем, что цесаревич почти каждый день посещал дом канцлера, «где с удовольствием проводил время, в особенности но вечерам, в небольшом избранном кружке молодых женщин и кавалеров, приглашенных нарочно для него, с которыми он забавлялся салонными играми». Вероятно, дело не ограничивалось невинными фантами. В доме Меттерниха был такой воздух, каким дышать безнаказанно едва ли было возможно. Уже один тот факт, что впоследствии Александр Николаевич никак не мог расстаться с таким австрофилом, как Нессельроде, свидетельствует с достаточной очевидностью, что petits jeux{160} Меттерниха были в самом деле «очаровательны».

Иные чары повлияли на цесаревича в Дармгатадте. Здесь он познакомился с младшей дочерью герцога Людвига II. Эта четырнадцатилетняя Мария пленила сердце цесаревича. В ней было нечто сентиментальное и романтическое. Что-то овечье было в ее кротких глазах. Поездка в Лондон и пышный прием, оказанный там Александру Николаевичу, не уничтожили в нем нежных воспоминаний. Он признавался графу Орлову, что вовсе не склонен царствовать, и, совсем как его коронованный дядя, уверял своего попечителя, что «единственное его желание — найти достойную подругу, которая украсила бы его семейный очаг и доставила бы ему то, что считает он высшим на земле счастием, — счастие супруга и отца…». Но помолвка с малолетней принцессой была отложена до весны, и только 16 апреля 1841 года

состоялся брак Александра Николаевича с гессен-дармштадтской принцессой Максимилианой-Вильгельминой-Августой-Софией-Марией. Теперь ее стали величать великой княгиней Марией Александровной.

Незадолго до помолвки князь А. Ф. Орлов, на правах [289] царского наперсника, доложил Николаю Павловичу, что гессен-дармштадтская принцесса — незаконная дочь камергера Граней. Николай, усмехнувшись, сказал: «А мы-то с тобой кто? Пусть кто-нибудь в Европе попробует сказать, что у наследника русского престола невеста незаконнорожденная!»

Николай Павлович, кажется, не очень любил сына. Ему не нравились в Саше его сентиментальность, слезливость, а главное, его ленивая апатия. Он подумывал иногда об устранении сына от престола. Однажды в параде он до того забылся, что перед всеми обругал его непристойно. «Другой раз, заехав к нему на дачу под Петергофом и застав его играющим среди дня в карты разбранился и тотчас уехал, но через короткое время вернулся и, видя, что игра продолжается, надавал сыну пощечин».

II

Когда Николай Павлович, после некоторых колебаний, решил в конце концов не отстранять от престола сына Александра, он, зная по горькому опыту, как трудно управлять государством без подготовки, заставил наследника присутствовать на заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Кроме того, наследник участвовал в секретном комитете по устройству быта крестьян. Во время поездки Николая Павловича по России цесаревич заменял своей персоной отца: ему предоставлено было высшее управление государством.

Николай Павлович всецело мог довериться сыну, потому что у будущего царя-«освободителя» в то время, то есть с 1848 до 1854 года, не было вовсе критического отношения к политической и государственной программе отца. Он был, однако, в каком-то смысле «правее» отца — по крайней мере, в крестьянском вопросе он был тогда врагом эмансипации. Он был даже врагом тех «инвентарных правил», которые были введены в Польше и до некоторой степени стесняли произвол помещиков.

Для ознакомления с военными действиями Николай Павлович отправил в 1850 году наследника на Кавказ. Путешествие было парадное, пышное, со встречами и проводами. В сущности, войны он здесь не увидел вовсе. Только в Дагестане он был свидетелем боевой схватки [290] с чеченцами. Александр Николаевич не утерпел и поскакал на своем кровном коне за цепь, через перелесье, под огнем неприятеля. Свита помчалась за ним, и князь Воронцов, ехавший в коляске, потому что его душил кашель, вынужден был тоже сесть на лошадь и тоже скакать за храбрецом, страшась, что какая-нибудь шальная пуля пробьет череп цесаревичу. Но дело кончилось благополучно, и, по представлению Воронцова, Николай Павлович пожаловал сыну Георгиевский крест{161}.

И надо сказать, что Александр Николаевич, так впоследствии страшившийся революции, в личной жизни был человеком храбрым, несмотря на свойственную ему мягкость характера и слабость воли. «Пред лицом настоящей опасности, — рассказывает в своих мемуарах П. А. Кропоткин, — Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество, и между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения, он не был трус и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил наповал первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной.

Тогда царь бросился на помощь своему подручнику. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор (я слышал этот рассказ от самого медвежатника). И тем не менее Александр II всю жизнь прожил под страхом ужасов, созданных его воображением и неспокойной совестью»{162}.

Впрочем, Петру Алексеевичу Кропоткину надлежало бы знать, что «ужас», наводивший страх на императора, не всегда был «создан его воображением»: в подпольной России, как известно, не дремали, и семь серьезных покушений могли устрашить какого угодно храбреца с железными нервами. Но, кажется, П. А. Кропоткин не угадал самого главного в этом «страхе» императора. Дело тут было не в физической опасности, мнимой или реальной, а в том чувстве надвигающейся катастрофы, которое внушает человеку безумный страх перед непонятностью грядущих событий.

Царствование Александра II все было под знаком катастрофы. Когда в феврале 1855 года умер Николай Павлович, передав сыну «команду не в добром порядке», как он сам выразился, положение России было ужасно. Если почитать мемуары и письма того времени, — они все исполнены мучительной тревоги, возмущения [291] и смятения. Принять русскую корону в час, когда вся Европа, вооруженная и озлобленная, была против России, в час, когда внутри страны, утомленной полицейским николаевским режимом, не было никакого доверия к правительству, — это ли не страшно? Это ли не ужасно?

Вера Сергеевна Аксакова, женщина неглупая, интересная, между прочим, в том отношении, что в ее личности отразился целый мир тогдашней дворянской культуры в ее славянофильском уклоне, превосходно запечатлела в своем дневнике тревогу тех трудных дней{163}. Она то и дело обращается к особе Александра II, стараясь угадать и оценить

его намерения и решения. Когда она впервые услышала, что умер Николай Павлович, она была потрясена. «Не могу пересказать то впечатление, которое произвели эти слова на всех нас. Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события... Чего ждать, что будет, как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли все прежним или даже худшим порядком или вдруг переменится все направление, вся политика? И, может быть, Бог ведет Россию к исполнению ее святого долга непостижимыми своими путями!..»

На другой день она пишет: «И точно, подтвердилось все это событие. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. Они привезли ту же весть. В Москве вчера уже все присягнули. На вопрос, какие вести в Москве, — «царь помер», — отвечал один из них. «Вчера загоняли весь народ в церковь присягать. Все церкви были отворены, казаки разъезжали по всему городу с объявлением и гнали народ в церкви». — «Что же народ желает?» — Крестьянин как-то улыбнулся и сказал: «Не знаю...» Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли наконец все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют, как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление о нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес».

А между тем продолжалась осада Севастополя, и, несмотря на мужество наших солдат, все чувствовали, [292] что его дни сочтены, что судьба готовит последнее испытание ревнителям национальной государственности. «По-видимому, то же бессмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, — писал тогда

Тютчев, — присуще и нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не — могут иметь пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все и все сплошь одурели… Известия все плохие, и чувствуется по их глупейшим бюллетеням, что они совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда с тех пор, как существует история, не было ничего подобного: империя, целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков».

А В. С. Аксакова в своем дневнике продолжала ревниво следить за всеми событиями и слухами о новом императоре. Она негодует, что негодяй Нессельроде все еще у власти, радуется, что Клейнмихель, живой символ николаевской системы, удален{164}. Ей не нравится тоже Ростовцев{165}. «Как противны его разные приказы, в которых он будто бы с простодушной, смелой и благородной откровенностью рассказывает во всеуслышание все действия, движения государя при представлении генералов, слова государя к нему, то есть Ростовцеву, с каким чувством он, то есть Ростовцев, поцеловал руку государя, как государь, сделав два шага вперед, сказал то-то, и в голосе были слезы… Потом зарыдал, потом сказал то и то, и опять в голосе были слезы, словом сказать, представил государя совершенно шутом».

В сентябре новый царь приехал в Москву. Та же В. С. Аксакова рассказывает, как брат Константин видел Александра Николаевича и что в это время болтали в народе. «Был тут также один человек (вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину), который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце. Наконец появился государь с государыней под руку. Ура кричали недружно… Государь так худ и печален, что

Константин говорит, что нельзя его было видеть без слез, он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования [293] И сверх того он также жертва воспитания этой гибельной системы, от которой не может сам освободиться. Государь кланялся не низко, как все заметили в народе. Тут Константин услыхал, как тот же подозрительный человек сказал: «Одному человеку такая честь!»

Царь из Москвы поехал к Троице. Дворовые девки были там и рассказывали В. С. Аксаковой: «Вот и государь на всех не угодит, народ его так и пушит, пушит. Вот, говорят, Севастополь отдал — приехал Богу молиться. — Они нам не хотели и рассказывать этого. Поразительно это явление, оно меня обдало каким то ужасом, страшный приговор. Он молится, плачет, а народ немилосердно произносит ему суд, как бы не благословляя его молитвы. Несчастный государь! Страшно! Что-то роковое преследует его.

Константин думает, что свободное слово в состоянии было бы искоренить зло; нет, мне кажется, теперь этого недостаточно: только совершенный внутренний переворот, полная перемена всей системы может вызвать новую жизнь, но во всяком случае и теперь и после свободное слово необходимо».

Но из Севастополя приходили мрачные известия. «И это только справедливо. — писал Тютчев, — так как было бы неестественно, чтобы тридцатилетнее господство глупости, испорченности и злоупотреблений увенчалось успехом и славой».

Наконец и нам повезло. На азиатском театре войны был взят Каре. Это позволило нам заключить в марте 1856 года не очень постыдный мир с Европой, утомленной нашим упорством.

Александру Николаевичу надо было подумать теперь о том, что делать с Россией, потрясенной и разочарованной. И сам он был потрясен и разочарован. Припоминая наружность отца, его взгляд, его величественные жесты, его уверенные интонации, он удивлялся той убежденности в своем праве на власть, какая была свойственна Николаю Павловичу.

Он полусознательно старался подражать отцу, этим его позам, величавым и грозным, но он чувствовал, что похож на актера, которому навязали неподходящую роль.

А между тем надо было ехать в Москву и короноваться. Он шел бледный, измученный под пышным балдахином, наклоняя голову в огромной сверкавшей [294] короне, изнемогая от какого-то странного чувства, похожего на стыд.

Потом вереница приемов и балов в тех великолепных залах, где, залитые золотом, двигались шуршащей толпой царедворцы, дипломаты, генералы и эти блестящие придворные красавицы, и уроды, и вереницы всевозможных князей — мингрельских, имеретинских, татарских — в их ярких одеждах, с их недавним кровавым прошлым… «И в двух шагах от залитых светом зал, наполненных современной толпой, там, под сводами, стояли гробницы Иоанна III и Иоанна IV… Если можно было предположить, что шум и отблеск всего, что происходит в Кремле, дошел до них, как бы эти мертвецы должны были изумиться.

Как действительность похожа часто на сон!» Но был и другой праздник — «народный». Это была обратная сторона царского великолепия. «Этот мнимый народный праздник был безобразен по исполнению и нелеп по замыслу. Это был дележ всевозможных яств, испорченных дождем, который их поливал в течение двух дней, и ими угощали двести тысяч человек, толпившихся в грязи и всяких отбросах».

III

Итак, мир с Европой был заключен. В царском манифесте по этому поводу было сказано между прочим: «При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утвердится и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее; да развивается повсюду и с новой силой стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сенью законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодами трудов невинных. Наконец, — и сие есть первое, живейшее желание паше, — свет спасительной веры, озаряя умы, укрепляя сердца, да сохраняет и улучшает более и более общественную нравственность, сей вернейший залог порядка и счастия».

Сентиментальность этого манифеста как нельзя лучше соответствовала характеру нового императора. «Плоды трудов невинных» — это прямо из Жуковского. Но грамотные русские люди, не избалованные вниманием [295] правительства к их нуждам и требованиям, обрадовались манифесту, ибо в нем содержался намек на внутренние реформы. Хотел или не хотел Александр; Николаевич, но все равно ему пришлось идти по тому пути, который был предуготован объективными силами истории, ее фатальной диалектикой... У Александра Николаевича Романова не было ни малейшего желания перестраивать и обновлять государственный порядок России. Он уважал, ценил и любил своего отца. Его образ был привлекателен и красив в его глазах. К го система не казалась ему дурною. Но Александр II Пыл умнее многих и многих современных ему сановником, царедворцев и представителей высшего дворянства. И он понял, что система Николая обречена на гибель». Он часто изнемогал в борьбе с ревнителями старого крепостного порядка, который он и сам готов был бы принять и

оправдать, если бы не свойственный ему здравый смысл, понудивший его освободить крестьян и отказаться от приемов николаевского управления страной. Александр II понял — и это делает ему честь, — что все равно нельзя остановить ход событий. Но он медлил с реформами, медлил поневоле, ибо вокруг него было мало людей, этим реформам сочувствующих. А между тем там, за дворцовой оградой, а иногда и внутри ее, но где-то в тени, нетерпеливые люди шептали проклятия по адресу тех, кто стоял вокруг трона «жадною толпой». «Тишина, господствующая в стране, — писал летом 1858 года один из умных современников Александра II, — меня совсем не успокаивает не потому, что я считаю ее неискренней, но она, очевидно, основана на недоразумении... Но когда приходится видеть то, что здесь делается или, скорее, не делается, — всю эту бестолковщину и беспорядочную деятельность, то невозможно не питать самых серьезных опасений. Не только никто не знает, что делается в комитете и в каком положении находится начатая задача, но никто даже не хочет этого знать... Л между тем очевидно, что ни одна реформа еще не проведена, хотя обо всем был поднят вопрос».

Александр Николаевич помнил, однако, письмо Герцена, которое он прочел еще в марте месяце 1855 года: «Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братии... Торопитесь! Спасите крестьянина от будущих [296] злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить!»{166}

Вот эти последние пророческие слова особенно запомнились. Надо торопиться, ибо в самом деле возможны кровь и злодейства. Александр Николаевич приказал доставлять ему все, что печатает за границей этот русский, ускользнувший от Клейнмихеля и Дубельта.

То было странное время, когда «неисправимый социалист» обращал свои послания не только к царю, но даже к царице Марье Александровне, как, например, 1 ноября 1858 года по поводу воспитания наследника. Благонамеренный Никитенко отметил, что это письмо «отличается хорошим тоном и очень умно». Герцену потом рассказывали, что императрица плакала над письмом.

Такие идиллические отношения между царским домом и политическим изгнанником продолжались, однако, недолго. Но любопытно, что не один Герцен возлагал надежды на Александра Николаевича. После рескрипта 20 ноября 1857 года, после открытия «комитетов» на местах «поверили» в царя весьма многие{167}. Даже «революционер» Чернышевский писал тогда в «Современнике»: «История России с настоящего года столь же различна от всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен Петра от прежних времен. Новая жизнь, теперь для нас начинающаяся, будет настолько же прекраснее, благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней, насколько сто пятьдесят последних лет были выше XVII столетия в России... Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы, счастьем — одному начать и совершить освобождение своих подданных».

Это был «медовый месяц» царя и русской интеллигенции. «Имя Александра II, — писал тогда Герцен, — отныне принадлежит истории; если б его царствование завтра окончилось, если б он пал под ударом каких-нибудь крамольников олигархов, бунтующих защитников барщины и розог, — все равно освобождение крестьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут».

В самом деле, Александр II усвоил твердо мысль, высказанную Герценом в первом его письме к нему. Надо

было во что бы то ни стало не медлить с освобождением, [297] ибо «лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу», как сказал Александр Николаевич московским дворянам, перепуганным предстоящей крестьянской эмансипацией.

Всем известно, какая сложная борьба шла вокруг подготовлявшейся реформы. Положение Александра Николаевича было трудное. Крепостники неохотно уступали свои позиции. Всем известно также, что реформа была урезана, что «выкупные платежи» и недостаточные земельные наделы связали по рукам и ногам крестьянина, но все же первый и решительный шаг был сделан.

После опубликования манифеста 19 февраля 1861 года Герцен писал восторженно: «Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их. Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки, — мы приветствуем его именем Освободителя...»

Но после этого восторженного приветствия Герцен обращается к царю с суровым предупреждением: «Но горе, если он остановится, если руки его опустятся. Зверь не убит, он только ошеломлен...»

Позднее ему пришлось сказать: «Зачем этот человек не умер в тот день, когда был объявлен русскому народу манифест освобождения...»

Но Александр II не умер 19 февраля 1861 года. Он прожил еще двадцать лет. Это была мучительная жизнь, смысл которой не так легко разгадать. Освобождение крестьян развязало тот узел, который завязан был крепко царями и который едва не задушил страну при Николае. Но когда этот узел был худо или хорошо развязан, из темной неволи вырвались до той поры неведомые силы, и буйство этих страшных сил вызвало в душе императора Александра тот испуг, который удивлял в нем П. А. Кропоткина. А между тем в 1862 году тот же Кропоткин, будучи воспитанником Пажеского корпуса, еще обожал «освободителя». «Мое чувство тогда было таково, — пишет он, — что если бы в моем присутствии кто-нибудь совершил покушение [298] на царя, я бы грудью закрыл Александра II». Кропоткин рассказывает, как однажды ему во время дежурства во дворце пришлось следовать за государем во время парада: «Флигель-адъютанты и генерал-адъютанты куда-то исчезли. Не знаю, — говорит Кропоткин, — спешил ли Александр II в этот день или имел какие-нибудь другие причины желать, чтобы парад скорее кончился, но он буквально промчался перед рядами... Он спешил так, как будто бы убегал от опасности. Его возбуждение передалось и мне, и ежеминутно я готов был броситься вперед, жалея лишь о том, что при мне не моя собственная шпага с толедским клинком, который пробивал пятаки, а обыкновенное форменное оружие. Александр II замедлил шаг лишь тогда, когда прошел перед последним полком. Выходя в другой зал, он оглянулся и встретился с моим взглядом, блестевшим от возбуждения и быстрой ходьбы. Младший флигель-адъютант мчался бегом две залы позади нас. Я приготовился выслушать строгий выговор, но вместо этого Александр II, быть может, обнаруживая мысли, которые занимали его тогда, сказал мне: «Ты здесь, молодец?» И, медленно удаляясь, он вперил в пространство тот неподвижный, загадочный взгляд, который все чаще и чаще я стал замечать в нем».

О чем думал тогда Александр II? Почему его взгляд стал так «загадочен»? Почему Чернышевский, Кропоткин, Герцен и многие другие, поверившие в царя, в конце концов оказались его врагами? Каторга, тюрьма, изгнание — вот судьба тех людей, которые питали такие розовые надежды и так восторженно приветствовали «освободителя». Анна Федоровна Аксакова, урожденная Тютчева, очень хорошо и близко знавшая Александра Николаевича, говорит, что этот император был как личность ниже своих дел (1'empereur defunt etait inferieur a ses oeuvres).

Да, реформа эпохи Александра II, несмотря на ее несовершенство, была огромна по своему значению. Неизбежным следствием крестьянской эмансипации были другие реформы — земская, городская, судебная и, наконец, реформа армии — введение всеобщей воинской повинности. Как ни исказили и ни ограничили ревнители старого порядка план крестьянского освобождения, все же совершилось событие значительное, и оно в корне разрушило сословную Россию. Это было [299] начало конца. Абсолютизм отказался от самой главной своей опоры — рабства. Александр II не стал, однако,» народным героем. Та же Аксакова объясняет это тем, что народ ценит героев не за то, что они сделали, а за то, каковы они сами по себе, по своей природе. И сам Александр чувствовал себя иногда «ниже своих дел». Вот почему взгляд его все чаще и чаще казался таким «загадочным». Он, царь, предчувствовал, должно быть, свою страшную судьбу. Эту ужасную судьбу подготовил ему его отец. Он довел свою полицейскую систему до того предела, когда путь мирного устроения уже невозможен. Никакие «реформы» уже не могли удовлетворить тогда Россию, потрясенную и взволнованную новизною событий. Заключенный долгие годы в душной и темной тюрьме человек, переступив ее порог, пьянеет от солнца и воздуха. Шестидесятые и семидесятые годы XIX века были пьяные

годы. Это был первый хмель революции. Не «благодушному» и безвольному Александру Николаевичу, а какому-нибудь исключительной воли человеку — новому Петру Великому, — может быть, и удалось бы укротить мятежные волны. Но Александру II не удалось их укротить. Пришел девятый вал и погубил его. И если после убийства Александра наступила мертвая тишина нового царствования, то, конечно, причина этой тишины была не в политике Победоносцева и не в личности Александра III, а в объективных фактах тогдашних исторических условий. Эта реакция была так же закономерна, как приливы и отливы в океане.

IV

Со дня опубликования рескрипта о созыве комитетов для устроения «быта крестьян» по 12 июля 1858 года было зарегистрировано семьдесят случаев неповиновения крестьян помещикам. Приходилось прибегать к полицейским мерам и к содействию военных команд. Герцен не без основания писал: «Приходится звонить в «Колокол» и сказать этому правительству: пора проснуться! Теперь еще время! Ты можешь мирным путем решить вопрос освобождения крепостных… Пора проснуться! Скоро будет поздно решать вопрос освобождения крепостных мирным путем, мужики решат его по-своему. Реки крови прольются, — и кто будет виноват в этом?..» [300]

Однако мужики сравнительно терпеливо ждали целых четыре года обещанной свободы, но когда в 1861 году манифест о свободе был прочитан в церквах, среди крестьян началось глухое брожение. Ждали терпеливо, потому что надеялись, что царь даст «полную волю», то есть свободу и землю без выкупа. Но на деле оказалось, что даже барщина и оброк сохраняются на неопределенное время, что требуется выкуп, что даже надел земельный в иных местах меньше того, каким крестьяне пользовались при крепостном праве.

Тогда мужики решили, что это — «подложная воля». Начались недоразумения, беспорядки, а иногда и мрачные столкновения с помещиками и властями. Так, например, в Пензенской губернии пришлось усмирять бунт, и было немало убитых и раненых среди мужиков, получивших свободу{168}. Этот пензенский бунт замечателен тем, что он был первым поводом для серьезной размолвки между интеллигенцией и царем. В Казани профессор Щапов с своими учениками-студентами отслужил панихиду по убитым, и Александр Николаевич принял это как личное оскорбление{169}. При этом пострадали монахи, служившие панихиду. Государь сослал их в Соловки. Это совпало с отставкой некоторых министров. На правительственной сцене оказался Валуев, который начал осуществлять реформу «в примирительном духе». Это было время борьбы петербургской бюрократии с мировыми посредниками первого призыва. Иногда дело принимало оборот весьма острый. Так, например, тринадцать мировых посредников Тверской губернии были посажены в Петропавловскую крепость по требованию Валуева не без ведома Александра Николаевича{170}. Это были первые симптомы того сумасшествия, которое овладело министрами несчастного императора. И самому Александру Николаевичу казалось иногда, что он в желтом доме, и он, по свойственной ему привычке, проливал слезы. Ему хотелось, чтобы все его любили и хвалили, а между тем уже стали поговаривать о реакции и винили государя в том, что он ее поддерживает. И государь обижался и плакал.

Когда Александр Николаевич, под влиянием великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны, пытался вернуться к первоначальному либеральному плану, враги реформы внушали ему, что дальнейшие «уступки» поведут к гибели [301] государства. Почему? А потому, что начинается революция. Но где же она,

эта революция? И вот тогда министры принесли Александру Николаевичу прокламации «К молодому поколению», «Что нужно народу», «К барским крестьянам», «Молодая Россия»... Их было; много{171}. Они были все написаны странным, необычным языком. Иногда они были сентиментальны, иногда кровожадны, но и те и другие пугали Александра Николаевича и внушали ему отвращение. Чего хотят эти странные люди? «Нам нужен но царь, — писали они, — не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье... Если Александр II не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него».

Читая эти строки, Александр Николаевич думал, что, пожалуй, сошли с ума не только его министры, но и авторы этих прокламаций. Эти люди предлагают ему, чтобы он добровольно сбросил с себя горностаевую мантию, чтобы он отказался от короны, которую так торжественно возложил на него митрополит в Москве под звон колоколов и при кликах народа. Им нужен какой-то выборный старшина, получающий жалованье... Что это? Они хотят, значит, эту полуосвобожденную, вчера еще крепостную, неграмотную мужицкую Россию сделать республикой во вкусе якобинской республики 1792 года! Но этого мало. Они требуют социализма! «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных земледельцев не существовало».

А вот в прокламации «Молодая Россия» все сказано начистоту. Нужна кровь. Надо разгуляться вовсю, отпраздновать праздник свободы как следует, затопив дворцы кровью коронованных злодеев...

В прокламации сказано ясно и точно: «Выход из этого гнетущего страшного положения... один — революция,

революция кровавая, неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все, без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольются реки крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы».

В Петербурге начались непонятные пожары. Каждый день над обезумевшим городом стояло зарево. [302]

Александр Николаевич видел эти кровавые завесы, и ему казалось, что это демоны устроили свой страшный пир{172}. Приписывали пожары поджигателям и в самом деле нашли тому доказательства, но поджигателей не открыли. Большинство верило, что поджигают те самые люди, которые сочиняли эти откровенные прокламации с призывами к убийству царя. Иные думали, что в поджогах виновны поляки.

В Польше в это время шло брожение. Мятеж начался с того, что поляки ворвались ночью в казармы и стали резать безоружных русских солдат. Это восстание не нашло себе сочувственного отклика в России. Александр Николаевич, первоначально испуганный вмешательством в это дело Европы, в конце концов сохранил самообладание, несмотря на угрозы великих держав. Государю донесли, что влияние «Колокола», ставшего на сторону Польши, поколеблено. Тираж издания упал. Катков с успехом обрушился на Герцена в ряде полемических статей, и Польшу усмиряли русские генералы при аплодисментах наших либералов. После усмирения польского восстания Александр послал в Варшаву Н. А. Милютина для проведения в жизнь Положения 19 февраля 1861 года. Там крестьяне были освобождены на лучших условиях, чем в центральных губерниях. Это была своеобразная месть польскому шляхетству, которое руководило восстанием.

Кровожадные прокламации, польский мятеж, интриги крепостников — все мешало мирно жить и мирно царствовать Александру Николаевичу, а между тем многомиллионной крестьянской массой надо было как-то управлять. Прежде были десятки тысяч «полицеймейстеров» без жалованья; прежде «отечески» управляли крестьянами господа помещики. Но теперь Александр Николаевич увидел вдруг эту огромную, недавно еще бесправную армию «серых зипунов». Пришлешь создать в 1864 году «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Несмотря на несовершенство и на искусственность избирательной системы, нее же это были «всесословные» учреждения, чего вовсе не знала дореформенная Россия. Одновременно с земской реформой изданы были «Судебные уставы», где признак равенства перед законом был проведен последовательно, к великому огорчению врагов реформы.

Эти реформы, коренным образом менявшие все прежние уклады жизни, бесправной и жалкой, нисколько [303] не повлияли на взволнованные умы. Мечтали об ином. Теперь уже нельзя было удовлетворить просившуюся жажду своеволия. «Все или ничего» — вот чего хотела тогдашняя подпольная Россия. Это было справедливое возмездие николаевскому режиму.

Четвертого апреля 1866 года Александр Николаевич гулял в Летнем саду в обществе герцога Лейхтенбергского и принцессы Марии Баденской. В четвертом часу, когда он выходил из сада, чтобы сесть в коляску, раздался выстрел. Это стрелял один из тех подпольных людей, которые не хотели больше чего-либо ждать от царя и медлить терпеливо в бездействии. Правда, этот двадцатитрехлетний Дмитрий Владимирович Каракозов был, кажется, нетерпеливее других. Его товарищи по кружку Ишутина, как выяснилось впоследствии, даже испугались этого выстрела. То, о чем они рассуждали отвлеченно, для «сумасшедшего» Каракозова

стало неизбежным и фатальным делом. Лихо дело начать. Не беда, что какой-то мещанин Комиссаров ударил по руке убийцу и пуля не попала в сердце царю{173}. Главное было сделано. Нашелся человек, который «посягнул». Каракозов своим выстрелом как будто дал знак, что теперь «все позволено». И, конечно, этот юноша был глубоко убежден в том, что совершает героический поступок, убивая деспота. Но сам Александр Николаевич не считал себя деспотом. Он сравнивал себя с царями, которые были на русском престоле до него, и думал, что никто из них не выказал такого доверия к народу, как он. Но Каракозов и его друзья были иного мнения.

В своей записной книжке под 4 апреля того же 1866 года Александр Николаевич кратко отметил событие своим бисерным женственным почерком: «Гулял с Марусей и Колей пешком в Летнем саду... Выстрелили из пистолета, мимо... Убийцу схватили... Общее участие. Я домой — в Казанский собор. Ура — вся гвардия в белом зале — имя Осип Комиссаров...»

Сын Александра Николаевича, будущий «миротворец», тоже отметил у себя в дневнике событие, всеобщий восторг и громовое ура. «Потом призвали мужика, который спас. Папа его поцеловал и сделал его дворянином. Опять страшнейший ура».

П. И. Вейнберг как раз в день покушения сидел у поэта Майкова. «В комнату опрометью, — рассказывает он, — вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был [304] страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то — это я хорошо помню — нечеловеческим, диким голосом.

— Нет… спасли… благополучно… Но стреляли… стреляли… стреляли…

Мы дали ему немного успокоиться, — хотя и Майков был близок чуть не к обмороку, — и втроем выбежали на улицу.

В настоящее время, когда к подобного рода покушениям публика успела уже более или менее присмотреться, невозможно и представить себе, что делалось в Петербурге в этот вечер 4 апреля, когда этот выстрел в русского царя был первым таким выстрелом, раздавшимся в России… Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое… Беготня во все стороны, преимущественно к Зимнему дворцу, крики, в которых чаще всего слышатся слова: «Каракозов!», «Комиссаров!», угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго; группы народа, пение «Боже, царя храни…»{174}.

Но в тот же день мемуарист увидел и нечто иное — «угрюмые, сердито-разочарованные лица…». Эти люди были безмолвны.

«С Майковым и Достоевским. — пишет Вейнберг, — я расстался скоро. Они смешались с ликующей толпой».

Царское семейство, конечно, также ликовало по случаю спасения. Александр Николаевич по вечерам ездил то в оперу, то в балет. И везде кричали ура и пели по нескольку раз «Боже, царя храни». «Меня Бог спас», — говорил царь и служил молебны и усердно молился. Но любопытно, что посягавший на его жизнь юноша тоже молился. Д. В. Стасов, защитник Ишутина{175}, в своих записках рассказывает: «В

день, назначенный для объявления приговора по первой группе, я приехал в суд несколько ранее других, и, не помню, кто-то мне сказал, что Каракозов приведен из своей тюрьмы и находится в домашней церкви коменданта, куда можно было недалеко пройти из залы. Я туда пошел и нашел Каракозова стоящим посреди церкви на коленях; он был совершенно один и молился с таким [305] рвением, был так поглощен и проникнут молитвою, точно находился в состоянии какого-то вдохновения, какого мне никогда ни у кого не случалось видеть. Выслушал он приговор совершенно спокойно; сколько помнится, не сказал ни слова. Казнен он был на Смоленском поле. Ишутин подавал просьбу о помиловании, но был приведен также на место казни, там ему был прочитан приговор, надет саван и спущен на глаза колпак, и в то время, когда надо было вздеть веревку, явился фельдъегерь, объявивший помилование — замену смертной казни, сколько помню, пожизненной каторгой»{176}.

Весной 1867 года Александр Николаевич, получив приглашение от Наполеона III посетить выставку, отправился в Париж вместе с сыновьями и свитой. Предпринимая эту поездку, Александр Николаевич не представлял себе, по-видимому, до какой степени французское общество относится враждебно к нему — русскому монарху. У царя было тогда то веселое и даже легкомысленное настроение, которое как-то неожиданно, нередко после припадков слез, появлялось у него при разных обстоятельствах. Он не очень стыдился этих своих безответственных и легких чувств, которые понуждали его то заказывать художнику Зичи{177} порнографические картинки, то «искать забвения» в объятиях одной из блестящих международных блудниц, то устраивать в своих апартаментах для избранной публики непристойные спектакли, причем текст диалогов был целиком из творений великого маркиза де Сада{178}.

Еще не доезжая до Парижа, царь послал телеграмму в наше посольство с требованием оставить для него ложу в оперетке, где шло сенсационное представление «Дюшесе де Герольштейн». В этой оперетке фигурировала в неприличном виде Екатерина Великая. Великая княгиня Мария Николаевна тоже была на этом представлении, и ее подруга М. В. Воронцова говорила ей: «Маша, как тебе не стыдно, ведь она — великая государыня, да и ты на нее лицом похожа...» Итак, царь в веселом настроении приехал в Париж. Наполеон III встретил его на вокзале и повез в Елисейский дворец, где когда-то останавливался Александр I. После обеда царское семейство поспешило в «Варьете», изумив парижан таким пристрастием к развлечениям. Однако очень скоро веселое настроение Александра Николаевича сменилось мрачным и беспокойным. При появлениях [306] Александра в коляске, в обществе императрицы Евгении или самого императора, повсюду раздавались дерзкие демонстративные крики: «Да здравствует Польша!» Польские эмигранты устраивали манифестации на улицах, площадях и даже в Palais du Justice{179}. Шестого июня был назначен большой смотр в Лоншане, где должны были присутствовать три императора — русский, французский и немецкий. На обратном пути, когда царь в одной карете с Наполеоном ехал через Булонский лес, некий поляк Березовский выстрелил из пистолета в русского императора, но промахнулся и был арестован. Пуля попала в лошадь француза-штальмейстера. Вместе с императорами ехали два сына Александра. Царь после выстрела схватил их за руки, спрашивая в тревоге, не ранены ли они. Императрица Евгения, узнав о покушении, сама поехала я Елисейский дворец навестить государя. Она застала его совершенно расстроенного. Он говорил, что ему надо немедленно возвращаться в Россию. Она с трудом уговорила его остаться. Ей пришлось обнять его и заплакать у него на груди. Предстояли еще банкет у префекта Сены и

поездка в Фонтенебло. Все ждали второго покушения, и Александр Николаевич замечал, как императрица Евгения все время держится около него, как бы защищая его своей особой от возможного нападения. Пришлось отказаться от охоты в лесу.

Царь вернулся в Россию мрачный. Эти два выстрела — Каракозова и Березовского — повлияли на него. Он понял, что теперь началось нечто серьезное и роковое. Он был охотник, чувствовал зверя, и теперь ему казалось, что его самого травят, как волка, что сейчас облава, лают собаки, улюлюкают псари... Вот сейчас увидит он перед собой черное дуло ружья. Это смерть. А ему хочется жить. Он еще не насытился этой землей, где много наслаждений, так ему легко доступных.

Несмотря на сложность тогдашней внутренней жизни России, несмотря на попытки омолодить империю реформами, несмотря на революционное брожение, которое правительство называло «крамолою», русская империя [307] неуклонно расширяла свои пределы, пугая Европу и особливо Англию безмерностью своей военной, колонизации. Огромная Амурская область по Айгунскому договору, заключенному Н. Н. Муравьевым, была присоединена к России. Через два года был присоединен также Уссурийский край. Таким образом, устье Амура было во власти империи. В Средней Азии русские продолжали колонизацию страны, пролагая себе путь оружием. В шестидесятых годах генерал Черняев завоевал Кокан. В семидесятых — генерал Скобелев завершил победами над туземцами русскую империалистическую политику в среднеазиатских владениях. В 1864 году, после упорной борьбы с Шамилем, был окончательно замирен Кавказ.

Европа ревниво следила за военными и колонизаторскими успехами русских в Азии. Не мудрено, что европейская

дипломатия заволновалась, когда обнаружилось стремление русского правительства оказать влияние на разрешение так называемого «восточного вопроса» в Европе. После Парижского мира 1856 года, умалявшего наши права в «восточном вопросе», прошло двадцать лет. Теперь, с 1874 года, у нас была реформированная демократическая армия, укомплектованная на основе всеобщей воинской повинности, и вообще за эти двадцать лет произошли немалые изменения в нашей государственной и общественной жизни. Правительству трудно было оставаться пассивным свидетелем того, что происходило на Балканском полуострове. В 1875 и 1876 годах сербы, черногорцы, болгары и другие славяне делали отчаянные попытки освободиться от власти Порты. Положение покоренных турками балканских народов в самом деле было трудное, а европейские державы, обязанные по договору 1856 года защищать интересы христианского населения Турции, „бездействовали равнодушно, опасаясь только одного — возможного в будущем влияния русской монархии.

Внутри России началось сочувственное славянам движение, и хотя трудно выяснить, насколько оно было широко и демократично, но совсем отрицать его наличность, разумеется, невозможно. 12 апреля 1877 года Александр Николаевич подписал манифест о войне с Турцией. История Турецкой войны всем известна. Война была трудная. Приходилось воевать в Азии и в Европе. Одна Плёвна стоила нам огромных жертв, но в конце концов она была взята. Русские войска перешли [308] через Балканы в Румелию. Гурко, Радецкий и Скобелев заняли Филиппополь, Адрианополь и подошли вплотную к Константинополю. В Азии был взят Каре. На берегу Мраморного моря в местечке Сан-Стефано, в десяти верстах от Константинополя, 19 февраля 1878 года был подписан турками мир, выгодный для нас; по нему гарантирована была независимость балканских

народов. И вот эти успехи и все эти огромные жертвы были тщетными или почти тщетными.

Лето и осень провел царь на позициях под Пленной. Не чувствуя себя полководцем, он устранился от руководительства армией, и официальные историки расточают ему похвалы за его скромность. Но косвенно его присутствие мешало военным действиям, потому что льстецы и карьеристы пользовались его персоной и действовали из личной выгоды в ущерб делу. Так, например, один из безрассудных штурмов Плевны, напрасно погубивший тысячи русских солдат, был предпринят в угоду царю в день его именин. Александр Николаевич усердно посещал госпиталь и много плакал. Доктор С. П. Боткин пишет в своих «Письмах из Болгарии»: «Скорбь государя действительно искренняя и горячая. Но знает ли он причину всех этих погромов? Неизвестно. Его кругом обманывают, и кто же из специалистов решится прямо и откровенно высказать спое мнение? Все окружающее не блестит таким гражданским мужеством, которое бы давало право говорить правду там, где нужно...»

И все же, несмотря на все злоупотребления, ошибки я преступления, русские солдаты дошли до стен Константинополя. Это вызвало целую бурю негодования в правящих кругах Англии. В Мраморное море был послан английский флот. Австрия, конечно, готова была при этом ловить рыбу в мутной воде.

Александр Николаевич совершенно растерялся. Он то требовал занять Константинополь, — что одно время мы могли сделать легко, — то приказывал отнюдь не идти дальше предместий. А в это время турки, под руководством англичан, строили новые укрепления, стягивая войска, и наступило время, когда уже не так легко было бы взять

мировой город, о котором мечтали Петр Великий и Екатерина.

Наконец опротестованный Англией и Австрией Сан-Стефанский договор пришлось передать на обсуждение Берлинского конгресса, где «честный маклер» Бисмарк, [309] как известно, вырвал у России плоды ее побед. Мужицкая кровь, обагрившая укрепления Плевны, проливалась для того, чтобы над интересами России глумились прусские родственники императора Александра II.

Александр II и на этот раз плакал много, но безоговорочно подчинился решению конгресса. Последствием этой войны было образование Тройственного союза — Германии, Австрии и Италии, направленного против России, недовольство балканских народов, освобожденных нами, но не получивших полного удовлетворения своих притязаний, утрата внутри страны уверенности в моральной силе правительства Александра II.

Александр Николаевич Романов родился не под счастливой звездой. Ни реформы, ни военные подвиги не давали ему тех лавров, каких счастливцы добивались без особого труда. Даже близкие ему люди, которые искренне его любили, не верили в него. Во время турецкой кампании, утомленный и болезнями, и нравственными потрясениями, Александр Николаевич похудел, осунулся, сгорбился, и свидетели его тогдашней жизни все в один голос говорят, что он внушал к себе жалость. Его отец никогда и никому такого чувства не внушал. Этот сильный человек, несмотря на свою умственную и духовную слепоту, был по-своему величав. Александр II так и не научился во всю свою жизнь носить корону.

Эпоха так называемых «великих реформ», несмотря на серьезность и значительность в переустройстве тогдашней государственности и общественности, вовсе не была

величавой эпохой. Люди, стоявшие у власти, были мельче, чем их отцы и деды. Если вглядеться в портреты екатерининских, павловских и александровских вельмож, то нельзя не заметить в этих лицах чего-то величавого, властного и умного. Наряду с этими выразительными чертами были на этих портретах и другие черты, иного характера, впрочем, не менее выразительные, — черты пресыщенной чувственности, самодовольства, надменности, а иногда и жестокости. На портретах николаевских сподвижников все деревенеет, замерзает, становится жестким и грубым. Это уже не вельможи, а фронтовые служаки, военные люди прежде всего, или, вернее, это все «шефы жандармов». В эпоху Александра II люди потускнели еще больше. В галерее государственных деятелей «эпохи реформ» вы найдете людей иногда противных и ничтожных, [310] иногда, напротив, внушающих к себе уважение и сочувствие, но в этой галерее вы тщетно стали бы искать людей вдохновенных, героических или даже просто людей, сознающих свое право на власть. Это была эпоха либеральных бюрократов в правительстве и так называемого «третьего элемента» в обществе.

Монархия клонилась к своему концу. Александр II не мог быть величавым. И даже его панегиристы этой черты в нем не находят. Верноподданный Никитенко, очарованный царем, расхваливает его, но и он ничего не мог сказать об его царственности. «Трудно передать кротость, благородство и любезность, с какими государь говорил, — пишет Никитенко. — Меня особенно поразили во всем тоне его, в улыбке, которая почти не сходила с его уст, по временам только сменяясь какой-то серьезной мыслью, во всем лице, в каждом слове — какая-то искренность и простота, без малейшего усилия произвести эффект, показаться не тем, чем он есть в душе. В нем ни малейшего напускного царственного величия». Впрочем, А. Ф. Тютчева (Аксакова),

которая знала Александра Николаевича лучше, чем простодушный Никитенко, уверяет, что император иногда надевал маску «царственного величия», но эта маска к нему не шла. Она, по словам этой насмешливой фрейлины, была даже карикатурна и «делала его лицо отталкивающим более, чем внушающим почтение».

Люди, любившие Александра Николаевича, чувствовали в нем какую-то обреченность. В его несколько выпуклых глазах было что-то кроткое и грустное. Может быть, Жуковский имел в виду это выражение его глаз, когда назвал своего воспитанника «диким бараном» («mouton feroce»). По-видимому, это было прозвищем Александра Николаевича, когда он был наследником. Н. Н. Муравьев-Карский тоже, как передают, величал его бараном («c'est un belier feroce»). П. Я. Чаадаев, увидев царя в Москве на вечере у графа А. А. Закревского, когда его приятель А. И. Дельвиг спросил, почему он, Чаадаев, так грустен, ответил, указывая ему на государя: «Разве Россия может ждать какого добра от этих глаз!»

В царствование этого обреченного на гибель государя Россия праздновала тысячелетие своего государственного бытия, по, хотя официальные торжества и состоялись, кажется, ни сам император, ни его сподвижники, [311] ни общество не почувствовали той «исторической весомости», без коей нельзя усмотреть смысли и оправдания той или иной формы народной жизни. Сам царь, его семья, его министры — все жаловались на то, что в обществе господствует «нигилизм» потому трудно бороться с «крамолою». Нигилизм в обществе в самом деле процветал. Но дело не ограничивалось прокламациями во вкусе «Молодой России»: политическими убийствами во вкусе Нечаева, журнальными статьями во вкусе Писарева: все это было гораздо глубже, чем думал Александр Николаевич. Нельзя было обвинять в моральной опустошенности исключительно молодую, свободолюбивую

Россию. И если бы император хотел быть справедливым и точным, он должен был бы признать, что искать действительно настоящего нигилизма, то есть полной беспринципности, надо прежде всего в среде самого правительства той эпохи. И сам царь, как и все его окружавшие, утратил давно уверенность, что он может и должен руководить страной. Тысячелетие России совпало с первым подземным гулом надвигающейся социальной и политической катастрофы. Александр II был бессилен предотвратить грядущие события, так его пугавшие.

VI

Как сложилась личная жизнь императора? Он женился на гессен-дармштадтской принцессе весною 1841 года. Ей тогда было семнадцать лет, а ему двадцать три года. Он был счастлив несколько лет. Потом нервный, чувственный и мнительный Александр Николаевич охладел к своей супруге. Она к тому же, далеко еще не будучи старухой, по требованию врачей, уклонилась от супружеских объятий. Император тяготился невольным аскетизмом. Он изменил жене. Нашлись придворные сводни, которые содействовали царскому адюльтеру. После первой измены последовала вторая, потом еще и еще. Женщины влияли магически на этого слабого и впечатлительного человека. Его донжуанские наклонности не встречали никаких препятствий. Оп уже привык к разврату и не стыдился своей жены. Императрица Мария Александровна по-прежнему глядела на него укоризненно своими овечьими глазами, но не упрекала его ни в чем. Иногда он [312] посвящал ее в тайны своих приключений. Его отец, развратничая, старался, однако, сохранить внешнее благообразие семьи. Сын махнул рукой на всякие приличия. Соблазненных им девушек ему легко удавалось выдавать потом замуж. Придворные холопы не брезговали царскими любовницами.

Но у царя была и настоящая любовь — княжна Екатерина Михайловна Долгорукая. Он увидев ее в первый раз в августе 1857 года в Тепловке, в доме ее родителей, где он остановился, направляясь на маневры в Волынь. Ей было тогда десять лет. Князь Долгорукий вскоре после посещения царем его дома разорился и умер. Александр Николаевич взял на себя опеку над имением и воспитанием шестерых детей князя. Девочки были помещены в Смольный институт. Старшая, Катя, «с глазами газели», правилась царю. Он любовался ее кошачьими повадками. Екатерина Михайловна кончила институт семнадцати лет и поселилась у брата на Бассейной. Однажды весной Александр Николаевич встретил ее в Летнем саду и, не смущаясь присутствием любопытных, долго с ней гулял по боковой аллее, любуясь ее нежной шеей и прядями каштановых волос. Свидания повторялись. Они встречались на Елагином острове и в окрестностях Петергофа. Царь откровенно ухаживал за своей молоденькой воспитанницей. Она долго сопротивлялась. В июле 1865 года в одном из павильонов, между Петергофом и Красным Селом, восемнадцатилетняя княжна отдалась императору. Ему было тогда сорок семь лет. Ее страх, слезы, нежность и неумелые поцелуи укололи сердце опытного ловеласа. Александр Николаевич влюбился в эту княжну и при первом же свидании бормотал, обнимая ее колени, что он готов посвятить ей всю жизнь.

Осенью царь вручил своей возлюбленной ключ от его апартаментов в Зимнем дворце. Она приходила к нему на свидания по секретной лестнице, стыдясь придворных лакеев, посвященных в тайны царского алькова.

Родственники Екатерины Михайловны, боясь скандала, увезли ее в Неаполь. Но царь заболел настоящей страстью. Приехав в Париж, в 1867 году, он вызвал туда свою возлюбленную. Горькие впечатления от оскорблений парижской толпы и выстрела Березовского не помешали

императору устраивать свидания с княжной, которая приходила к нему тайно в Елисейский [313] дворец, проникая туда через калитку на углу улицы Габриэль и авеню Мариньи.

В сентябре 1872 года Екатерина Михайловна объявила царю, что она беременна. Она скрывала свою беременность тщательно, но, почувствовав приближение родов, она позвала свою наперсницу горничную, которая оставила нам свои мемуары, и вышла с ней на набережную. Это была белая апрельская ночь. Не было извозчиков. Любовница императора плелась пешком, опираясь на руку своей спутницы, изнемогая от болей. Наконец попался какой-то ночной извозчик, который подвез княжну к Зимнему дворцу. Александр Николаевич, бледный и потрясенный, сам провел ее в комнаты, которые занимал когда-то Николай Павлович. Здесь не было даже кровати. Она легла на голубой репсовый диван. Доктор и акушерка едва не опоздали к родам. На свет появился здоровый мальчик, которого мать назвала Георгием. Его поместили в одном надежном семействе.

На следующий год родилась девочка Ольга. Эта скандальная история не только мучила больную императрицу, но и вызывала негодующие толки лицемерных царедворцев. Волновались и сыновья, опасаясь, что побочные братья и сестры заявят когда-нибудь о своих правах.

Граф Петр Шувалов доложил об этих сплетнях царю, но Александр Николаевич впадал в страшный гнев при малейшем намеке на необходимость разорвать эту связь. Это для него было бы труднее, чем отказаться от престола. В 1874 году царю донесли, что Шувалов назвал где-то княжну «девчонкой». Он был назначен немедленно послом в Лондон, и его придворная карьера кончилась.

Российский самодержец, как это ни странно, не мог устроить сносно жизнь своей возлюбленной. Рожая третьего ребенка,

княжна Долгорукая все еще была в таком фальшивом положении, что ей пришлось бежать ночью из дому в строгие и страшные царские апартаменты. Третий мальчик недолго жил. Александр сидел в слезах над умирающим, когда ему давали вдыхать кислород. Старый царь и его юная любовница спасались от сложной и ревнивой жизни, их окружавшей, поездками в Эмс, где они жили в вилле, носившей название, похожее на ироническое, — «Petite Illusion». Княжна гуляла под густой вуалью под руку со стариком, чье [314] имя, конечно, было известно на курорте решительно всем.

Уезжая в Крым, в Ливадию, царь требовал, чтобы княжна тоже ехала на Южный берег. Он поселил ее в маленьком домике, в Вьюк-Сарае. Сюда он приезжал каждый вечер верхом на большой серой лошади. Горничная княжны отворяла ворота виноградника, и Александр Николаевич, оставив лошадь на попечений казака, шел по узенькой тропинке, спотыкаясь впотьмах и торопливо расспрашивая служанку своей любовницы о том, все ли благополучно и здоровы ли дети, которых на лето привозили из их петербургской тайной квартиры. Шум Салгира и серебро луны — все казалось таинственным, и государь чувствовал себя Гаруи-аль-Рашидом из восточных сказок, какие в детстве читал ему вслух Василий Андреевич Жуковский.

Иногда царь ночевал в Вьюк-Сарае. Он сам насадил здесь фиалки и любовно их растил.

Только в 1878 году Александр Николаевич, к ужасу императрицы, всего семейства, министров и придворных, поселил свою возлюбленную в Зимнем дворце. Все негодовали на «дерзкую наложницу» царя, которая компрометирует двор его величества. Все обращали внимание на то, что у Александра Николаевича впали щеки, согнулась спина, стали дрожать руки и он часто задыхался.

Это молодая любовница «губила» будто бы государя, который «так нужен был России».

Но самому Александру Николаевичу казалось, напротив, что княжна Долгорукая — единственное существо, которое любит его по-настоящему и поддерживает в нем нравственные силы. Все вокруг не понимает его. Понимает его только она. Она разгадала его душевную драму. Она знает, что он, император, вовсе не дорожит властью. Он признавался ей, что был бы рад передать корону сыну и уехать куда-нибудь. Одним словом, в его воображении рисовалась та самая идиллия, о которой мечтал его дядя Александр Павлович. Император изнемогал в сомнениях и нерешительности. Что делать? Осуществились огромные реформы. Но все как будто забыли, с каким тяжким и суровым порядком мирились русские люди при отце, Николае Павловиче. Тогда они молчали, эти непонятные враги. Теперь они неумолчно напоминают о себе везде и всегда. Они твердят все об одном и том же — в земских собраниях, на заседаниях городских дум, в этой [315] разнузданной прессе, где, несмотря на все цензурные кары, газетчики создали своеобразный жаргон. Они твердят «об увенчании здания», намекая прозрачно на необходимость ограничить самодержавие. Неужели не понимают эти люди, что в России невозможен парламентаризм? Россия — мужицкая страна. Неужели эти еще неграмотные мужики способны сознательно исполнять свои гражданские обязанности? Они будут жалкой игрушкой в руках политиканов. Но этого мало. Откажись монарх от своих прерогатив — и тотчас же распадется на части великая империя. Имеет ли он право разрушить то, что созидали ревнители русской государственности тысячу лет? Нет, он, Александр Николаевич, сделал и так слишком много уступок. Не пора ли бросить якорь и в тихой гавани чинить корабль, расшатанный бурей? Но волны подымались все выше и выше, чинить корабль было мудрено. Правда, иные из

помощников царя слишком грубы и неосторожны, но ведь так трудно найти порядочных людей для службы в высшей полиции и жандармерии. Вот генерал Трепов{180} напрасно погорячился и высек в тюрьме какого-то Боголюбова, политического. Но как этому случаю обрадовались враги монархии! Зимой 1878 года некая Вера Засулич выстрелила в генерала Трепова. Весной ее судили с присяжными. Подсудимая объявила, что она мстила за оскорбленного в тюрьме товарища. Она заразила своим волнением присяжных и всех участников процесса. Адвокат болтал красно об ужасах полицейского произвола. У этих людей есть две морали — для себя и для врага. В царя можно стрелять. Это героизм. Это красиво и добродетельно. А высечь какого-то ничтожного бунтовщика — это злодейство. Публика плакала от восторга, когда эту глупенькую девчонку оправдали случайные люди, заседавшие в качестве судей. Они раскисли от умиления, когда эта особа повествовала о своей невинной пропаганде. В сущности — говорила она — и пропаганды не было. Она просто «ходила в школу для учителей, чтобы обучиться звуковому способу преподавания». И знакомые у нее были очень невинные, например Нечаев. Но жестокие жандармы посадили ее в тюрьму за все эти невинности. Все это раздражало утомленного государя. Что может быть глупее и пошлее этой демонстрации на Литейном проспекте, когда толпа одичавшей молодежи ревела в восторге по поводу оправдания Засулич. Если в порядке [316] милосердия и снисхождения суд оправдал преступницу, то из этого никак не следует, что надо чествовать, как героиню, истерическую бабенку и возможную убийцу. Подобные мысли постоянно бродили в голове царя, когда ему приносили длинные сводки по делам Третьего отделения. Эти наивные преступники как будто понятия не имеют об истории. Им кажется, что управление государством все равно что четыре правила арифметики.

А это зверское убийство генерала Мезенцова!{181}А. сам он, император? Разве он обеспечен от посягательств на его жизнь? 2 апреля 1879 года, в десятом часу утра, Александр Николаевич совершал свою обычную прогулку. Он шел но Миллионной, Зимней канавке и Мойке и потом повернул на площадь Гвардейского штаба. В это время через площадь переходил какой-то господин высокого роста, в чиновничьей фуражке. Он шел довольно быстро, уверенно и спокойно. От угла Гвардейского штаба он направился по панели прямо навстречу царю. Александр Николаевич, увидев этого человека, идущего на него, вдруг почувствовал, что идет его враг. Он оглянулся. Пристав, который следовал за ним, отстал шагов на двадцать пять. По ту сторону площади, у подъезда министерства финансов, стоял жандармский штабс-капитан. Александр Николаевич хотел крикнуть, чтобы бежали к нему на помощь, но стало стыдно, и крик замер на губах. Промелькнуло еще несколько секунд, и высокий человек приблизился настолько, что Александр Николаевич различал уже его серовато-голубые глаза, которые как будто искали кого-то. Не успел еще этот неизвестный человек опустить в карман руку, как Александр Николаевич все уже понял. Раздался выстрел, и Александр Николаевич, удивляясь сам своей легкости — ему было тогда шестьдесят лет, — бросился бежать в сторону Певческого моста. Он чувствовал, что враг вновь прицеливается, догоняя его. Тогда государь метнулся в сторону, потом опять в другую, и еще, и еще... А выстрелы следовали один за другим — до пяти раз. Бежать так, обманывая неопытного охотника, было страшно и весело. Выстрелы прекратились. Царь оглянулся. Кто-то, должно быть, тот самый человек в фуражке, валялся на земле. Вокруг была толпа.

Через несколько дней министр юстиции и сенаторы допрашивали покушавшегося на жизнь царя. Он оказался [317] бывшим студентом Александром Соловьевым, тридцати

лет. Царю принесли показания этого человека. Читая эту откровенную записку, Александр Николаевич пожимал плечами и усмехался недоброй усмешкой. Так вот они каковы, эти люди, считавшие себя вправе переделывать своевольно империю! Это все недоучившиеся молодые люди, не успевшие даже подумать как следует над смыслом жизни и смыслом истории.

«Я окрещен в православную веру, но в действительности никакой веры не признаю, — спешит сообщить Соловьев о своем атеизме следователям. — Еще будучи в гимназии, я отказался от веры в святых... Под влиянием размышлений по поводу многих прочитанных мною книг, чисто научного содержания и, между прочим, Бокля и Дрэпера, я отрекся даже и от верований в Бога, как в существо сверхъестественное.

Я признаю себя виновным в том, — продолжает Соловьев, — что 2 апреля 1879 года стрелял в государя императора, с целью его убить. Мысль покуситься на жизнь его величества зародилась у меня под влиянием социально-революционных учений; я принадлежу к русской социально-революционной партии, которая признает крайнею несправедливостью то, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется результатами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными для большинства...

Ночь с пятницы на субботу провел я у одной проститутки, но где она живет, подробно указать не могу; утром в субботу ушел от нее, надев на себя чистую накрахмаленную сорочку, бывшую у меня, другую же, грязную, бросил на панель».

С жадным любопытством читал Александр Николаевич и рассказ о самом покушении:

«Я не прошел еще ворот штаба, как, увидя государя в близком от меня расстоянии, схватил револьвер, впрочем, хотел было отказаться от исполнения своего намерения в этот день, но государь заметил движение моей руки, я понял это и, выхватив револьвер, выстрелил в его величество, находясь от него в 5 — 6 шагах; потом, преследуя его, я выстрелил в государя все заряды, почти не целясь. Народ погнался за мной, и, когда меня задержали, я раскусил орех с ядом, который положил к себе в рот, идя навстречу государю».

Весной после покушения царь уехал в Крым. Летом [318] дела опять вызвали его в столицу, но осенью вновь потянуло на Южный берег, в виллу Бьюк-Сарай. С каждым годом, с каждым месяцем Александр Николаевич все более и более привязывался к своей возлюбленной. И чем страшнее было царствовать, тем сладостнее казался ему альков Екатерины Михайловны. А царствовать действительно было страшно.

«Два человека жили в Александре II, — писал Кропоткин, — и теперь борьба между ними, усиливавшаяся с каждым годом, приняла трагический характер... Без сомнения, он сохранил привязанность к матери своих детей, хотя в то время он был уже близок с княжною Юрьевской-Долгорукой».

«Не упоминай мне про императрицу: мне это так больно», — говорил он не раз Лорис-Меликову.

«Она умирала в Зимнем дворце, в полном забвенье{182}. Хорошо известный русский врач, теперь уже умерший, говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статс-дам, глубоко преданных императрице, покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал перед Долгорукой».

Огромность событий, наполнявших собою первые годы его царствования и отчасти вызванных им самим, потрясли душу царя. У Александра Николаевича Романова не хватило нравственных сил, чтобы закончить свое царствование так, как он его начал. Впечатлительный и страстный, самолюбивый и неуверенный в своем пути, он был оглушен выстрелами и взрывами. «Подпольная Россия была слишком нетерпелива». Так ему казалось, и это его старило гораздо больше, чем страстные ласки очаровательной княжны.

Первого декабря 1879 года в Москве, едва проследовал благополучно царский поезд, раздался очередной взрыв. Пострадал свитский поезд. Перепутанный маршрут спас случайно и на этот раз государя. Но он чувствовал, что заколдованный круг сжимался все больше и больше, что он — как в западне.

Семнадцатого февраля 1880 года, в шесть с половиной часов вечера, когда Александр Николаевич, окруженный семьей, беседовал в своих апартаментах с приехавшим в Петербург братом императрицы, принцем Александром Гессенским и с его сыном, Александром [319] Болгарским, раздался страшный удар, дрогнула стены, потухли огни, запах, горький и душный, наполнил дворец{183}.

Через минуту раздались вопли и стоны. Перепуганная насмерть дворцовая челядь бегала по лестницам, покинув государя, ища спасения.

Царь понял, что это очередное покушение уже в самом дворце, во внутренних апартаментах, что «крамола» гнездится тут, рядом, что все копчено... Он бросился по коридору в комнаты Екатерины Михайловны, забыв всех своих немецких родственников. Она была жива и бежала к нему навстречу.

Что же это было? Несколько пудов динамита, оказывается, было взорвано под помещением главного караула, где было убито восемь солдат и сорок пять ранено. Террористы надеялись, что взрыв разрушит царскую столовую, где как раз в шесть с половиной часов должен был обедать царь со всеми своими родственниками. К досаде революционеров, царь опоздал к обеду на полчаса. Впрочем, взрыв не одолел крепкой дворцовой стройки: опустился только пол столовой, попадала мебель и лопнули стекла. Разрушена была караульня — как раз под столовой.

Этот ужасный взрыв испугал не только царя, но и ту Россию, которая еще надеялась на мирный исход борьбы между властью и так называемым обществом. Теперь стало ясно, что мира быть не может. Это действовал таинственный Исполнительный комитет «Народной воли».

Александр Николаевич думал о том, что настоящей народной воли, кажется, никто не знает. И как, в самом деле, ее узнать? Итак, он не верит либералам, которые думают, что можно узнать эту волю, созвав парламент. Он, Александр Николаевич, знает, что все эти «парламенты» — игрушки в руках партий, а партии — игрушки в руках вожаков. Мнений подлинного народа так и не узнаешь, сколько бы ты ни слушал парламентских речей. Но Исполнительный комитет — это совсем другое. Это — сама революция. Вот это настоящий враг. Революции, в сущности, нет дела ни до мнений «народа», ни до его настоящей воли. Революция в самой себе ищет правду. Она так же неизбежна и внутренне необходима, как землетрясения, как извержения вулкана. Александру Николаевичу революция представлялась каким-то огромным демоном с человеческим [320] лицом. И Александр Николаевич смертельно боялся этого демона.

Ему докладывали, что виновник взрыва исчез бесследно. И эта неудача жандармерии, которая прозевала страшное

покушение, казалась царю не случайной. Очевидно, нужно было бороться с революцией иными средствами.

Через несколько дней после взрыва в Зимнем дворце царь созвал чрезвычайное совещание. Что-то было безнадежное и тоскливое в этом совещании. Александр Николаевич был мрачнее всех. Оп сгорбился, почернел и говорил хриплым, простуженным голосом. Скучно и тускло звучали голоса министров. Никто, конечно, но мог предложить никакой программы, ибо никто не верил в свое право на власть. И первый сомневающийся в этом был сам царь. Но все говорили с привычными бюрократическими интонациями привычный бюрократический вздор. «Надо как-то кого-то успокоить. Надо кому-то что-то внушить. Надо укрепить власть. Надо напомнить о священных прерогативах государя…» Но никто не знал, во имя чего, собственно, надо все это делать.

Среди этого скучного недоумения раздался вдруг голос генерала М. Т. Лорис-Меликова, покорителя неприступного Карса, истребителя чумы в Астрахани и в Поволжье и теперь харьковского генерал-губернатора, сумевшего как-то внушить к себе уважение губернии. Он предложил создать «Верховную распорядительную комиссию». Создание «комиссии» было дело привычное, по на этот раз генеральский самоуверенный топ этого кавказского вояки внушил царю надежду, что Михаил Тариелович все устроит. К тому же среди бюрократов он слыл либералом. А царь понимал, что теперь даже усмирять и казнить надо, сохраняя видимость правительственного либерализма.

И в самом деле, начавшаяся тогда же диктатура Михаила Тариеловича была, кажется, единственным способом поддержать падавшее правительство. Лорис-Меликов не успел провести ни одной серьезной реформы, но он старался в объяснениях своих с общественными деятелями и

публицистами, которых он не чуждался, убедить всех в том, что реакция кончилась, что реформы будут и что хотя о конституции еще рано думать и отнюдь нельзя о ней писать в газетах, тем не менее представители земств и городов будут введены [321] в высшие государственные учреждения в ближайшее время. Кажется, он сам не понимал, что такое участие депутатов в законодательной работе, как бы ничтожно и слабо это участие ни было, в корне подрывало уже самую идею самодержавия.

Александр Николаевич лучше это понимал, чем назначенный им диктатор, а диктатору нелегко было убедить царя в неизбежности и необходимости этого «увенчания здания», как тогда выражались. «Диктатура сердца» соблазнила многих либералов, утомленных политической лихорадкой. Последствием этого соблазна было то, что народовольцы оказались оторванными от широких умеренных кругов, и это выяснилось окончательно после 1 марта. Час настоящей революции еще не пробил. Это был лишь первый ее вестник и глашатай.

Летом 1880 года умерла императрица Мария Александровна. При ней в это время не было ни царя, ни детей. Но хоронили ее пышно, как полагается хоронить государынь. Месяца через полтора, когда наследника не было в Петербурге, Александр Николаевич обвенчался с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, у которой в это время было уже от него трое детей. Венчался старый царь 6 июля в три часа пополудни в царскосельском дворце. Надев голубой гусарский мундир, он сам пошел за своей невестой в ее комнаты, где она ждала его. Они шли потом длинными коридорами в маленькую залу с окнами на пустынный двор. Кроме протоиерея и певчих здесь были только министр двора и два генерал-адъютанта. Эти невольные шафера, смущенные и подавленные, держали венцы. Потом царь предложил своей новой жене покататься в коляске. Погода была прекрасная. Они поехали по

Павловской дороге. Впоследствии Екатерина Михайловна уверяла, что старый государь, лаская маленького Гогу, который был тут же в коляске, сказал будто бы:

— Этот — настоящий русский… Хоть в нем, по крайней мере, течет только русская кровь…

В середине августа царь с молодой женой отправился в Крым и оставался там до ноября. Теперь княгиня Долгорукая стала называться светлейшей княгиней Юрьевской и на ее имя было положено в банк три миллиона. К изумлению царедворцев, Екатерина Михайловна поселилась теперь не в скромной вилле Бьюк-Сарай, [322] а в Ливадийском дворце, в апартаментах императрицы.

Сюда же в Крым приехал Лорис-Меликов. Ему все еще не удалось добиться окончательного согласия царя на привлечение депутатов к государственной работе. Сплетничали, будто бы диктатор соблазнял Александра Николаевича тем, что, дав задуманную им «конституцию», он, царь, может легально сделать морганатическую свою супругу законной императрицей.

Наконец царь с новым семейством выехал из Ливадии в Севастополь, с тем, чтобы вернуться в столицу. Проезжая мимо Байдарских ворот, он велел остановиться. Накрыли стол на веранде. Теплый полдень поздней крымской осени располагал к ленивой мечтательности, и не хотелось ехать на север, где опять придется думать о том, подписывать или не подписывать «конституцию», то есть лорис-меликовский проект о созыве депутатов для участия в делах Государственного совета.

Январь и февраль 1881 года были безрадостны для царя, хотя ему было приятно видеть Екатерину Михайловну не тайно, а на правах супруги. Она теперь жила с детьми открыто в

пышных приготовленных для нее апартаментах дворца. У них теперь была общая спальня. И спали они на одной постели. Спальня супругов была рядом с кабинетом государя, и он часто приходил туда после мучительных объяснений с министрами.

А между тем, когда царь старался устроить свою новую семью, не дремала подпольная Россия. Она напоминала о себе грозными прокламациями. «Внезапные припадки тоски, — рассказывает Кропоткин, — во время которых Александр II упрекал себя за то, что его царствование приняло реакционный характер, теперь стали выражаться пароксизмами слез. В иные дни он принимался плакать так, что приводил Лорис-Меликова в отчаяние. В такие дни он спрашивал министра: «Когда будет готов твой проект конституции?» Но если два-три дня позже Медиков докладывал, что органический статут готов, царь делал вид, что решительно ничего не помнит. «Разве я тебе говорил что-нибудь об этом? — спрашивал он. — К чему? Предоставим это лучше моему преемнику. Это будет его дар России».

На первой неделе поста царь говел и приобщался. 1 марта утром Лорис-Меликов предложил царю подписать заготовленный акт, который сам Александр Николаевич [323] называл «указом о созыве нотаблей», намекая на судьбу Людовика XVI. «Конституция» была подписана. Надо было ехать на развод в манеже, но Лорис-Меликов настойчиво просил государя не выезжать из дворца: «Ищут террористов, они где-то близко, их скоро найдут, Желябов уже арестован{184}... А пока государь не должен выезжать никуда».

Но Александра Николаевича как будто что-то толкало ехать непременно в Михайловский манеж. Отпустив министра, император пошел в апартаменты Екатерины Михайловны. Она сама шла к нему навстречу. И она, как министр, умоляла

царя не выезжать из дворца. «Ходят ужасные слухи. Надо подождать».

Александр Николаевич с нежностью слушал ее лепет. Ее заплаканные глаза и ребяческие чуть припухшие губы пробудили в нем тот хмель, который так часто волновал его уже немолодое сердце... Потом он торопливо простился и поехал в Михайловский манеж.

Около часа пополудни он сел в карету. Вокруг скакало шесть терских казаков. Раньше он ездил всегда по Невскому и Малой Садовой, а на этот раз он приказал ехать по Екатерининскому каналу и Инженерной улице. В манеже все было в порядке, и царь ласково улыбался окружающим. Из манежа прежней дорогой он поехал в Михайловский дворец к великой княгине Екатерине Михайловне. Здесь он завтракал. Благодушное настроение его не покидало. Он вышел из Михайловского дворца в четверть третьего.

Карета мчалась по Инженерной улице, а потом повернула направо по набережной Екатерининского канала. За окнами кареты промелькнул отряд флотского экипажа, потом взвод юнкеров Павловского училища. Слева виден был канал, справа — длинная стена вдоль сада Михайловского дворца. Мальчишка-мясник лет четырнадцати вытянулся браво и отдал честь государю. А это кто? Кто этот с небольшим свертком в руках?{185}

Раздался страшный треск, и столб дыма и пыли покрыл весь проезд. В луже крови корчился, крича, мальчишка, секунду перед тем смеявшийся беззаботно. Валялись на земле два казака. Царь невредимый вышел из кареты, изуродованной и вывернутой взрывом.

Полковник Дворжицкий, мчавшийся в санях за царской каретой, подбежал к Александру Николаевичу, [324] умоляя

сесть в его сани и спешить во дворец. Но странное и жуткое любопытство овладело царем. Ему надо увидеть сейчас, немедленно лицо того, кто бросил бомбу. Убийцу схватили. Он стоял в трех шагах. И Александр Николаевич направился к нему. Это был молодой невзрачный человек маленького роста в осеннем пальто из толстого драпа. На голове была шапка из. выдры. Он угрюмо, исподлобья смотрел на царя.

Какой-то подпоручик, подбежав к толпе и еще не видя Александра Николаевича, спросил испуганным голосом: «Что с государем?»

— Слава Богу, — сказал царь, — я уцелел, но вот...

И он показал на кровавую лужу, где корчились люди.

— Не рано ли Бога благодарить? — пробормотал молодой человек в шапке из выдры.

Александр Николаевич направился к раненым, но не успел сделать и двух шагов. Раздался второй взрыв. Когда дым рассеялся, увидели, что царь отброшен к решетке канала, лежит истерзанный и окровавленный, а в нескольких шагах от него лежит и его убийца — тоже истерзанный, тоже в крови...{186}

Это было 1 марта 1881 года, в два часа тридцать пять минут пополудни.

Александр Третий

Странно было смотреть на этого высокого, широкоплечего тридцатишестилетнего человека{187}, который казался каким-то огромным ребенком, испуганным и растерявшимся. То, что происходило тогда в этой хорошо ему известной комнате, было непонятно и дико: непонятны были врачи, эти чужие люди с засученными рукавами, которые расхаживали

по комнате, как у себя дома; непонятно было, почему княгиня Екатерина Михайловна{188} в ужасе бормочет какие-то отрывочные французские фразы. А главное, непонятен был отец, который лежал почему-то на полу и смотрел еще живыми глазами, не произнося ни единого слова... Да полно — отец ли это? Кровавая полоса на лице изменила знакомые черты, и в этом изуродованном, безногом и жалком существе нельзя было узнать высокого и бравого старика.

Странно, что Сергей Петрович Боткин{189} называет это окровавленное тело «его величеством».

— Не прикажете ли, ваше высочество, продлить на час жизнь его величества? Это возможно, если впрыскивать камфору и еще...

— А надежды нет никакой?

— Никакой, ваше величество...

Тогда цесаревич приказал камердинеру Трубицыну вынуть из-под спины государя кем-то подложенные подушки. Глаза раненого остановились. Он захрипел и умер. Государева собака Милорд жалобно заскулила, ползая около окровавленного тела императора{190}.

Надо бежать из этого ужасного Зимнего дворца, где каждый лакей, каждый истопник может быть агентом [326] загадочного и неуловимого Исполнительного комитета{191}. Надо бежать в Гатчину. Там дворец Павла — как вобановская крепость{192}. Там рвы и башни. Там в царский кабинет ведут потаенные лестницы. Там есть подземная тюрьма и люк. Через него можно бросить в воду злодея, прямо на острые камни, где ждет его смерть.

Аничков дворец тоже не надежен. Но его можно обезопасить. Вокруг него будет вырыта подземная галерея с

электрическими приборами. Эти зловещие кроты революционеры погибнут, ежели им опять вздумается готовить подкоп.

И Александр III уехал в Гатчину{193} и заперся в ней.

Третьего марта он получил письмо от Константина Петровича. «Не могу успокоиться от страшного потрясения, — писал Победоносцев. — Думая об вас в эти минуты, на кровавом пороге, через который Богу угодно провести вас в новую судьбу вашу, вся душа моя трепещет за вас — страхом неведомого грядущего на вас и на Россию, страхом великого несказанного бремени, которое на вас ложится. Любя вас, как человека, хотелось бы, как человека, спасти вас от тяготы в привольную жизнь; но на это нет силы человеческой, ибо так благоволил Бог. Его была святая воля, чтобы вы для этой судьбы родились на свет и чтобы брат ваш возлюбленный, отходя к нему, указал вам на земле свое место».

Александр вспомнил, как шестнадцать лет назад умирал брат Николай{194}. На шестой неделе поста, в апреле, стало ясно, что наследнику не суждено жить. А до той поры Александру и в голову не приходило, что надо царствовать. Он мечтал о тихой и привольной жизни. И вдруг все переменилось. Он вспомнил, как пришел к нему милейший Я. К. Грот{195}, его учитель, и стал утешать, а он, Александр, неожиданно для себя самого сказал: «Нет, я уж вижу, что нет надежды: все придворные начали за мной ухаживать». Сказав это, он пришел в ужас, впервые представив себе ясно, что ему придется быть царем. Но ведь он совсем не готов к престолу. Он худо учился и ничего не знает. Правда, кроме Я. К. Грота, были у него и другие учителя: ему читал курс истории С. М. Соловьев, право — К. П. Победоносцев, стратегию — генерал М. И. Драгомиров. Но он лениво я беспечно их слушал, вовсе

не думая о Престоле, об ответственности перед Россией и мирон. [327]

Теперь уж поздно учиться. А ведь как надо знать историю, например, чтобы разбираться в политике, чтобы уразуметь смысл этой мировой драмы, такой жестокой и мрачной. Что ж! Придется искать людей, прислушиваться к тому, что говорят более опытные и знающие, чем он. Кому довериться? Неужто графу Лорис-Меликову?{196} Он вспомнил армянский нос и простодушные глаза этого так хорошо ему известного Михаила Тариеловича, и чувство раздражения и гнева шевельнулось в сердце. Не уберег отца. Одновременно с письмом Победоносцева получена записка от Лорис-Меликова: «Квартира, из которой 1 марта были выданы двумя злодеями снаряды, употребленные ими в дело, открыта сегодня перед рассветом. Хозяин квартиры застрелился, жившая с ним молодая женщина арестована. Найдены два метательные снаряда и прокламация по поводу последнего преступления, при сем представляемая»{197}.

Александр прочитал прокламацию. «Два года усилий и тяжелых жертв увенчались успехом. Отныне вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы способно сломить даже вековой деспотизм Романовых. Исполнительный комитет считает необходимым снова напомнить во всеуслышание, что он неоднократно предостерегал ныне умершего тирана, неоднократно увещевал его покончить свое человекоубийственное самоуправство и возвратить России ее естественные права...»

Александру был непонятен этот язык. В чем дело? Эти люди называют отца «тираном». Почему? Разве он не освободил крестьян, не реформировал суд, не дал земского самоуправления? Чего они еще хотят? Почему эти люди так нетерпеливы? Они недовольны тем, что покойный отец не спешил дать конституцию? Они не понимают, как все это

сложно и трудно. И они сами мешали реформам. Зачем Каракозов стрелял в отца в 1866 году или Березовский{198} в Париже в 1867-м? Зачем? Отца травили, как зверя. Возможно ли думать о реформах, когда приходится выезжать из дворца о казаками и ждать на каждом шагу убийц?

Михаил Тариелович убедил, однако, его, цесаревича, что необходимо привлечь к обсуждению государственных дел земских людей. Александр Александрович поверил графу, что так надо. Вот целая пачка писем. Примерно с февраля прошлого года Михаил Тариелович [328] переписывался с ним, наследником, по вопросу о законосовещательном учреждении{199}. И отец соглашался на это. Утром 1 марта, в день смерти, он подписал «конституцию». С точки зрения этих революционеров реформа Лорис-Меликова, быть может, еще не «конституция». Но ведь нельзя же все сразу. Он, Александр Александрович, худо знает историю, но эти бомбометатели, кажется, знают ее хуже, чем он. О каких таких «естественных правах» России говорит сочинитель этой ребяческой прокламации? Послушал бы он лекции Константина Петровича Победоносцева о «праве» или рассуждения С. М. Соловьева об истории, тогда, вероятно, он не так бы развязно написал свою прокламацию.

Впрочем, все это спорно и трудно, а вот одно ясно, что отец растерзан бомбой, что оп уже никогда не улыбнется и не пошутит, как он улыбался и шутил. Забыть бы теперь о государственных делах, никого не принимать, запереться здесь, в Гатчине, припомнить детство, юность, отношения с отцом... Хочется забыть все обиды, оскорбительные связи отца с разными женщинами и этот роман с неумной княжной Долгорукой{200}, тянувшийся шестнадцать лет... Но нельзя думать о своем частном семейном даже в этот час утраты. Что же делать? Неужели опубликовать подписанную отцом «конституцию»? Год тому назад цесаревич, а теперь император всероссийский, Александр III, узнав о том, что

отец одобрил либеральную программу Лорис-Меликова, писал министру: «Слава Богу! Не могу выразить, как я рад, что государь так милостиво и с таким доверием принял вашу записку, любезный Михаил Тариелович. С огромным удовольствием и радостью прочел все пометки государя; теперь смело можно идти вперед и спокойно и настойчиво проводить вашу программу на счастье дорогой родины и на несчастье господ министров, которых, наверно, сильно покоробит эта программа и решение государя, — да Бог с ними! Поздравляю от души, и дай Бог хорошее начало вести постоянно все дальше и дальше и чтобы и впредь государь оказывал вам то же доверие».

Это было написано 12 апреля 1880 года, и вот шли недели, месяцы, а дело не двигалось вперед, потому что благонамеренному Михаилу Тариеловичу приходилось неоднократно докладывать царю и наследнику об арестах и покушениях, об агентурных сведениях, об [329] охране — и все это мешало действовать, и Лорис-Меликов не решался представить окончательный проект своей «конституции».

«Дело нигилистов, — писал он наследнику 31 июля 1880 года, — находится в том же положении, в каком оно было во время недавнего пребывания вашего высочества в Царском. Активных действий, за исключением одного случая, хотя и не проявляется, но самое это затишье побуждает нас усугублять надзор. Недавно произведено в Петербурге четыре весьма важных ареста. Одна из задержанных — дочь отставного гвардейского ротмистра Дурново... В схваченных у Дурново бумагах имеется указание на отправленный с нею печатный станок... При ней же найден устав федерального общества «Земля и воля»... Второй арестованный, Захарченко, взят на Литейном, вместе с гражданской женой, еврейкой Рубанчик. Захарченко сознался уже, что работал в подкопе...» и т. д. и т. д.

Все эти сообщения сыпались как из рога изобилия, и Михаил Тариелович не решался возобновить с царем разговор о вызове земских деятелей для участия в государственных делах.

А между тем повсюду распространялись листки «Народной воли». «Один экземпляр листка, — писал Лорис-Меликов, — решаюсь препроводить к вашему высочеству, несмотря на то что вся вторая половина его посвящена самому непристойному глумлению надо мной. Не знаю, дошло ли до сведения вашего высочества, что Гольденберг{201} на прошлой неделе повесился в своей камере в Петропавловской крепости, оставив обширные записки о причинах, побудивших его к самоубийству. Вся прошлая неделя замечательна тем, что независимо от Гольденберга в Петропавловской крепости и в доме предварительного заключения было три покушения на самоубийство. Студент Броневский повесился было на простыне, но был снят в самом начале покушения. Хищинский отравился раствором фосфора и приведен в чувство своевременно поданным медицинским пособием, наконец, Малиновская, осужденная в каторжные работы, пыталась два раза лишить себя жизни, но была вовремя предупреждена{202}. Я коснулся этих явлений, так как они приводят к прискорбному заключению, что на исцеление людей, заразившихся социальными идеями, не только трудно, но и невозможно рассчитывать. Фанатизм их превосходит всякое вероятие; [330] ложные учения, которыми они проникнуты, возведены у них в верования, способные довести их до полного самопожертвования и даже до своего рода мученичества».

Итак, враг непримирим. И если прав Михаил Тариелович и революционеры в самом деле готовы на все, даже на мученичество, то какие же уступки могут успокоить и удовлетворить этих людей? Не очевидно ли, что нигилисты мечтают о чем-то более серьезном и окончательном, чем

приглашение земских деятелей на петербургские совещания? «Конституция» Михаила Тариеловича покажется им, пожалуй, жалкой подачкой, и она послужит им поводом для новых выступлений. Не надо ли сначала изничтожить этих врагов порядка и законности, а потом уж думать о народном представительстве? Лорис-Меликов, конечно, — почтенный, умный и благонамеренный человек, но он как будто смотрит несколько свысока на него, цесаревича. Вот Константин Петрович Победоносцев не глупее Лорис-Меликова, а что до образованности, то Михаилу Тариеловичу трудно с ним соперничать, и все же у этого старого учителя Александра Александровича не только нет высокомерия, а даже чувствуется почтительность верноподданного. На Константина Петровича можно положиться. Этот не выдаст. А он, кажется, не сочувствует планам Лорис-Меликова.

И вот наступило страшное 1 марта. Через три дня Лорис-Меликов писал императору: «Сегодня в два часа пополудни на Малой Садовой открыт подкоп из дома графа Мендена из сырной лавки. Предполагается, что в подкопе установлена уже батарея. К осмотру экспертами будет приступлено. Пока обнаружено, что вынутая земля скрывалась в турецком диване и бочках. Лавка эта была осматриваема полицией до 19 февраля вследствие подозрений, которые навлекли на себя недавно прибывшие в столицу хозяин лавки крестьянин Кобозев и его жена; но при осмотре ничего в то время не было обнаружено»{203}.

Как же так «не обнаружено»? Нет, худо, значит, охраняли особу государя! А ведь за это, в сущности, отвечать должен граф Михаил Тариелович…

Шестого марта Александр Александрович получил от Победоносцева длинное письмо. «Измучила меня тревога, — писал он. — Сам не смею явиться к вам, чтобы не беспокоить, ибо вы стали на великую высоту. [331] …Час страшный, и

время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда! Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению, — о, ради Бога, не верьте, ваше величество, не слушайте. Это будет гибель России и ваша, это ясно для меня как день. Безопасность ваша этим не оградится, а еще уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью». Такое письмо страшно было читать. Вокруг трона, оказывается, одни лишь «дряблые евнухи...». «Последняя история с подкопом приводит в ярость народное чувство...» Народ будто бы видит в этом измену. Он требует, чтобы виновные были изгнаны... Изменников надо прогнать. И прежде всего графа Лорис-Меликова. «Он фокусник и может еще играть в двойную игру»{204}.

А между тем на 8 марта в два часа пополудни назначено было заседание Совета министров. На этом заседании должна была решиться судьба «конституции» Лорис-Меликова. К указанному часу министры и некоторые приглашенные собрались в малахитовой комнате Зимнего дворца. Ровно в два часа вышел Александр III и, стоя у двери, пожимал всем руки, когда участники Совета проходили мимо него в залу заседания. Вокруг стола, покрытого малиновым сукном, стояло двадцать пять кресел. Из них пустовало только одно: не приехал на заседание великий князь Николай Николаевич...{205} Еще будучи наследником, Александр Александрович писал про этого своего дядю Лорис-Меликову: «Если Николай Николаевич не был бы просто глуп, я бы прямо назвал его подлецом». У них были свои счеты, как известно. Посреди стола, спиною к окнам,

обращенным на Неву, сел царь. Против него поместился Лорис-Меликов.

Началось заседание. Александр Александрович, как будто несколько смущаясь и неловко поворачивая в тесном для него кресле свое огромное и грузное тело, объявил, что присутствующие собрались для обсуждения одного вопроса, в высшей степени важного. «Граф Лорис-Меликов, — сказал он, — докладывал покойному государю о необходимости созвать представителей от [332] земства и городов. Мысль эта в общих чертах была одобрена покойным моим отцом... Однако вопрос не следует считать предрешенным, так как покойный батюшка хотел прежде окончательного утверждения проекта созвать для рассмотрения его Совет министров».

Затем царь предложил Лорис-Меликову прочесть его записку. Она была составлена до 1 марта, и в том месте, где говорилось об успехах, достигнутых примирительной политикой по отношению к обществу, царь прервал чтение.

— Кажется, мы заблуждались, — сказал он и густо покраснел, встретив рысий взгляд Победоносцева, который сидел рядом с Лорис-Меликовым.

После докладной записки первым заговорил почти девяностолетний граф Строганов. Шамкая и брызгая слюной, он говорил о том, что, ежели пройдет проект министра внутренних дел, власть окажется в руках «разных шалопаев, думающих не о пользе общей, а только о своей личной выгоде... Путь, предлагаемый министром, ведет прямо к конституции, которой я не желаю ни для государя, ни для России...».

Повернувшись в кресле, так что оно затрещало, Александр Александрович сказал угрюмо:

— Я тоже опасаюсь, что это первый шаг к конституции.

Вторым говорил граф Валуев. Он старался объяснить, что проект Лорис-Меликова очень далек от настоящей конституции и что следует его принять безотлагательно, удовлетворяя тем справедливое притязание общества.

Потом говорил Милютин. По его мнению, предложенная мера решительно необходима. Несчастный выстрел Каракозова помешал делу реформ, и разлад между правительством и обществом слишком опасен. Надо выразить обществу внимание и доверие, пригласив депутатов для государственного совещания. Весть о предполагаемых новых мерах проникла и за границу...

Тогда Александр Александрович перебил министра: — Да, но император Вильгельм, до которого дошел слух о том, будто бы батюшка хочет дать России конституцию, умолял его в собственноручном письме не делать этого...

Тщетно Милютин, продолжая речь, старался доказать, [333] что в проекте нет и тени конституции, царь смотрел на него недоверчивыми, непонимающими глазами.

Выступил министр почт Маков. Этот не поскупился на такие верноподданнические восклицания, что даже сам Александр Александрович замотал головой, как будто его душил галстук.

Министр финансов Абаза, раздраженный лакейством Макова, не без горячности поддерживал лорис-меликовский проект, уверяя царя, что самодержавие останется незыблемым, несмотря ни на что.

Тогда выступил Лорис-Меликов. Он очень понимает, как трудно идти навстречу пожеланиям общества в дни таких испытаний и потрясений, но другого нет выхода. Он, Лорис-

Меликов, сознает свою вину перед Россией, потому что он не уберег государя, но, видит Бог, он служил ему всей душой и всеми силами. OR просил об отставке, но его величеству не угодно было уволить его, Лорис-Меликова…

Александр кивнул головою:

— Я знал, что вы, Михаил Тариелович, сделали все, что могли.

Теперь очередь дошла до Победоносцева. Он был белый как полотно. Бескровными губами, задыхаясь от волнения, он произносил речь, как заклятия. Он в отчаянии. Когда-то польские патриоты кричали о гибели родины — «Finis Poloniae!». Теперь, кажется, приходится нам, русским, кричать — «Finis Russiae!» — «Конец России!». Проект министра дышит фальшью. Явно, что хотят внести конституцию, не произнося страшного слова. Почему депутаты будут выражать действительное мнение страны? Почему? Все это ложь и обман…

— Да, — сказал государь, — я то же думаю. В Дании мне говорили министры, что депутаты, заседающие в палате, не могут считаться выразителями действительных народных потребностей.

Победоносцев выпил стакан воды и продолжал:

— Нам предлагают устроить говорильню вроде французских «Etats generaux»{206}. Но у нас и так слишком много этих говорилен — земские, городские, судебные… Все болтают, и никто не работает. Хотят устроить всероссийскую верховную говорильню. И теперь, когда по ту сторону Невы, рукой подать отсюда, [334] лежит в Петропавловском соборе еще не погребенный прах благодушного царя, который среди бела дня растерзан русскими людьми, нам решаются говорить об ограничении самодержавия! Мы должны сейчас не о

конституции говорить, а каяться всенародно, что не сумели охранить праведника. На нас всех лежит клеймо несмываемого позора...

У Александра Александровича опухли глаза, и он пробормотал:

— Сущая правда. Мы все виноваты. Я первый обвиняю себя.

Победоносцев замолчал. Заговорил Абаза:

— Речь Константина Петровича — мрачный обвинительный акт против царствования покойного императора. Справедливо ли это? Цареубийство — вовсе не плод либеральной политики, как думает Константин Петрович. Террор — болезнь века, и в этом неповинно правительство Александра Второго. Разве не стреляли недавно в германского императора, не покушались убить короля итальянского и других государей? Разве на днях не было сделано в Лондоне покушение взорвать на воздух помещение лорд-мэра?

После Абазы говорили Д. М. Сольский, К. П. Посьет, князь С. И. Урусов, А. А. Сабуров, Д. Н. Набоков, принц П. Г. Ольденбургский, великий князь Константин Николаевич, великий князь Владимир Александрович, но дело было решено. Проект сдали в комиссию. Победоносцев похоронил конституцию. Песенка Лорис-Меликова была спета{207}.

II

Александр Александрович уехал в Гатчину. Жить здесь было невесело. Почти каждый день приходили записки от Лорис-Меликова с сообщениями о допросах арестованных, о новых арестах, о новых предполагавшихся покушениях и заговорах... А тут еще хлопоты с княгиней Юрьевской, которая пристает с деньгами, с покупкой для нее какого-то

дома. А потом опять аресты и опять предупреждения, что нельзя выезжать из Гатчины или, напротив того, надо поскорее оттуда выехать, но только не в тот час, какой назначен, а в другой, чтобы обмануть каких-то бомбометателей, которые мерещились всюду жандармам, потерявшим голову. [335]

Одиннадцатого марта пришло письмо Победоносцева. «Именно в эти дни, — писал он, — нет предосторожности, излишней для вас. Ради бога, примите во внимание нижеследующее: 1) Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою дверь — не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до входной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. 2) Непременно наблюдать каждый вечер, перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать. 3) Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке. 4) Один из ваших адъютантов должен бы был ночевать вблизи от вас, в этих же комнатах. 5) Все ли надежны люди, состоящие при вашем величестве. Если кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его...»

И так далее. От этих утомительных верноподданнических предупреждений становилось тошно и стыдно, но приходилось в самом деле запирать двери, опасаясь неведомого врага, подозрительно оглядывать лакеев, которые тоже смущались и отворачивались, понимая, что им не верит государь. Все это было очень мучительно и трудно.

В эти дни прошла перед Александром Александровичем вся его жизнь. Так припоминаешь юность, молодость, все былое, когда сидишь в одиночной тюрьме и не знаешь будущего. По ночам Александр Александрович худо спал. Ворочался на своей постели, которая трещала под грузным телом

императора. Иногда становилось невмоготу, и царь спускал босые огромные ноги на пол, садился на постель, а кровать почему-то стояла у стены со сводом, и приходилось нагибаться, чтобы не разбить головы: совсем как в тюрьме. Но Александру Александровичу нравилось, что в комнате тесно. Он не любил просторных комнат, ему было не по себе в больших залах, он боялся пространства. В комнате много было мебели, и негде было повернуться. Умывальник стоял рядом с книжной полкой, и умываться было неудобно, но царь рассердился, когда камердинер хотел убрать лишние кресла.

В бессонные ночи припоминалось прошлое. Прежде было жить легче и приятнее, — тогда ведь он не был! царем, — но и в те дни было, немало скорбей, однако иногда припоминались какие-то мелочи и глупости. [336]

Вот, например, вспомнилась почему-то поездка в Москву в 1861 году{208}, когда ему было шестнадцать лет и он не помышлял о царстве. Его и брата Владимира повезли в коляске на Воробьевы горы; там их окружили молоденькие торговки с вишнями; Володя очень мило с ними шутил, а он, Саша, конфузился и дичился, хотя ему тоже хотелось поболтать с этими миловидными хохотуньями, совсем не похожими на девиц, каких он видел во дворцах. Володя потом трунил над ним. В семье звали Сашу то «мопсом», то «бычком».

Потом вспомнился этот ужасный 1865 год, когда в Ницце умер брат Николай и он, Саша, сделался наследником престола. На следующий год в июне пришлось ехать в Фреденсборг{209}. Датская принцесса Дагмара, невеста покойного брата, стала теперь его невестой. Сначала он дичился короля Христиана и его дочери, совсем как пять лет тому назад торговок с вишнями на Воробьевых горах, а потом привык, и ему даже нравилась эта семья, скромная и

буржуазная, где все были расчетливы и не сорили деньгами, как в Петербурге. После свадьбы с Дагмарой, которая, приняв православие, сделалась Марией Федоровной{210}, он поселился в Аничковой дворце, и можно было бы зажить спокойной и мирной жизнью. Но столица Российской империи не похожа на провинциальный Фредеисборг. Какая-то жуткая, тревожная и тайная жизнь чувствовалась за великолепными декорациями Петербурга. После каракозовского выстрела 4 апреля 1860 года все стало как будто непрочным и зловещим. Катков намекал в своей газете, что к каракозовскому делу причастен великий князь Константин Николаевич.

Но были и приятные воспоминания. Вот, например, как было хорошо в весенние дни в Царском Селе, когда граф Олсуфьев, генерал Половцов, принц Ольденбургский и еще два-три человека составляли маленький оркестр{211}. Александр Александрович сначала играл на корнете, а потом, когда оркестр увеличился, заказал себе огромный медный геликон. Сбросив сюртук, наследник влезал головой в инструмент, клал трубу на плечо и добросовестно дул в медь, исполняя партию самого низкого баса. Иногда эти концерты устраивались в Петербурге, в помещении Морского музея, в здании Адмиралтейства. Огромный геликон цесаревичи [337] гудел дико и заглушал все остальные басы. Было весело пить чай с. калачами после этих музыкальных упражнений.

Припоминалось и другое — мрачное и стыдное. Вот, например, в 1870 году эта история с штабным офицером, шведом по происхождению... Александр Александрович так однажды рассердился на этого шведа, что непристойно изругал его, а он имел глупость прислать письмо, требуя от него, цесаревича, извинений и угрожая самоубийством, ежели извинения не последует. И что же! Этот офицер действительно пустил себе пулю в лоб. Покойный государь, разгневанный, приказал Александру Александровичу идти за

гробом этого офицера, и пришлось идти. А это было страшно, мучительно и стыдно…

А потом опять — приятное: семья, дети, домашний уют… Он делился тогда своими чувствами с Константином Петровичем Победоносцевым: «Рождение есть самая радостная минута жизни, и описать ее невозможно, потому что это совершенно особое чувство, которое», не похоже ни на какое другое»{212}.

Государственными делами тогда приходилось заниматься мало, и Александр Александрович, краснея, вспоминал, что он не прочь был полиберальничать. В отце он замечал черты самоуправца и самодура. «Теперь такое время, — писал он тогда, — что никто не может быть уверен, что завтра его не прогонят с должности… К сожалению, в официальных отчетах так часто прикрашивают, а иногда и просто врут, что я, признаюсь, всегда читаю их с недоверием…» Он почитывал славянофильские статьи Самарина и Аксакова. В часы досуга — романы Лескова, Мельникова и еще кое-кого по выбору и советам Победоносцева.

В октябре 1876 года отношения с Турцией обострились настолько, что война казалась неизбежной. Александр Александрович писал тогда Победоносцеву о политических делах и, чувствуя, что разобраться в них ему не под силу, так откровенно и признался своему ментору: «Простите меня, Константин Петрович, за это нескладное письмо, но оно служит отражением моего нескладного ума».

В это же время приблизительно Победоносцев писал цесаревичу: «Вам известно, в каком возбуждении находится в эту минуту русское общество в Москве [338] по поводу политических событий… Все спрашивали себя, будет ли война. И в ответ слышат друг от друга, что у нас ничего нет — ни денег, ни начальников, ни вещественных средств, что

военные силы не готовы, не снабжены, не снаряжены; потом опять спрашивают, куда же девались невероятно громадные суммы, потраченные на армию и флот; рассказывают поразительные, превышающие всякое вероятие, истории о систематическом грабеже казенных денег в военном, морском и разных других министерствах, о равнодушии и неспособности начальствующих лиц и прочее. Такое состояние умов очень опасно».

Однако движение в пользу Сербии столь значительно, что правительство обязано взять в свои руки дело войны. Так и случилось. В апреле объявлена была война, а 26 июня 1877 года Александр Александрович был уже в Павлове и вступил в командование Рущукским отрядом. Он думал, что отец назначит его главнокомандующим всей армии, но царю отсоветовали. Но верили, что этот неповоротливый, негибкий человек с «нескладным умом», сможет руководить ответственной кампанией. Главнокомандующим назначен был великий князь Николай Николаевич — старший, чего никогда не мог простить ему Александр Александрович.

Николай Николаевич поручил цесаревичу охранять дорогу от переправы через Дунай у Систова к Тырнову. И Александр Александрович покорно исполнял предписание, не смея проявить никакой инициативы. Приходилось писать письма начиная с обращения «милый дядя Низи» и подписываться «любящий тебя племянник Саша». Один из спутников цесаревича, граф Сергей Шереметев{213}, писал в дневнике: «Очень жаль цесаревича; тяжелое его положение». Рущукский отряд в боях участвовал не часто, и дни тянулись медлительно и скучно. «Вчера долго вечером лежали на сене, — пишет в дневнике Шереметев, — ночь была чудная, и полный месяц освещал все бивуаки, но такие ночи здесь только нагоняют тоску. Я смотрел на цесаревича, которому иной раз бывает невесело».

В июле, меняя главную квартиру, двинулись от Обретенника к Черному Лому. Ехали засохшими поля-Ми, с пожелтевшей травой, общипанной кукурузой, кочками, мелким кустарником. Миновали немое турецкое кладбище со множеством камней без надписей... [339] Потом поехали в Острицу. Там цесаревич, считавший себя любителем археологии, приказал разрывать курган и сам взял лопату и долго копал, пыхтя, так что спина совершенно промокла. Нашли скелет и два медных кольца.

В августе у Шипки несколько дней шли кровопролитные бои. Четырнадцатого числа получено было известие из главной квартиры, что предписано бомбардировать Рущук. Обсуждая депешу с начальником штаба Ванновским, цесаревич вдруг замолчал, смотря куда-то вдаль, забыв, должно быть, что оп тоже командующий значительной военной частью. Можно было догадаться, что Александр Александрович думает о семье, о спокойной буржуазной жизни. Поиграть бы сейчас на корнете, пошутить с ребятами, потом подремать после сытного простого обеда. А тут все тревожно. И даже небо кажется сейчас каким-то необыкновенным, волшебным и жутким. Кто-то посмотрел на часы и сказал: «Сейчас начинается». И в самом деле, через минуту началось лунное затмение. Луна обратилась в какое-то кровавое, грязное пятно. Было так темно, что принесли фонари и поставили на опрокинутый ящик, заменявший стол.

Восьмого сентября Александр Александрович писал Победоносцеву: «Не думали мы, что так затянется война, а начало так нам удалось и так хорошо все шло и обещало скорый и блестящий конец, и вдруг эта несчастная Плевна! Этот кошмар войны!»

Но вот в конце концов Плевна взята, русские войска вновь перешли Балканы, заняли Адрианополь и подошли в январе 1878 года к Константинополю. 1 февраля вернулся цесаревич

в Петербург. История сан-стефанских переговоров известна. Известны и результаты Берлинского конгресса.

Двадцать пятого июня 1878 года Победоносцев писал цесаревичу: «Посмотрите, сколько горечи и негодования выражается каждый день, слышится отовсюду по поводу известия об условиях мира, вырабатываемых на конгрессе».

Невеселы были воспоминания и о семейной жизни отца: мать, покинутая и забытая, длинная вереница отцовских любовниц — Долгорукая первая, Замятина, Лабунская, Макова, Макарова и эта скандальная история с Вандой Кароцци, общедоступной петербургской блудницей. И не менее постыдная история в Ливадии [340] с гимназисткой, дочерью камер-лакея. И этот, наконец, длительный роман с Долгорукою второй, ныне светлейшей княгиней Юрьевской, морганатической супругой покойного государя… А последние два года перед смертью отца и вовсе были похожи на кошмар. Смятение в обществе, террор подпольных революционеров и полное бессилие правительства… Министры говорят фразы, и виляют, и лгут. Они заискивают то у царя, то у либеральных журналистов. Один только есть твердый и неуклонный человек. Это — Победоносцев. Он не дремлет. «Я вижу, — писал он, — немало людей всякого чина и звания. От всех здешних чиновников и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных людей или исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово: конституция. Боюсь, что это слово уже высоко проникло и пускает корпи».

Победоносцев внушал цесаревичу, что народ не хочет конституции. «Повсюду, — писал он, — в народе зреет такая мысль: лучше уже революция русская и безобразная смута, нежели конституция… В нынешнее правительство так уж все изверились, что ничего от него не чают. Ждут в крайнем смущении, что еще будет, но народ глубоко убежден, что

правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти... Всю надежду возлагают в будущем на вас, и у всех только в душе шевелится страшный вопрос: неужели и наследник может когда-нибудь войти в ту же мысль о конституции»?

Эти письма и речи Константина Петровича гипнотизировали медлительный и нескладный ум цесаревича. Он уже рассеянно слушал доводы Лорис-Меликока и, даже соглашаясь с ним, чувствовал, что где-то рядом звучит властный голос Победоносцева и что этот голос в конце концов заглушит хриповатый, прерываемый кашлем голос Михаила Тариеловича.

III

Весна 1881 года казалась Александру Александровичу мрачной и безнадежной: ничего доброго она не сулила. Хотелось забыть поскорее о кошмаре 1 марта, но нельзя было забыть, ибо Лорис-Меликов присылает [341] каждый день сведения о ходе следствия над цареубийцами, и приходится волей-неволей думать о том, что же делать и как быть. Убийц будут судить. Александру Александровичу и в голову не приходило, что может быть вопрос о решении суда. Конечно, они виновны. Конечно, их надо казнить! И что же! Находятся люди, которые сомневаются в этом. А есть и такие, которые уверенно требуют помилования злодеев. У милейшего Сергея Михайловича Соловьева есть, оказывается, какой-то сумасшедший сын Владимир. Он произнес 28 марта публичную речь, предлагая верховной власти не казнить тех, кто растерзал бомбой государя{214}. И публика не прогнала его с кафедры. Напротив, ему устроили овацию... А что он говорил? Он уверял, что «только духовная сила Христовой истины может победить силу зла и разрушения», что «настоящее тягостное время дает русскому царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала

всепрощения...». Какое жалкое лицемерие! А может быть, и коварство! Злобный Желябов тоже говорил на суде о христианстве. Он, видите ли, «православие отрицает», но признает «сущность учения Иисуса Христа». «Эта сущность учения, — сказал он, — среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера». Какая ложь! Л между тем даже среди министров находятся такие, которые не прочь, кажется, заменить казнь тюрьмою этому мнимому христианину.

Один только тверд и непреклонен. Это — Победоносцев. 13 марта он прислал Александру Александровичу письмо и умолял его не щадить убийц. «Люди так развратились в мыслях, — писал он, — что иные считают возможным избавление осужденных преступников, от смертной казни... Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения... Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий...» [342]

Вот уж тут нет лицемерия. Константин Петрович знает, чего он хочет. И Александр Александрович не замедлил ответом: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь».

Несмотря на речь Победоносцева, произнесенную им 8 марта, министры все еще не понимали, что. либеральные проекты лопнули, как мыльные пузыри. На совещании 21

апреля опять был поднят вопрос о представительстве земских людей. Теперь уж Александр Александрович не колебался в оценке этого проекта. «Сегодняшнее наше совещание сделало на меня грустное впечатление, — писал он своему вдохновителю Победоносцеву, — Лорис, Милютин и Абаза положительно продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства, по пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, конечно, этого не будет, я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убежусь в пользе подобной меры, слишком я уверен в ее вреде. Странно слушать умных людей, которые могут серьезно говорить о представительном начале в России, точно заученные фразы, вычитанные ими из нашей паршивой журналистики и бюрократического либерализма. Более и более убеждаюсь, что добра от этих министров ждать я не могу. Дай Бог, чтобы я ошибался. Не искренни их слова, неправдой дышат... Трудно и тяжело вести дело с подобными министрами, которые сами себя обманывают» .

Получив это письмо, Победоносцев, вероятно, долго потирал руки от удовольствия. Наконец-то он добился от своего питомца интонации настоящего самодержца. Теперь можно было приступить к решительному действию. Надо огорошить этих либералов манифестом И он потребовал его у Александра Александровича, прикрыв свое требование льстивыми и елейными слова ми. Государь повиновался. И манифест был написал Константином Петровичем и без ведома министров опубликован.

«Посреди великой нашей скорби, — сказано было в манифесте между прочим, — глас божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и [343] охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

На заседании министров манифест был заслушан. Это было совершенной неожиданностью. Кто писал манифест? Константин Петрович. Он сам с восторгом рассказывал его величеству, как после чтения манифеста «многие отворачивались и не подавали руки» ему, Победоносцеву. Лорис-Меликов, Милютин и Абаза немедленно покинули свои министерские посты.

Тридцатого апреля Александр писал Лорис-Меликову: «Любезный граф Михаил Тариелович, получил ваше письмо сегодня рано утром. Признаюсь, я ожидал его, и оно меня не удивило. К сожалению, в последнее время мы разошлись совершенно с вами во взглядах, и, конечно, это долго продолжаться не могло. Меня одно очень удивляет и поразило, что ваше прошение совпало с днем объявления моего манифеста России, и это обстоятельство наводит меня на весьма грустные и странные мысли?!»

Здесь Александр Александрович поставил знак восклицания и знак вопроса. Это была несомненная ошибка в пунктуации. Не было надобности ни восклицать, ни спрашивать о том, что и без того понятно. Можно было просто поставить самую обыкновенную скучную точку. Кончилась либеральная идиллия. Наступила реакция.

Кажется, в истории государства Российского не было более скучного времени, как эти тринадцать лет царствования императора Александра III. Лихорадочное возбуждение шестидесятых и семидесятых годов вдруг сменилось каким-то странным сонным равнодушием ко всему. Казалось, что вся Россия дремлет, как большая ленивая баба, которой надоело мыть и чистить, и вот она бросила горницу неубранной и горшки немытыми и завалилась на печь, махнув на все рукой.

Вот эта сонная, ленивая, непробудная тишина была но душе Александру Александровичу. Надо было во что бы то ни стало

угомонить растревоженную и взволнованную Русь. Самому государю не под силу была такая задача. Надо было заговорить, заколдовать эту буйную стихию, но для этого нужна была какая-то внутренняя сила. Такой силы вовсе не было у громоздкого, но рыхлого Александра Александровича. Нужен [344] был иной человек. Нужен был колдун. И такой колдун нашелся. Это был Константин Петрович Победоносцев.

В конце царствования Александра II по субботам, после всенощной, к нему захаживал для задушевных бесед Федор Михайлович Достоевский. У них были общие темы. Они оба ненавидели западную буржуазную цивилизацию. Они оба смеялись желчно над парламентами, над либеральными журналистами, над нравами и людьми... Они оба произносили многозначительно некоторые слова, например, «русский парод» или «православие», и они не замечали, что, произнося эти слова, они влагают в них разный смысл. Взволнованный Федор Михайлович, всегда горевший, как на костре, не замечал, что его будто бы сочувствующий ему собеседник холоден как лед. У Константина Петровича были еще тогда какие-то связи с Аксаковым и вообще с славянофильством, и он еще не решался тогда произнести свои последние слова, свои последние колдовские заклятия. Достоевский так и умер, не узнав, что его друг был пострашнее гоголевского колдуна из «Страшной мести».

Но Победоносцев понимал, какие силы были в Достоевском. Он думал, что Достоевского можно использовать для своих целей. Он это даже объяснял Александру Александровичу, тогда еще наследнику, и тот, узнав о смерти Федора Михайловича, писал своему учителю, что жаль Достоевского, что он был «незаменим». Возможно, что оба они ошибались. Ведь записал же в своем дневнике А. С. Суворин, будто бы в день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова Достоевский говорил ему, Суворину, что, несмотря на

отвращение к террору, он все-таки не решился бы предупредить власти, если бы ему случайно пришлось узнать о подготовленном покушении. И будто бы он говорил ему, Суворину, что он мечтает написать роман, где героем был бы монах вроде Алеши Карамазова, бросивший монастырь и ушедший в революцию, чтобы искать правды. Точно или неточно рассказал об этом Суворин, все равно, — во всяком случае, Победоносцеву, если бы Достоевский пережил 1 марта, пришлось бы услышать от своего ночного друга такие неожиданные вещи, какие понудили бы его отказаться от субботних бесед после всенощной.

Не сразу, однако, решился Константин Петрович [345] охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

На заседании министров манифест был заслушан. Это было совершенной неожиданностью. Кто писал манифест? Константин Петрович. Он сам с восторгом рассказывал его величеству, как после чтения манифеста «многие отворачивались и не подавали руки» ему, Победоносцеву. Лорис-Меликов, Милютин и Абаза немедленно покинули свои министерские посты.

Тридцатого апреля Александр писал Лорис-Меликову: «Любезный граф Михаил Тариелович, получил ваше письмо сегодня рано утром. Признаюсь, я ожидал его, и оно меня не удивило. К сожалению, в последнее, время мы разошлись совершенно с вами во взглядах,: и, конечно, это долго продолжаться не могло. Меня! одно очень удивляет и поразило, что ваше прошение) совпало с днем объявления моего манифеста России, и это обстоятельство наводит меня на весьма грустные и странные мысли?!»

Здесь Александр Александрович поставил знак восклицания и знак вопроса. Это была несомненная ошибка в пунктуации.

Не было надобности ни восклицать, ни спрашивать о том, что и без того понятно. Можно было просто поставить самую обыкновенную скучную точку. Кончилась либеральная идиллия. Наступила реакция.

Кажется, в истории государства Российского не было более скучного времени, как эти тринадцать лет царствования императора Александра III. Лихорадочное возбуждение шестидесятых и семидесятых годов вдруг сменилось каким-то странным сонным равнодушием ко всему. Казалось, что вся Россия дремлет, как большая ленивая баба, которой надоело мыть и чистить, и вот она бросила горницу неубранной и горшки немытыми и завалилась на печь, махнув на все рукой.

Вот эта сонная, ленивая, непробудная тишина была по душе Александру Александровичу. Надо было во что бы то ни стало угомонить растревоженную и взволнованную Русь. Самому государю не под силу была такая задача. Надо было заговорить, заколдовать эту буйную стихию, но для этого нужна была какая-то внутренняя сила. Такой силы вовсе не было у громоздкого, но рыхлого Александра Александровича. Нужен [344] был иной человек. Нужен был колдун. И такой колдун нашелся. Это был Константин Петрович Победоносцев.

В конце царствования Александра II по субботам, после всенощной, к нему захаживал для задушевных бесед Федор Михайлович Достоевский. У них были общие темы. Они оба ненавидели западную буржуазную цивилизацию. Они оба смеялись желчно над парламентами, над либеральными журналистами, над нравами и людьми… Они оба произносили многозначительно некоторые слова, например, «русский народ» или «православие», и они не замечали, что, произнося эти слова, они влагают в них разный смысл. Взволнованный Федор Михайлович, всегда горевший, как на костре, не замечал, что его будто бы сочувствующий ему

собеседник холоден как лед. У Константина Петровича были еще тогда какие-то связи с Аксаковым и вообще с славянофильством, и он еще не решался тогда произнести свои последние слова, свои последние колдовские заклятия. Достоевский так и умер, не узнав, что его друг был пострашнее гоголевского колдуна из «Страшной мести».

Но Победоносцев понимал, какие силы были в Достоевском. Он думал, что Достоевского можно использовать для своих целей. Он это даже объяснял Александру Александровичу, тогда еще наследнику, и тот, узнав о смерти Федора Михайловича, писал своему учителю, что жаль Достоевского, что он был «незаменим». Возможно, что оба они ошибались. Ведь записал же в своем дневнике А. С. Суворин, будто бы в день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова Достоевский говорил ему, Суворину, что, несмотря на отвращение к террору, он все-таки не решился бы предупредить власти, если бы ему случайно пришлось узнать о подготовленном покушении. И будто бы он говорил ему, Суворину, что он мечтает написать роман, где героем был бы монах вроде Алеши Карамазова, бросивший монастырь и ушедший в революцию, чтобы искать правды. Точно или неточно рассказал об этом Суворин, все равно, — во всяком случае, Победоносцеву, если бы Достоевский пережил 1 марта, пришлось бы услышать от своего ночного друга такие неожиданные вещи, какие понудили бы его отказаться от субботних бесед после всенощной.

Не сразу, однако, решился Константин Петрович [345] высказать свои последние «победоносцевские» формулы. Он ведь еще так недавно давал читать своему державному ученику Самарина и Аксакова. Нужен был какой-то переход от благодушного славянофильства к настоящему «делу», суровому и твердому, как кремень.

Для переходного времени понадобился славянофильствующий министр Игнатьев{215}. В этот первый год царствования при его содействии министр финансов Бунге провел две крестьянские реформы — понижение выкупных платежей и отмену подушной подати. Все это было сделано очень робко и убого, не без сопротивления, конечно, со стороны дворян-помещиков, почуявших, что на их улице наступает праздник. Учрежден был и крестьянский банк, давший, впрочем, ничтожные результаты. Была попытка упорядочить дело крестьянского переселения. Наконец, пришлось обратить внимание на рабочий вопрос. Несмотря на дворянскую и помещичью программу правительства, росли фабрики и заводы, в городах появился новый класс — пролетариат. Кое-где вспыхивали забастовки, и правительство, зная по опыту Западной Европы, что значат эти рабочие бунты и куда они ведут, пыталось, хотя и нерешительно, смягчить столкновения между предпринимателями и рабочими. Была ограничена продолжительность рабочего времени женщин и подростков; учреждена была фабричная инспекция; были изданы обязательные правила об условиях фабричной работы… Думали, что можно обойти политику, уладив социальный вопрос по-домашнему, хозяйственным, семейным способом. Но без политики трудно было что-нибудь делать даже славянофильскому министру. Игнатьев предложил государю проект земского собора, приуроченного к коронации. В этом направлении вел агитацию и вождь тогдашних славянофилов И. С. Аксаков, когда-то приятель Победоносцева. Это была последняя попытка «обновления» России. Это был призыв к тем «серым зипунам», о которых мечтал ночной собеседник Победоносцева Федор Михайлович Достоевский. «Серые зипуны» должны были сказать царю «всю правду». Но Достоевский был в могиле. Да и вообще у черного колдуна руки были развязаны. И он бросился к царю предупреждать об опасности.

«Прочитав эти бумаги, — писал Победоносцев, — я [346] пришел в ужас при одной мысли о том, что могло бы исследовать, когда бы предложение графа Игнатьева было приведено в исполнение... Одно появление такого манифеста и рескрипта произвело бы страшное волнение и смуту во всей России... А если воля и распоряжение перейдут от правительства в какое бы то ни было народное собрание, — это будет революция, гибель правительства и гибель России!»

В письме от 6 мая Победоносцев внушал царю, что Игнатьев должен быть удален. И Александр Александрович, хотя и читавший когда-то Самарина и Аксакова, но вовсе не склонный к славянофильской мечтательности, прогнал неумеренного ревнителя земской «соборности».

Победоносцев приказал царю призвать к власти Д. А. Толстого{216}. Этот уж не был мечтателем. И теперь Победоносцев мог заняться своей ворожбой без помехи.

IV

Князь Мещерский{217} писал в 1882 году своему недавнему приятелю К. П. Победоносцеву: «К вам приходить боишься. Вы стали слишком страшным, великим человеком...» В самом деле, к этому сроку Победоносцев стал «страшным», и, пожалуй, в каком-то смысле его можно было назвать «великим человеком». Победоносцев стал страшным не только для князя Мещерского, но и для всей России. Уничтожив Лорис-Меликова, а потом графа Игнатьева, растоптав всех неосторожных вольнодумцев — западников и славянофилов, задушив, как он надеялся, крамолу, Победоносцев овладел окончательно душой Александра III.

Пора отвергнуть легенду об этом предпоследнем императоре. Александр III не был сильным человеком, как многие думают. Этот большой толстый мужчина не был, правда,

«слабоумным монархом» или «коронованным дураком», как его величает в своих мемуарах верноподданный бюрократ В. П. Ламздорф, но он также не был тем проницательным и умным государем, каким его старается изобразить С. Ю. Витте. Александр III был неглуп. Но у него был тот ленивый и нескладный ум, который сам по себе бесплоден. Для командира полка такой ум достаточен, но для императора нужно [347] что-то иное. У Александра III не было также и воли, не было той внутренней крылатой силы, которая влечет человека неуклонно к намеченной цели. Ни большого ума, ни воли — какой же это сильный человек! Но зато в этом царе было нечто иное — великая тайна инерции. Это совсем не воля. Это сама косность. Слепая и темная стихия, тяготеющая неизменно к какому-то дольнему сонному миру. Он как будто всем существом своим говорил: я ничего не хочу; мне ничего не надо: я сплю и буду спать; и вы все ни о чем не мечтайте, спите, как я...

Сила инерции! Это и была идея Победоносцева. И он — счастливый — нашел изумительное воплощение этой своей излюбленной идеи. Более подходящего человека, чем Александр Александрович, для этих целей невозможно было сыскать. И Победоносцев, как верный пестун, лелеял этого огромного бородатого младенца, у которого не было никакой самостоятельной идеи. Он воспитал его и, уверившись, что он покорен, использовал его, как хотел. Этот самодержец, не замечая того, сделался вьючным животным, на которое взвалил свою тяжелую идейную ношу Победоносцев. Погонщик не торопил своего мула. Царь медленно шагал и дремал на ходу. Глаза его были закрыты. Смотреть вдаль ему не было надобности. За него все видел вожатый — Константин Петрович.

То, что Победоносцев был вдохновителем императора, — вне сомнений. Стоит перечитать огромную их переписку, чтобы стало ясно, как неустанно руководил царем этот

удивительный человек. Все правительственные мероприятия, направленные к умалению тех «свобод», какие были завоеваны при Александре II, внушались им, Победоносцевым. Он следил ревниво за каждым поворотом кормила. Он вмешивался не только в дела всех министров и всех департаментов — особливо в департамент полиции, по он следил за поведением самого царя, царицы и царских детей. В Петербург приехала какая-то особа, близкая Гамбетте, и будто бы искала встречи с государыней. Победоносцев спешит запретить это свидание, и государь успокаивает его, что все обошлось благополучно — свидания не было. И так во всех мелочах.

Александр III всегда и во всем согласен с Константином Петровичем. Победоносцев внушил ему, что как-то [348] чудотворно у них совершенно одни и те же мысли, чувства и убеждения. Александр Александрович поверил. Как хорошо! Теперь можно ни о чем не думать. У него есть Константин Петрович, который думает за него, царя.

Итак, программа царствования была обеспечена. Какая же это была программа? Припомним «реформы» этих лет. Они начались с уничтожения университетской автономии. Это дало повод к ликованию М. Н. Каткову{218}, неудачливому сопернику Победоносцева. Каткову ведь тоже хотелось руководить царем. Устав 1884 года был «ежовыми рукавицами» и для студентов и для профессоров. Со строптивыми юношами расправлялись просто — отдавали в солдаты. В средней школе насаждался мнимый классицизм. Юноши переводили «Капитанскую дочку» на латинский язык и не имели понятия об античной культуре. В народных школах низшего типа, переданных в ведение Святейшего синода, предполагалось ввести «духовно-нравственное» воспитание, но из этих казенных попыток «просветить» народ ничего доброго не вышло. Это была первая «реформа». В земской жизни, как известно, все мероприятия сводились к

тому, чтобы увеличить число гласных от дворян и уменьшить всячески крестьянское представительство. В конце концов гласные от крестьян назначались губернатором, разумеется по рекомендации земских начальников. Институт земских начальников определялся, как известно, принципами опеки тех же крестьян властью дворян-помещиков, то есть это был явный шаг в сторону крепостной зависимости. Это была вторая «реформа».

В области судебных уставов правительство рядом новелл ограничивало суд присяжных и всячески стремилось восстановить дореформенные принципы смешения административной и судебной власти. Это была третья «реформа». Новый цензурный устав решительно . душил оппозиционную прессу, и общество отвыкло **за** тринадцать лет царствования даже от урезанной свободы эпохи Александра П. Это была четвертая «реформа».

Каков же был смысл этих «реформ»? В планах самого Александра III мы тщетно стали бы искать идеологии его политической программы. Там ничего нет. Зато в письмах Победоносцева, а главное — в его знаменитом «Московском сборнике» она есть. Это в своем [349] роде замечательная программа. Константин Петрович был очень умный человек. Его желчный, злой и острый ум позволил ему обрушиться с беспощадной критикой на все начала так называемой демократии. Он высмеял, как никто, все закулисные махинации буржуазного парламентаризма, интриги биржи, подкупность депутатов, фальшь условного красноречия, апатию граждан и энергию профессиональных политических дельцов. Это — все жалкие говорильни. Наши земства устроены по тому же парламентскому принципу. Надо задушить земства. Победоносцев издевался над судом присяжных, над случайностью и неподготовленностью народных судей, над беспринципностью адвокатов, над неизбежной демагогией всех участников публичного

процесса, над безнаказанностью иных преступлений, развращающих общество… И он сделал соответственный вывод: надо задушить свободный, публичный, народный суд. Победоносцев остроумно смеялся над утилитаризмом так называемой реальной школы, ядовито критиковал университетскую автономию, глумился над идеей всеобщей обязательной грамотности. Итак, надо задушить университет и вообще народное образование.

Это была превосходная критика демократических начал. Но спрашивается, чего же хотел сам Победоносцев? В своем глубоко меланхолическом и безнадежном «Московском сборнике» Победоносцев молчит упорно о том, что, собственно, он предлагает в качестве положительной программы. Мы узнаем ее не из его книги, а из фактов. Никаких новых форм земской жизни, суда и школ не было создано. Была грубая попытка вернуться к сословие привилегированному строю на местах; к дореформенному суду, развращенному взятками и нравственно прогнившему насквозь; к водворению старых полицейских начал в высшей школе; к казенной и мертвой системе преподавания в школах средней и низшей… Никакого творчества! Ничего цельного, органичного и вдохновенного! А ведь он, Победоносцев, требовал «органичности»… Вместо этой желанной цельной жизни водворилась бездарная казенщина петербургских канцелярий.

Таковы были результаты победоносцевской ворожбы. Обер-прокурор Святейшего синода вместо «духовных» начал, о коих он неустанно говорил царю, привил русским людям такой циничный нигилизм, какой [350] и не снился его предшественникам на этом поприще. Решительно все прекрасные слова были обезображены его прикосновением. И надолго русские люди разучились верить в эти прекрасные слова, памятуя о победоносцевском лицемерии. Жалкий лгун, говоря о добром народе, он радел об интересах

привилегированных… Его книга, написанная как будто довольно складно, лишена всякого живого дыхания. От ее страниц веет смертью. Это — какой-то серый холодный склеп. В Победоносцеве была страсть, но это была какая-то странная, холодная, ледяная, колючая страсть ненависти. Все умирало вокруг него. Он, как фантастический паук, раскинул по всей России свою гибельную паутину. Даже князь Мещерский ужаснулся и сказал, что он «страшный».

Ревнители старого порядка и поклонники Победоносцева гордятся тем, что он был «православным». Но и это ложь. Замечательно, что Победоносцев не знал ни духа православия, ни его стиля. Если б он знал православие, он не переводил бы популярную, но сентиментальную и, с православной точки зрения, сомнительную книжку Фомы Кемпийского; он не распоряжался бы епископами, как своими лакеями; не душил бы казенщиной духовные академии, которые, кстати сказать, насаждали в это время у нас рационалистическое немецкое богословие… Его настоящая сфера была не церковь, а департамент полиции. Жандармы и провокаторы были его постоянными корреспондентами. Однажды попечитель одного из учебных заведений жаловался на священника-преподавателя, который был, по его мнению, «безнравственный и неверующий». На это Победоносцев ответил: «Зато он политически благонадежный!» И священник остался.

Победоносцев вмешивался не только во все сферы политики: он зорко следил за экономической и финансовой жизнью страны. По каждому вопросу у него были свои мнения. Дело об элеваторах его интересует, например, едва ли не больше, чем дела церкви. Он пишет царю письма и записки по этому поводу. И, конечно, это не единственное дело в этом роде. Министр финансов Н. К. Бунге, оставшийся на своем посту до 1 января 1887 года, неоднократно должен был отражать нападения Победоносцева, правда, часто косвенные, а не

прямые, как это было, например, с известной [351] «запиской» Смирнова{219}. В конце концов он должен был уйти, и его место занял профессор и делец И. А. Вышнеградский. При нем были ограничены либеральные мероприятия его предшественника — прежде всего круг деятельности фабричной инспекции. Приходилось поддерживать развивающуюся промышленность, но у нее был беспокойный спутник — рабочее движение. И Победоносцев с ужасом следил за его развитием. Уже первые этапы его приводили в трепет цербера нашей реакции. Он знал, что в 1883 году организовалась группа «Освобождение труда», где работали Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч. Он знал о стачке 1885 года в Орехове-Зуеве, на Морозовской фабрике, и следил вообще за стачечной волной, которая на недолгий срок затихла в 1887 году, когда миновал промышленный кризис. В 1890 году ему доносили о социал-демократической пропаганде на Путиловском заводе, в 1891 году — о первой маевке под Петербургом, в 1893 году — о забастовке на Хлудовской мануфактуре в Егорьевске Рязанской губернии, о беспорядках в железнодорожных мастерских в Ростове-на-Дону и, наконец, в последний год царствования — о забастовках в Петербурге, в Москве, в Шуе, в Минске, в Вильнюсе, в Тифлисе.

Та великолепная «сила инерции», на которую так надеялся Победоносцев, изменила ему. В душной и косной стихии вдруг началось какое-то странное движение. Он прислушивался к ропоту каких-то подземных волн, не понимая, откуда они. И вот тогда, в поисках неведомого врага, взоры Победоносцева и Александра III обратились на евреев. Не они ли то опасное бродило, которое вызывает эту ужасную смуту? По-видимому, Александр и его временщик не были одиноки в этом мнении. Огромной волной по всей России прошли еврейские погромы — иногда при содействии полиции. Войска неохотно усмиряли погромщиков, и когда

на это пожаловался царю генерал Гурко, Александр Александрович сказал: «А я, знаете, и сам рад, когда евреев бьют». Заговоры все еще мерещились царю. И для этого были основания. Он вспомнил, как на третий год царствования был убит Судейкин. Царь тогда надписал на докладе: «Потеря положительно незаменимая! Кто пойдет теперь на подобную должность!» Он вспоминал также об аресте Веры Фигнер. [352]

Царь, узнав об ее аресте, воскликнул тогда: «Слава Богу! Эта ужасна женщина арестована!» Ему доставили ее портрет, он подолгу смотрел на пего, не понимая, как эта девушка, с таким тихим и кротким лицом, могла участвовать в кровавых замыслах, А потом это памятное 8 мая 1887 года, когда были повешены пять террористов и среди них этот Александр Ульянов, о свидании с которым накануне казни так хлопотала его, мать...

Некоторые думают, что в иностранной политике Александр III был самостоятелен, что министр Гире скорее был его личным секретарем, чем независимым руководителем нашей дипломатии. Но к чему сводилась наша тогдашняя политика? Она была совершенно пассивна, и если мы не понесли за тринадцать лет этого царствования никакого ущерба, то это еще вовсе но доказывает высокой мудрости Александра III. Очень может быть, что, доживи император до 1903 года, ему пришлось бы вести Японскую войну, и ее финал, вероятно, был бы тот же, что и при Николае II. Ведь система была та же и люди те же. А наше неудержимое стремление на Дальний Восток (такое естественное, надо сказать) началось при Александре III, и оно тогда уже было чревато последствиями. Что касается успехов Скобелева в Средней Азии и взятия Мерва — это, можно сказать, совершилось без всякой инициативы со стороны Александра Александровича. Кампания началась при Александре II; и если Александр Александрович сумел при этом избегнуть столкновения с

англичанами, оказавшимися нашими опасными и ревнивыми соседями со стороны Афганистана, то это не менее заслуга миролюбивого Гладстопа, чем Александра III. Если бы в то время в Лондоне у власти были консерваторы, была бы у нас война с Англией. Наше равнодушие к приключениям в Болгарии князя Александра Баттенбергского едва ли можно рассматривать как великую дипломатическую стойкость. И, наконец, франко-русский альянс, который в конечном счете привел нас к мировой войне, теперь никак уж нельзя признать актом большой политической дальновидности. Нет, наша иностранная политика при Александре III была такой же сонной, косной и слепой, какою была вся тогдашняя политическая жизнь страны. [353]

Скучно жилось Александру Александровичу Романову. Все как будто устроилось так, как он хотел, как они хотели с Константином Петровичем, а между тем почти все знавшие царя лично замечали на его широком бородатом лице печать уныния. Унывал император. Тщетно пытался он развлечь себя то игрой на геликоне, то охотой, то театром, то посещением картинных выставок, — в конце концов все эти удовольствии не могли уничтожить в душе какой-то меланхолии. Тот сон, в который погрузилась при нем Россия и он сам, царь, вовсе не был легким сном: это был тяжелый и душный сон. Сердце стучало неровно, и дышать было трудно.

Семнадцатого октября 1888 года Александр Александрович ехал из Севастополя в Петербург. Около станции Борки, когда царь с семьей завтракал в столоном вагоне и уже подали гурьевскуго кашу, началась страшная качка, раздался треск, и Александру Александровичу показалось, что взорвано полотно дороги и что всему конец{220}. Он закрыл глаза. В это мгновение что-то тяжелое и твердое рухнуло ему на плечи. Это была крыша вагона. Когда он открыл глаза, он увидел, что все вокруг ползают среди обломков. Рихтер

кричал царю: «Ваше величество! Ползите сюда, здесь свободно!» Увидев, что император жив, Мария Федоровна, которая, падая, схватила Посьета за бакенбарды, вспомнила о детях и закричала страшным голосом: «Et nos enfants!» Но и дети оказались живы. Ксения стояла в одном платье на полотне дороги. Шел дождь, и телеграфный чиновник набросил на нее свое пальто с медными пуговицами. Лакей, который в момент катастрофы подавал царю сливки, лежал теперь на рельсах, не шевелясь, с остановившимися, оловянными глазами. Шел проливной дождь. Ветер, холодный и пронзительный, леденил изувеченных и раненых, которые лежали теперь на мокром глинистом дне балки. Александр Александрович приказал развести костры. Несчастные коченеющим языком умоляли перенести их куда-нибудь, где тепло. Александр Александрович, чувствуя боль в пояснице и в правом бедре, как раз в том месте, где был массивный портсигар в кармане брюк, ходил, слегка прихрамывая, среди раненых и с удивлением заметил, что на него никто не обращает внимания, как [354] будто он не царь. И он думал о том, что он, самодержец, мог тоже лежать сейчас беспомощно окровавленный, как 1 марта 1881 года лежал его отец.

Это событие напомнило Александру Александровичу, что жизнь наша всегда канун смерти. Победоносцев объяснил ему, что совершилось чудо. «Но какие дни, какие ощущения мы переживаем, — писал Победоносцев. — Какого чуда, милости Бог судил нас быть свидетелями. Мы радуемся и благодарим Бога горячо. Но с каким трепетом соединяется наша радость и какой ужас остался позади нас и пугает нас черною тенью! У всех на душе страшная поистине мысль о том, что могло случиться и что не случилось истинно потому только, что Бог не по грехам нашим помиловал». В этом же смысле и тоне был составлен манифест к народу. Государь сам официально признал свое спасение чудесным.

Выяснилось вскоре, что покушения не было и что несчастье случилось потому, что Александр Александрович требовал такой скорости, какой не могли выдержать два товарных паровоза, тащивших слишком громоздкий и тяжелый царский поезд.

После этой катастрофы жизнь опять стала монотонной и скучной. Государь все еще был толст, но нервы у него были не в порядке, и он часто плакал. Вокруг него не было людей, которые могли бы пробудить в нем какой-нибудь интерес к жизни. Он уважал одного только Победоносцева, но и с ним было скучно. А кто были другие? Случилось как-то так, что все независимые люди удалились, и даже хотелось иногда, чтобы кто-нибудь поспорил и возразил, но все делали так, как хотел Константин Петрович, и, значит, спорить не было надобности. Такие случаи, как возражение Гирса на проект ограничения публичности судебного процесса в январе 1887 года, более не повторялись. Да и этот случай, кажется, был простым недоразумением, которое Константин Петрович напрасно считал «крамолою». Гирс неосторожно прочел на заседании мнение юрисконсульта министерства иностранных дел профессора Мартенса, который предупреждал, что ограничение публичности суда произведет неблагоприятное впечатление в Европе и помешает договору о взаимной выдаче преступников.

На другой день Гирс был на докладе у государя. Царь в ярости ходил по комнате, белый от гнева, с [355] трясущейся нижней челюстью. Такие припадки с ним случались редко.

— Все эти судебные учреждения известно к чему клонят! — кричал он прямо в лицо Гирсу. — У покойного отца хотели взять всякую власть и влияние, в судебных вопросах... Вы не знаете, а я знаю, что это заговор...

Но заговоров теперь вообще никаких не было. Бунтовали только студенты в Москве, в Петербурге, в Харькове... И требования предъявлялись самые невинные. Но и это раздражало. Царь на докладах по тайным делам делал надписи: «Канальи!», «Скоты!», «Дерзкие мальчишки!» Все это было покрыто лаком.

В своих резолюциях он не стеснялся в выражениях. На докладе Государственного совета царь писал: «Они думают надуть меня, но это им не удастся». Члены Государственного совета обиделись и решили объясняться по этому поводу. Царь удивился: «Чего же они хотят?» — «Не покрывать лаком сих слов, ваше величество!» На этот раз государь развеселился: «Какой вздор! Пусть их просто вычеркнут!» В самом деле, ведь это все дела домашние, стоит ли из-за этого поднимать историю?

Какие же люди окружали царя? Одна современница, близкая .к сферам, записала у себя в дневнике 20 мая 1890 года: «Гирс — это хоть честный человек, Филиппов — мошенник, человек без принципов, Вышнеградский — плут, Чихачев — купец не из безукоризненных, Дурново — глуп, Гюбенет — нахал, напыщенный и односторонний, Воронцов — дурак и пьяница, Манасеин — про этого, кроме дурного, ничего больше не слышно. Вот люди, которые вершат судьбы России».

Надо сказать, что автор этой записи тоже была дама во многих отношениях сомнительная.

Мемуары этого времени свидетельствуют о глубоком падении правящих сфер. Эти люди не уважают друг друга. За внешним благообразием монархии Александра III таилась глубокая развращенность всех этих министров и сановников. Никто из них не верил уже в идею монархии и еще менее в

идею самодержавия. Эту идею принципиально защищал один только Победоносцев.

В таких условиях, среди таких людей, жить было нелегко Александру Александровичу. А тут еще всякие неприятности. Особенно неприятен был 1891 год. [356]

Путешествующего на Дальнем Востоке цесаревича Николая какой-то японец ударил по голове саблей... В том же году был голод. Журналисты, конечно, лгут, но кое-что в самом деле неприятно. Казанский губернатор издает циркуляры — советы варить кашу из кукурузы и чечевицы и есть с маслом вместо хлеба, по ни кукурузы, ни чечевицы в Казани нет. Вятский губернатор запрещает ввозить хлеб из одной волости в другую и продавать его. Курский губернатор в том же роде чудит. Красный Крест, по общим отзывам, действует недобросовестно — ворует. Везде злоупотребления. Отовсюду отзывы, что народ голодает серьезно. «Чувствуется что-то тяжелое, гнетущее, как будто ждешь катастрофы...»

Первого января 1891 года Победоносцев написал царю в Ливадию очередное злобное письмо с доносами, где не пощадил, между прочим, и «совершенно обезумевшего Соловьева», философа. «Теперь у этих людей, — пишет Победоносцев, — проявились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода. За границей ненавистники России, коим имя легион, социалисты и анархисты всякого рода, основывают на голоде самые дикие планы и предположения, — иные задумывают высылать эмиссаров для того, чтобы мутить народ и восстановлять против правительства; не мудрено, что, не зная России вовсе, они воображают, что это легкое дело. Но у нас немало людей хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают по случаю голода проводить в народ свою веру и свои социальные фантазии под видом помощи. Толстой написал на эту тему безумную статью, которую,

конечно, не пропустят в журнале, где она печатается, но которую, конечно, постараются распространить в списках. Год очень тяжелый, и предстоит зима в особенности тяжкая, но. с божией помощью, авось переживем и оправимся. Простите, ваше величество, что нарушаю покой ваш в Ливадии...» Читать это письмо было неприятно и мучительно и без того уставшему государю. Вообще Константин Петрович очень трудный человек. Надо ценить его, конечно, за приверженность к самодержавной власти, но он так иногда бывает настойчив в своих советах, что Александр Александрович чувствует себя школьником, несмотря на свои сорок пять лет. Так хочется иногда прогнать этого слишком умного ревнителя монархии. [357]

В таких случаях Александр Александрович ищет общества генерала Черевина{221}. Это генерал совсем неумный, но верный. Царю приятно, что генерал глупее его. Это — наперсник и собутыльник. С ним легко и просто.

Прежде Александра Александровича занимала роль мецената, коллекционера, любителя живописи. У него был доверенный советчик, художник А. П. Боголюбов{222}, доставшийся ему по семейной традиции от отца и деда и прилежно писавший всевозможные военные корабли по заказу трех императоров. Надо сказать, что Александр Александрович купил немало картин прекрасных, но — увы! — еще больше плохих. Коллекционером он считал себя еще в юности. Письма к Боголюбову наполнены сообщениями об его приобретениях. «К 26 февраля, — пишет он еще в марте 1872 года, — я получил от цесаревича в подарок две чудные вазы клуазонэ и две вазы кракле, так что моя коллекция прибавляется понемногу». В самом деле, во дворце, в его апартаментах, некоторые комнаты превратились в музей; наряду с хорошими вещами здесь стояла невыносимая дрянь, но царь не замечал этого и гордился тем, что он — знаток искусства. Он мечтал о

возрождении русского стиля, но, лишенный настоящего вкуса и окруженный невеждами, оставил после себя такие памятники зодчества, какие, если они уцелеют, навсегда будут образчиками жалкой пошлости и фальши — Исторический музей в Москве по проекту Шервуда, здание Московской думы по проекту академика Чичагова. Верхние московские ряды — профессора Померанцева и многие другие. Теперь уничтожен бездарный памятник Александру II в Кремле — тоже пример безвкусицы предпоследнего императора. «Русский стиль» Александра III был такой же мнимый и пустой, как и все царствование этого будто бы «народного» царя. Не имевший, вероятно, в своих жилах ни единой капли русской крови, женатый на датчанке, воспитанный в религиозных понятиях, какие внушал ему знаменитый обер-прокурор Синода, он хотел, однако, быть «национальным и православным», как об этом часто мечтают обрусевшие немцы. Эти петербургские и прибалтийские «патриоты», не владея русским языком, нередко искренне считают себя «настоящими русскими»: едят черный хлеб и редьку, пьют квас и водку и думают, что это «русский [358] стиль». Александр III тоже ел редьку, пил водку, поощрял художественную «утварь» со знаменитыми «петушками» и, не умея грамотно писать по-русски, думал, что он выразитель и хранитель русского духа. Но в последний год царствования и это искусство не утешало скучающего царя. Все чаще и чаще побаливала поясница, и профессор Грубе, осмотревший императора вскоре после чудесного спасения, находил, что начало болезни положено было именно тогда, в день катастрофы: страшное сотрясение всего тела при падении коснулось области почек. Государь все еще чувствовал себя сильным, но как-то раз попробовал согнуть подкову, как в молодости, и это не удалось. Изменилась и наружность царя. Цвет лица стал землистым; взгляд когда-то добродушный сделался мрачным. Один только человек развлекал теперь императора. Это — верный государю генерал Черевин. После

трудового дня, который начинался с семи часов утра, государь любил поиграть в карты и выпить. Но врачи запретили пить, и жена Минни строго за этим следила. Приходилось хитрить. Они заказали с Черевиным сапоги с широкими голенищами и прятали туда заблаговременно плоские фляжки с коньяком. Улучив момент, государь подмигивал собутыльнику: «Голь на выдумки хитра, Черевин?» — «Хитра, ваше величество!» И выпивали. Часа через два, бросив игру, его величество ложился на ковер и, болтая огромными ногами, пугал своим неожиданным хмелем жену и детей. Но так развлекаться приходилось все реже и реже, потому что болела поясница, пропал аппетит и сердце работало худо.

А тут еще случилась большая неприятность. Государь убедился из одного письма, что Константин Петрович Победоносцев, которого царь почитал своим вернейшим слугою, отзывался о нем не менее презрительно, чем авторы подпольных прокламаций. Царь решил ничем не обнаруживать того, что знает. Но между самодержавным царем и вернейшим ревнителем самодержавия пробежала черная кошка. В последнем письме к императору, настаивая на отмене одного указа, подписанного царем без ведома Победоносцева, обиженный временщик пишет многозначительно: «В прежнее время вы удостаивали меня доверия, когда я смел обращаться к вам с предупреждением о том, что, по моему глубокому убеждению, грозило недоразумением [359] или ошибкой в сознании вашего величества. Не погневайтесь и теперь за мое писание».

Это было последнее письмо Победоносцева царю. На него ответа не последовало.

В январе 1894 года государь заболел. Врачи нашли инфлуенцу. Тщетно царь боролся с недугом. Он все требовал докладов, но докладывали все о разных неприятностях. В

Нижнем Тагиле заводские рабочие затеяли бунт. Губернатор явился с четырьмя ротами, и «была задана порка, какой не видала губерния». В Толмазовом переулке нашли подпольную типографию, а в Лештуковом — склады глицерина и опилок для составления взрывчатых веществ. Но царь бодрился. Осенью вздумал ехать в Беловежскую пущу на охоту. Там простудился. Пришлось бросить охоту, вернуться домой. Врачи приказали сделать теплую ванну, а ему вздумалось ее охладить. Пошла горлом кровь... Тогда выписали из Берлина профессора Лейдена. Выяснилось, что у царя серьезная болезнь почек — нефрит.

Александр Александрович все чаще думал о смерти. Ему трудно было «нескладным умом» охватить смысл жизни, событий, его личной судьбы...

Если бы Победоносцев не внушил ему еще в юности, что он, Александр Александрович, — «самодержавнейший» и «благочестивейший», теперь легче было бы j| умирать. Ведь, в сущности, разве он плохой чело-век? Ни жены, ни детей он не обижал, не развратничал, не питал ни к кому личной злобы, не ленился, посещал | храмы, дарил иконы монастырям... Ему бы жить где-нибудь в провинции, командовать полком — как было бы хорошо. А теперь? Ах, трудно быть самодержцем! И вот, оказывается, у самодержцев болят почки, горлом идет кровь... Ноги у царя опухли. Дышать трудно. Он похудел. Виски и щеки провалились, весь он осунулся. Одни уши торчат.

Врачи говорят, что в комнате, где спит император, скверный воздух, потому что с царем живут четыре собаки и все грязнят. Захарьин задохнулся, войдя в спальню к царю, и потребовал, чтобы увезли царя из дворца куда-нибудь на свежий воздух, на юг.

Тогда его повезли в Ялту, и он умер там, в Малом Ливадийском дворце, 20 октября 1894 года.

Примечания

{1} Воля России. Париж, 1931, № 1-2, с. 197.
{2} Король Франции Людовик XVI был казнен по приговору Конвента 21 января 1793 года.
{3} Крестьянская война под руководством Е. Пугачева.
{4} Эгалитарный (от. фр. egalite — равенство) — уравнительный.
{5} Павел I родился 20 сентября (1 октября) 1754 г. в Летнем дворце в Петербурге.
{6} Елизавета (1709 — 1761/62) — дочь Петра I и Екатерины I, в 1741 — 1761 гг. русская императрица. Павел I был сыном ее племянника Петра III (сын Анны Петровны, внук Петра I).
{7} Сергей Салтыков — камергер при дворе Петра III и главный фаворит Екатерины в середине 1750-х гг. В исторических и мемуарных источниках есть и другие мнения по этому поводу: «Характер Павла I настолько походил на характер Петра III, что, по теории наследственности, в Павле должно было течь немало своеобразной крови его полоумного отца. Одним словом, Павел I — плод нескольких отцов, по сын Екатерины» (Каратов Ф. В. Павел I. Семейная жизнь, фавориты и убийство. Лондон, 1902, с. 3, 8).
{8} Панин Никита Иванович (1718 — 1783) — русский дипломат, граф, в 1740-х гг. посол в Дании, затем в Швеции.
{9} Имеется в виду Фридрих II Великий (1712 — 1786), король прусский в 1740 — 1786 гг. Он заслужил репутацию вольнодумца своими увлечениями историей, философией и поэзией, дружбой с Вольтером и многими выдающимися учеными и писателями той эпохи.
{10} Письмо Алексея Орлова написано в Ропше 6 июля 1762 г. (см.: Император Павел I. По Шильдеру и воспоминаниям современников. М., 1907, с. 17 — 18).

{11} Порошин Семен Андреевич (1741 — 1769) — один из просвещеннейших людей эпохи, наставник Павла в 1762 — 1766 гг. Его дневник (1764 — 1765 гг.), возможно, и стал причиной удаления от двора (изд. в 1847 и 1881 гг.).
{12} Эпинус Франц Ульрах Теодор (1724 — 1802) — физик, академик, с 1765 г. наставник Павла.
{13} Левшин Платон (1737 — 1812) — митрополит московский, в 1763 г. назначен законоучителем Павла, позднее стал и законоучителем его невесты Натальи Алексеевны.
{14} Паскаль Влез (1623 — 1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.
{15} Речь идет о произведениях Расина: трагедия «Федра» в религиозно-политическая драма «Гофолия» (в русском переводе 1784 г. — «Афалия»).
{16} Роман Сервантеса «Дон-Кихот» Павел читал, вероятно, по-французски, хотя впервые на русском языке в переводе Тейльса «Дон-Кихот» появился в 1769 г.
{17} Волынский Артемий Петрович — государственный деятель в царствование Анны Иоанновны. В результате ложного обвинения в намерении произвести государственный переворот был судим и 20 июня 1740 г. казнен.
{18} Иоанн VI Антонович (1740 — 1764) — сын принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны (племянницы императрицы Анны Иоанновны); вскоре после рождения был провозглашен наследником русского престола, но уже в 1741 г. арестован и вместе с родителями сослан, а потом заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и был убит.
{19} Мирович Василий Яковлевич (1740 — 1764) — подпоручик Смоленского пехотного полка; в ночь на 5 июля 1764 г. пытался освободить Иоанна Антоновича и провозгласить его императором, за что был осужден и казнен.
{20} Вертотову «Историю об аренде Мальтийских кавалеров». — Речь идет о книге «Histoire des chevaliers de

Malte» (Paris, 1726), написанной французским историографом мальтийских рыцарей Верто д'Обефом.
{21} Цитера — одно из прозвищ Афродиты, богини любви и красоты.
{22} В 1765 — 1767 гг. Екатерина II готовит созыв Комиссии депутатов от всех сословий для обсуждения проекта нового Уложения законов и одновременно работает над сочинением «Наказа» для нее; в основу проекта русского законодательства ею были положены принципы, почерпнутые в трудах Монтескье, Ч. Беккариа и др.
{23} Рассказ о «странной истории», приключившейся с Павлом, изложен в воспоминаниях баронессы Оберкирх, подруги Натальи Алексеевны, первой жены Павла I; Memoires, t, I. Paris, 1853, p. 357.
{24} Памятник Петру Великому (Медный всадник) работы Э.-М. Фальконе открыт в Петербурге в 1782 г.
{25} Якобинцы, выражавшие интересы буржуазно-демократических кругов в период Великой французской революции, в большинстве своем были членами масонских организаций, а в России из аналогичных организаций позднее выйдут многие участники декабристского движения.
{26} Подозревая масонов в заговоре в пользу Павла и в сговоре с Фридрихом II, Екатерина выступила против них в своих комедиях «Обманщик», «Обольщенный», «Шаман сибирский» (все относятся к 1786 г. и навеяны пребыванием в Петербурге графа Калиостро).
{27} Иллюминаты — члены религиозно-политических обществ в Европе во второй половине XVIII века.
{28} Лебрен Шарль (1619 — 1690) — знаменитый французский художник, заведующий королевской коллекцией картин, законодатель художественного вкуса своей эпохи.
{29} Орлов Григорий Григорьевич умер в 1783 г.
{30} Лагарп Фредерик-Сезар де (1754 — 1838) — швейцарский политический деятель, приверженец идей просвещения, В

1784 — 1795 гг. воспитатель будущего императора Александра I.
{31} Форт Bun, или Мариенталь, при Павле I превращен в крепость с католической мальтийской капеллой.
{32} Донжон — главная башня в средневековом замке, поставленная в самом недоступном месте и служившая убежищем при нападении врага.
{33} Саблуков Н. А. Записки о времени императора Павла и его кончине. — Исторический вестник, 1906, № 1 (впервые опубл. на англ. яз. в Лондоне в 1865 г.).
{34} Сегюр Луи-Филипп (1753 — 1830) — граф, с 1783 г. посол в Петербурге, пользовавшийся расположением Екатерины II, автор мемуаров: «Memoires», P. 1825 — 1826; на русск. Записки гр. С. СПб., 1865.
{35} Лойола Игнатий (1491 — 1556) — основатель ордена иезуитов.
{36} Вы слишком жестоки! (фр.)
{37} Заключительная строка из посвященной Александру I эпиграммы Пушкина «К бюсту завоевателя» («Напрасно видишь тут ошибку...»).
{38} Розенкрейцеры — члены близких к масонству тайных обществ, преимущественно религиозно-мистических; названы так по имени легендарного их основателя X. Розенкрейцера, жившего в XIV — XV вв.
{39} Эмблема розенкрейцеров — Роза и Крест.
{40} Безбородко Александр Андреевич (1747 — 1799). Со вступлением на престол Павла I был произведен в канцлеры, возведен в княжеское достоинство, ему была подарена орловская вотчина в несколько тысяч десятин земли.
{41} Рассказы и свидетельства, а также документы о Павле I были собраны и изданы в кн.: Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и проч. Составили А. Гоно и Томич. СПб., 1901.
{42} В январе 1801 г. Павел I задумал поход в Индию и двинул в направлении Оренбурга казачьи полки с Дона, но

без заготовленного продовольствия, обоза, лазаретов, даже без точно разработанных маршрутов; войска, едва выйдя в Заволжье, вынуждены были движение прекратить.
{43} Имеется, вероятно, в виду дело братьев Евграфа и Петра Осиповичей Грузиновых, гвардейских полковников, пользовавшихся особым доверием Павла I, но вследствие нелепых подозрений и ложных обвинений преданных суду и казненных.
{44} Отношения Мальтийского ордена (или ордена Иоанна Иерусалимского) с Россией стали складываться еще при Екатерине II после изгнания его из Франции, а после того как Бонапарт завоевал Мальту, Великим магистром ордена избирается Павел I, рассматривавший орден как орудие в борьбе с революционной Францией.
{45} Грубер Гавриил (1740 — 1805) приехал в Россию вместе с другими иезуитами, пользовался поддержкой Екатерины II, при Павле I поселился в Петербурге, получил доступ ко двору, с восстановлением ордена иезуитов в России в 1802 г. избран его генералом.
{46} Ре.ни Гвидо (1575 — 1642) — живописец болонской школы, автор известной картины «Избиение младенцев».
{47} Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761 — 1819) — немецкий драматург и романист, автор многих комедий и драм, пользовавшихся популярностью в Европе. Долгое время служил в России. В 1800 г. он был арестован и сослан в Сибирь, но вскоре Павел I, прочитав его пьесу «Лейб-кучер Петра Великого», возвратил его из ссылки, осыпал милостями и поставил во главе немецкого театра в Петербурге. Тогда JКО ему было поручено и описание Михайловского замка, фрагменты которого напечатаны в кн.: Император Павел I. По Шильдеру и воспоминаниям современников, с. 138 — 144.
{48} В 1799 г. А. А. Аракчеев был уволен от службы и сослан в Грузина за сообщение Павлу I ложных сведений с целью выгородить провинившегося по службе своего брата.

{49} Евгений Вюртембергский (1788 — 1857) — племянник императрицы Марии Федоровны; был привезен ребенком к русскому двору и пользовался расположением Павла I.
{50} Ночь с 11 на 12 марта 1801 г., когда был убит Павел I.
{51} Елизавета Алексеевна (1779 — 1826) — жена Александра I.
{52} Бракосочетание Елизаветы Алексеевны и Александра состоялось 28 сентября 1793 г.
{53} Гримм Фридрих-Мельхиор (1723 — 1807) — барон, дипломат, публицист, критик, постоянный корреспондент Екатерины II (переписка велась с 1774 г. до смерти Екатерины), неоднократно бывал в Петербурге, служил в качестве русского резидента в Готе, потом в Гамбурге.
{54} Комедия Екатерины «Обманщик» впервые сыграна на сцене 4 января 1886 г.
{55} Муравьев Михаил Никитич (1757 — 1807) — известный писатель и общественный деятель, товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета.
{56} «Абдикироватъ» — отказаться, отречься (от фр. abdiquer).
{57} Чарторыйский Адам Юрий (1770 — 1861) — известный политический деятель Польши и России, литератор, автор изданных на французском языке мемуаров, являющихся важнейшим источником по истории России, Польши и Франции в первой половине XIX в. С 1795 г. жил в Петербурге, стал одним из ближайших политических советников Александра, членом его Негласного комитета. Долгое время находился на дипломатической службе и до 1806 г. был министром иностранных дел, до 1823 г. исполнял обязанности попечителя Виленского учебного округа. После восстания 1831 г., в котором активно участвовал, вынужден был эмигрировать и поселиться в Париже, где и оставался до конца своей жизни.

{58} Голицын Александр Николаевич (1773 — 1844) — видный государственный деятель эпохи Александра I, находившийся в тесных дружеских отношениях с ним с детских лет. С восшествием Александра на престол сразу же назначен обер-прокурором Св. синода, потом министром народного просвещения. Склонный к мистицизму, он пользовался уважением и неограниченным доверием императора, но восстановил против себя широкие слои православного духовенства, в связи с чем вынужден был оставить президентство в Российском библейском обществе, а затем и выйти в отставку с государственной службы.
{59} Строганов Павел Александрович (1772 — 1817) — граф, генерал-лейтенант, сенатор; был в числе ближайших советников Александра I, входил в так называемый Комитет общественного спасения.
{60} Ромм Жильбер — генерал, участник наполеоновских войн, якобинец.
{61} Новосильцев Николай Николаевич (1761 — 1836) — русский государственный деятель эпохи Александра I; пользовался его особым расположением и доверием, жил во дворне, был одним из самых деятельных участников его Негласного комитета, впоследствии председатель Государственного совета и Кабинета министров.
{62} Кочубей Виктор Павлович (1768 — 1834) — государственный деятель из ближайшего окружения Александра I, почти бессменный руководитель министерства внутренних дел в его царствование.
{63} Политические соображения побудили Александра призвать к деятельности некоторых екатерининских сановников: А. Р. Воронцова, Д. П. Трощинского, А. А. Веклешова, графа П. В. Завидовского, графа А. И. Маркова (Моркова).
{64} Жозеф де Местр (1753 — 1821) — французский философ и писатель, непримиримый противник французской

буржуазной революции; в 1802 — 1817 гг. во время службы в Петербурге был близок к Александру I и его окружению.
{65} «Друг просвещения» — литературно-художественный журнал, в 1804 — 1806 гг. издававшийся П. Голенищевым-Кутузовым и Д. Хвостовым в Москве. В публицистических статьях и литературных произведениях популяризировались консервативные взгляды, в том числе и касающиеся задуманных и обсуждаемых Александром реформ.
{66} Каразин Василий Назарович (1773 — 1842) — впоследствии выдающийся общественный деятель, просветитель и ученый; имел большое влияние на молодого императора, хотя оно продолжалось всего три года.
{67} Розенкампф Густав Андреевич (1762 — 1832) — барон; в 1803 г. причислен к комиссии составления законов; составил проект преобразования этой комиссии и получил место ее главного секретаря.
{68} Ситуайен — гражданин (от фр. citoyen).
{69} Кондотьер — человек, готовый ради собственной выгоды защищать любое дело,
{70} Герцог Энгиенский Луи-Антуан (1772 — 1804) — французский принц, последний представитель боковой ветви Бурбонов. В связи с революционными событиями во Франции эмигрировал в Австрию. Заподозренный Наполеоном в намерении занять французский престол, вывезен во Францию и расстрелян.
{71} Во французском городе Байоне в мае 1808 г. прошли совещания, в ходе которых Наполеон угрозами заставил испанскую королевскую семью отказаться от короны и тут же провозгласил королем Испании своего брата Иосифа.
{72} Ссылка в Пермь практически означала для Сперанского конец его карьеры как руководителя политического курса страны и ближайшего советника императора; поселиться в собственном новгородском имении ему позволено было лишь в 1814 г., в 1816-м он назначен пензенским губернатором, в 1819-м — сибирским генерал-губернатором, в 1821 г.

возвращен в Петербург, но уже без надежд на возможность ведения прежней законодательной деятельности и влияния на внешнюю и внутреннюю политику государства.
{73} Юнг Штиллинг Иоганн Генрих (1740 — 1817) — немецкий мистический писатель.
{74} Рекамъе Юлия-Аделаида (1777 — 1849) — знаменитая красавица, салон которой имел европейскую известность.
{75} Нарбонн Луи де (1755 — 1813) — граф, французский политический деятель, с 1800 г. адъютант Наполеона, с 1813 г. — посол в Вене.
{76} Вильсон Роберт Томас (1777 — 1849) — английский генерал. В 1812 г. приехал в Россию и был благосклонно принят Александром I; участвовал в кампаниях 1813 — 1814 гг., состоял при главной квартире Кутузова, а потом и самого Александра.
{77} Моро Жан-Виктор (1763 — 1813) — французский генерал, обвиненный Наполеоном в заговоре и высланный из страны (в Америку). После возвращения из ссылки был приглашен Александром I и состоял советником при главной квартире союзных императоров. Убит в сражении под Дрезденом 27 августа 1813 г,
{78} Герцогиня Саган Доротея (1793 — 1862) — принцесса Курляндская и Семигальская; среди ее поклонников было множество знаменитых людей того времени, она была посвящена во многие тайны европейской дипломатии, особенно после замужества, связавшего ее родственными узами с Талейраном.
{79} Из стихотворения Пушкина «Деревня» (1819).
{80} С неточностями — стихотворение Пушкина «К бюсту завоевателя» (1829).
{81} Эйлерт Рулеман Фридрих (1770 — 1852) — немецкий богослов; состоял придворным проповедником в Потсдаме при короле Фридрихе-Вильгельме.
{82} Стурдза Александр Скарлатович (1791 — 1854) — автор многочисленных книг по религиозным и политическим

вопросам; он особенно прославился своей брошюрой для членов и Ахейского конгресса (1818) о политическом положении в Германии, в которой восставал против университетов как рассад пиков революционного духа. Это и заставило Пушкина при грозить Стурдзе смертью, какой умер другой гонитель университетов — Коцебу («Вокруг Стурдзы я хожу...»).
{83} Коцебу. — См. примеч. {47}. Коцебу убит Карлом Зандом, студентом Тюбингенского университета. Этот террористический акт произвел большое впечатление на общество как в Германии, так и в России.
{84} Лувелъ Пьер-Луи (1783 — 1820) — парижский рабочий-ремесленник, заколовший 13 февраля 1820 г. в Париже герцога Берринского, сына наследника французского престола. Публичное демонстрирование Пушкиным в театре портрета Лувеля с надписью «Урок царям» послужило поводом к высылке поэта из Петербург.
{85} Карбонарии — члены одноименного тайного общества в Италии в начале XIX в. Боролись за национальное освобождение и конституционный строй. Движение карбонариев существовало также в других странах: Балканы, Швейцария, Франция.
{86} Восстание лейб-гвардии Семеновского полка в Петербурге в октябре 1820 г. было вызвано бесчеловечным обращением командира полка с солдатами; полк был расформирован, зачинщики прогнаны сквозь строй и сосланы на каторгу, остальные в дальние гарнизоны.
{87} Ипсиланти Александр Константинович (1792 — 1828) — сын молдавского и валахского господаря. Александр I, покровительствовавший в это время грекам, принял его на русскую службу в кавалергардский полк и произвел во флигель-адъютанты. В сражении под Дрезденом он потерял руку («безрукий князь»), в марте 1820 г. стал во главе тайного греческого общества, боровшегося за освобождение Греции от турок, в феврале 1821 г. с кавалерийским отрядом перешел

границу России и направился в Яссы, где обнародовал прокламацию с призывом к освобождению Греции, В 1820 г. жил в Кишиневе, где познакомился с Пушкиным.

{88} Каподистрия Иоаннис (1776 — 1831) — русский и греческий гос. деятель, граф. На русской службе с 1809 г. С 1815 — 1822 гг. глава Коллегии иностранных дел и управляющий делами Бессарабской области. С 1827 г. президент освобожденной Греции.

{89} Григорий V — патриарх константинопольский в период борьбы за освобождение Греции; когда турки стали подозревать православное духовенство в измене, отказался бежать из Константинополя и в первый день Пасхи 1821 г. был низложен и повешен.

{90} Тайная революционная организация декабристов Союз Благоденствия существовала в 1818 — 1821 гг. В нее вошло около 200 человек во главе с Коренной управой (30 учредителей), Думой и местными управами. Целью организации было уничтожение самодержавия и крепостничества, введение конституционного правления. Распущен Союз был ввиду программных и тактических разногласий. Наиболее активные его участники образовали потом Северное и Южное тайные общества.

{91} Мишо де Боретур Александр Францевич (1771 — 1841) — генерал; в 1805 г. перешел на русскую службу; в 1813 — 1814гг. находился при Александре и получил звание генерал-адъютанта.

{92} Паррот Георг Фридрих фон (1767 — 1852) — русский физик, ректор Дерптского университета; был в близких отношениях с Александром I и Николаем I. С Александром дружеские отношения завязались с 1802 г., когда Александр был в Дерпте. С тех пор Паррот мог писать к государю в тоне не подданного, а друга. Приезжая из Дерпта, он шел прямо в государев кабинет, где по целым часам оставался наедине с царственным хозяином.

{93} Фотий (в миру Петр Никитич Спасский; 1792 — 1838) — известный церковный деятель, пользовавшийся доверием Александра I и назначенный им настоятелем Юрьевского монастыря.
{94} А. А. Орлова-Чесменская (1785 — 1848) — дочь А. Г.Орлова, победителя турок в чесменском морском сражении (1770).
{95} Граф И. О. Витт в 1825 г. был начальником южных военных поселений, поддерживал отношения со многими участниками декабристского движения, которые возлагали на пего надежды.
{96} Эпиграмма-эпитафия Ф. И. Тютчева на Николая I, умершего 18 февраля 1855 г., написана не под впечатлением известия о смерти царя, а несколько позже, когда поэт стал резко отрицательно относиться к его личности и деятельности (см. примеч. {143} и с. 281 наст. изд.).
{97} Каботен (от фр. cabotin) — плохой актер.
{98} Из стихотворения Пушкина «Стансы».
{99} Мамаша — великая княгиня Мария Федоровна, же: Павла I.
{100} Письма Екатерины II и Ф.-М. Гримму были напечатав в «Русском архиве» за 1878 г. (№ 9 и 10).
{101} Из стихотворения Г. Р. Державина «На крещение Великого князя Николая Павловича» (1796).
{102} Екатерина II умерла и (17) ноября 1796 г.
{103} Генерал от инфантерии и член Государственного совета граф М. И. Ламздорф (1745 — 1828) с 1800 г. назначен воспитателем великого князя Николая.
{104} Генерал-лейтенант Н. И. Ахвердов преподавал Николаю русскую историю и географию.
{105} Из вступления к «Медному всаднику» Пушкина.
{106} Записки графа А. Х. Бенкендорфа напечатаны в кн.: Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. СПб., 1903, с. 617 — 764.

{107} Вилламов Г. И. (1771 — 1842) — статс-секретарь, действительный тайный советник, член Государственного совета.
{108} Шторх Генрих (1766 — 1835) — преподаватель политической экономии у Николая.
{109} Лакруа Поль (1806 — 1884) — французский историк и романист. Речь идет о его книге «История жизни и царствования Николая I» (на фр. яз. Paris, 1864).
{110} 26 августа 1814 г. в городке Вертю, близ Парижа, в памятный день Бородинского сражения, в присутствии Александра I и великих князей Константина и Николая была проведена репетиция смотра русских военных частей, участвовавших в заграничном походе русской армии и завершивших

его взятием Парижа. Сам смотр состоялся 29 августа. Командовал армией и салютовал союзным монархам Александр I, Николай командовал второй бригадой 3-й гренадерской дивизии (Записки А. П. Ермолова, ч. 2. М., 1868, с. 214).

{111} С 9 мая по 26 августа 1816 г. Николай путешествовал по городам европейской части России (см. об этом: Шильдер Н. К. Император Николай I. Указ, изд., т. 1. СПб., 1903, с. 68 — 74).
{112} Николай I находился в Англии в январе — марте 1817 г. (Архив князя Воронцова, т. XXII, с. 467, 469).
{113} Маневры 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, которой командовал Николай, состоялись в Красном Селе 13 июля 1819 г. На маневрах присутствовал Александр I, который остался ими весьма доволен. После этих маневров состоялся описанный Г. И. Чулковым разговор о возможном отречении Александра I и передаче престола брату Николаю и его наследникам (Шильдер Н. К. Указ. изд., т. 1, с. 120-124).
{114} Императрице Елизавете Алексеевне было рекомендовано провести зиму на юге. Выбор пал на Таганрог,

куда вместе с императрицей решил отправиться и сам Александр I, объявив, что он возвратится в Петербург к Новому году. Александр I выехал из Петербурга 1 сентября 1825 г., императрица в сопровождении князя П. М. Волконского отправилась в Таганрог 3 сентября.
{115} Сообщение о смерти Александра I, привезенное фельдъегерем, было изложено в письмах П. М. Волконского и генерала И. И. Дибича.
{116} Рассказ Жуковского о присяге Николая I записан им в 1848 г. (Жуковский В. А. Сочинения, т. III. СПб., 1857, с. 297).
{117} О существовании акта, назначавшего Николая наследником престола, никто не знал, за исключением трех государственных сановников: А. А. Аракчеева, А. И. Голицына, архиепископа московского Филарета.
{118} Из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (сцена в Кремлевских палатах).
{119} Ростовцев 4-й Яков Иванович (1803 — 1860) — подпоручик лейб-гвардии егерского полка, литератор, член Северного общества. 12 декабря 1825 г. донес Николаю I о готовящемся восстании. Впоследствии стал генерал-адъютантом, членом Государственного совета, а в 1858 г. председателем Комитета по крестьянскому делу.
{120} Сухозанет Н. О. (1794 — 1871) — генерал-адъютант, впоследствии начальник Николаевской военной академии, в 1856 — 1861 гг. — военный министр.
{121} Милорадович Михаил Андреевич (1771 — 1825) — известный боевой генерал, участник Бородинского сражения, в битве под Лейпцигом командовал гвардейскими частями России и Пруссии; позднее генерал-губернатор Петербурга. Убит П. Г. Каховским 14 декабря 1825 г.
{122} Имеется в виду полковник князь Сергей Петрович Трубецкой (1790 — 1860), один из руководителей Северного общества, выбранный диктатором восстания, но не явившийся! на Сенатскую площадь.

{123} Якубович Александр Иванович (1792 — 1845) — капитан; Нижегородского драгунского полка, участник восстания на Сенатской площади.
{124} Воинов Александр Львович (1770 — 1830) — кавалерийский генерал; после убийства Милорадовича по поручению Николая I пытался вести переговоры с восставшими. В Воинов, не стреляли, но, по свидетельству декабриста А. Н. Сутгофа,: собравшийся на строительстве Исаакиевского собора народ чуть не убил его камнями (Нечкина М. В. Движение декабристов, т. II. М., 1955, с. 277 — 278).
{125} Васильчиков Илларион Васильевич (1777 — 1847) — генерал-адъютант, член Государственного совета. Некоторые историки предполагают, что именно он подал идею стрелять по восставшим картечью. С 1838 г. председатель Государственного совета и Комитета министров.
{126} Шеншин Василий Никифорович и Фредерике Александр Андреевич — генерал-лейтенанты. Ранены при попытке удержать в казармах Московский лейб-гвардии полк. Сабельные ранения им нанес декабрист штабс-капитан Д. А. Щепин-Ростовский.
{127} Толь Карл Федорович (1777 — 1842) — граф, генерал-адъютант, автор «Записок».
{128} Казнь декабристов была произведена на кронверке Петропавловской крепости в ночь с 12 на 13 июля 1826 г.
{129} Николай Михайлович Карамзин умер 22 мая 1826 г.
{130} Магницкий Михаил Леонтьевич (1778 — 1844) — попечитель Казанского учебного округа; отстранен от должности по результатам ревизии в 1826 г. за злоупотребления, развал университетской системы обучения и громадные растраты казенных денег.
{131} Рунич Дмитрий Павлович (1778 — 1860) — попечитель Петербургского учебного округа. В 1826 г. уволен от должности за неурядицы в денежных делах университета.
{132} Фотий. — См. примеч. {93} к гл. «Александр Первый».

{133} Сперанский Михаил Михайлович (1772 — 1839) — граф, с 1808 г. ближайший советник Александра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор кодификации русского законодательства. См. примеч. {72} к гл. «Александр Первый».
{134} Батеньков Гавриил Степанович (1793 — 1863) — декабрист; со Сперанским сблизился в 1819 — 1821 гг., когда он был губернатором Сибири и занимался составлением плана административной реформы Сибири.
{135} Из стихотворения Лермонтова «На смерть Поэта» (1837).
{136} Пушкинское определение «жестокий век» — в стихотворении «Памятник».
{137} В Петербурге архитектор А. К. Тон, кроме нескольких храмов, построил станцию Царскосельской железной дороги, вокзал Николаевской железной дороги (ныне Московский).
{138} Смирнова-Россет Александра Осиповна (1810 — 1882) — фрейлина при дворе Николая I, известная мемуаристка, близко знавшая Пушкина, Гоголя, Жуковского, Лермонтова и других писателей и поэтов пушкинской эпохи.
{139} Записка Пушкина «О народном воспитании» написана в Михайловском 15 ноября 1826 Г.
{140} Крюднер (1764 — 1824), урожд. графиня Лерхенфельд Амалия Максимилиановна — баронесса, жена русского дипломата, напечатавшая в 1803 г. автобиографический сентиментальный роман «Валерия» (на фр. яз.). Впоследствии занялась мистическим проповедничеством, в 1815 г. на почве религиозного мистицизма сблизилась с Александром I.
{141} Лович — княгиня (урожд. графиня Грудзинская Иоанна Антоновна), жена цесаревича Константина (морганатический брак совершен в 1820 г. в Варшаве). Умерла в разгар революционных событий в ноябре 1831 г.
{142} Из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

{143} Из стихотворения Тютчева «Как дочь родную на закланье...» (1831).
{144} Туркманчайский мирный договор с Персией заключен 10(22) февраля 1828 г., в результате его Россия получила право держать военный флот на Каспийском море, к ней отошли Эриванское и Нахичеванское ханства.
{145} Пожар в Зимнем дворце возник 17 декабря 1837 г. по неосторожности. Восстановлен дворец архитекторами Штаубертом и В. Стасовым.
{146} Из стихотворения Ф. И. Тютчева «На взятие Варшавы» (1831).
{147} Из стихотворения А. С. Хомякова «Россия».
{148} Из письма Тютчева к Э. Ф. Тютчевой от 17 сентября 1855 г. (Тютчев Ф. И. Сочинения, т. II. М., 1984, с. 239).
{149} П. М. Карамзин был на Сенатской площади в стане восставших. Впоследствии он вспоминал: «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж» (цит. по изд.: Нечкина М. В. Восстание декабристов, т. 2. М., 1955, с. 333).
{150} Здесь: салонные игры (фр.).
{151} Из «Послания великой княгине Александре Федоровне
{152} Великая княжна Мария Николаевна — сестра Александра II.
{153} Не совсем точно: К. К. Мердер был не капитаном, а генерал-адъютантом; умер в 1834 г.
{154} У В. Жуковского в «Плане учения» выделен специальный раздел, посвященный военному образованию (Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование, т. 1. СПб., 1903, с. 18 — 23).
{155} Мармон Опост-Фредерик-Людовик (1774 — 1852) — герцог рагузский, маршал Франции; был представителем этой страны на коронации Николая I.
{156} Весной 1829 г. Александр сопровождал родителей в Варшаву, где Николай I был коронован царем польским. Александр во время пребывания в Польше, по мысли

Жуковского должен был глубже познакомиться с ее историей и литера турой. Затем Александр посетил Пруссию: Берлин, Потсдам, Гринберг, Шарлотенбург, Франкфурт-на-Майне, Силезию.
{157} Луиза — жена Фридриха-Вильгельма III, мать императрицы Александры Федоровны (1776 — 1810).
{158} Место Г. П. Павского занял протопресвитер и духовник царской семьи В. В. Бажанов; причиной замены стало неодобрение некоторых богословских сочинений Павского московским митрополитом Филаретом (Татищев С. С. Указ, соч., т. 1, с. 69).
{159} Программа поездки по России была составлена самим Николаем I. Наследника в путешествии сопровождали: воспитатели А. А. Кавелин и В. А. Жуковский, преподаватель истории и географии К. И. Арсеньев, лейб-медик и состоящие при наследнике молодые офицеры. Путешествие, начавшееся 2 мая 1837 г., было совершено по следующему маршруту: Новгород, Тверь, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Иваново, Вятка, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Оренбург, Гурьев, Симбирсн, Саратов, Тамбов, Воронеж, Полтава, Новочеркасск, Москва.
{160} Кюстин Адольф (1790 — 1857) — маркиз, французский литератор, автор книги «Россия в 1839 году» (частично опубл. в «Русской старине», 1890 — 1891 гг.), посвященной описанию нравов высшего русского общества и вызвавшей крайнее неудовольствие у многих его представителей.
{161} Стычка с чеченцами произошла 26 октября 1850 г., по дороге из Воздвиженской крепости в Ачхай. Александра сопровождал князь М. С. Воронцов, новороссийский генерал-губернатор и наместник кавказский. По его представлению Александр не только был награжден Георгиевским крестом, но и назначен шефом Эриванского карабинерского полка.
{162} Из «Записок революционера» П. А. Кропоткина (М., 1966, с. 228).

{163} Г. И. Чулков цитирует «Дневник» В. С. Аксакова (СПб., 1913, с. 60, 62, 66. Записи от 20 и 21 февраля).
{164} Клейнмихель Петр Андреевич (1793 — 1869) выдвинулся благодаря Аракчееву и пользовался расположением Николая I. В 1840-е гг. был военным министром, потом главноуправляющим путями сообщения. П. А. Клейнмихель стал одним из первых деятелей предшествующего царствования, уволенных Александром II.
{165} Ростовцев Я. И. (1803 — 1860) — известный деятель крестьянской реформы, председатель редакционных комиссий:, автор записки о реформе.
{166} Из письма Герцена Александру II от 10 марта 1855 г. (напечатано в первой книге «Полярной звезды» за 1855 г.).
{167} Имеется в виду «рескрипт» Александра II на имя В. И. Назимова, виленского генерал-губернатора, с предписанием образовать губернские комитеты из выборных представителей дворянства для разработки проектов крестьянской реформы.
{168} Крестьянское движение в Поволжье, вызванное недовольством крестьян условиями реформы и охватившее ряд уездов Казанской, Симбирской, Пензенской губернии, продолжалось около месяца и завершилось расстрелом толпы безоружных крестьян 12 апреля 1861 г. в селе Бездна.
{169} Подавление крестьянских выступлений, вооруженная расправа с их участниками вызвали широкий протест в среде демократически настроенной интеллигенции. Одним из ярких выражений такого протеста стала отслуженная студентами и профессорами Казанского университета панихида по жертвам, крестьянам села Бездна, расстрелянным солдатами. За выступление с речью на этой панихиде демократически настроенный профессор А. П. Щапов, близкий к революционным кругам шестидесятников, был арестован и сослан в Иркутск.
{170} Тверская либеральная оппозиция 1861 — 1864 гг. — одно из замечательных явлений в общественно-

политической жизни России 1860-х гг. Заявление тринадцати тверских либеральных мировых посредников, выдвинувшее развернутую программу прогрессивных преобразований (буржуазно-демократических по своему характеру), было сразу же квалифицировано в правительственных кругах как призыв к «преступным Действиям», подлежащим пресечению самыми строгими мерами. В Тверь прибыла комиссия генерала Н. Н. Анненкова с особыми полномочиями и ордером на арест, среди подписавших заявление были А. Упковский, А. Европеус, Н. и А. Бакувнин, А. Неведомский, А. Кудрявцев я др.
{171} Автор называет прокламации, написанные людьми из круга Н. Г. Чернышевского. Прокламация «Барским крестьянам с их доброжелателей поклон» написана самим Чернышевским; Н. В. Шелгунову принадлежат прокламации «К солдатам» и «К молодому поколению» (Лемке М. Политические процессы в России 1860-х гг. М., 1923, с. 62 — 80).
{172} Пожары в Петербурге начались 26 мая 1863 г.: загорелся и на протяжении нескольких дней горел Апраксин двор и окружающие его строения. «Власти совершенно потеряли г< лову. Во всем Петербурге не было тогда ни одной паровой пожарной трубы» (Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 196R, с. 166).
{173} Д.Каракозов выстрелил в Александра II, но промахнулся, потому что находившийся рядом костромской крестьянин О. И. Комиссаров ударил его по руке и тем самым спас царя, за что был щедро награжден.
{174} Русский народный гимн. Слова В. А. Жуковского, музыка А. Ф. Львова.
{175} Ишутин Николай Андреевич (1840 — 1879) — революционер-разночинец 1860 гг., двоюродный брат Д. В. Каракозова.

{176} После отмены смертного приговора Н. А. Ишутин заключен в Шлиссельбургскую крепость, в феврале 1868 г. уже душевнобольным отправлен в Сибирь, умер на Каре.
{177} Михаил (Михай) Александрович Зичи (1827 — 1906) — венгерский рисовальщик и живописец; с 1847 г. в Петербурге; в царствование Александра II долгое время был придворным живописцем.
{178} Сад Донасьен-Альфонс (литературное имя Маркиз де Сад; 1740 — 1814) — французский порнографический писатель.
{179} Дворец правосудия (фр.).
{180} Трепов Федор Федорович (1812 — 1889) — генерал-адъютант, петербургский градоначальник (1873 — 1878 гг.), известный жестоким обращением с политическими заключенными. В. И. Засулич в него стреляла 24 января 1878 г. Суд присяжных (председателем Петербургского окружного суда в то время был А. Ф. Кони) вынес Засулич оправдательный приговор; она выехала за рубеж, где и продолжала свою революционную деятельность, став одним из организаторов группы «Освобождение труда».
{181} Мезенцов Николай Владимирович (1827 — 1878) — шеф жандармов; убит 4 августа 1878 г. С. М. Кравчинским (Степняком).
{182} Императрица Мария Александровна скончалась 22 мая 1880 г.
{183} Речь идет о террористическом акте, совершенном в Зимнем дворце Степаном Халтуриным, в феврале 1880 г.
{184} А. И. Желябов (1851 — 1881), готовивший покушение на Александра II, был арестован 27 февраля 1881 г. и на вопрос о занятиях заявил, что служит «для освобождения родины».
{185} Первую бомбу, которая только повредила карету Александра II, метнул Н. И. Рысаков.
{186} Вторая бомба, взрывом которой Александр II был смертельно ранен, брошена И. И. Гриневицким (1856 — 1881).

{187} Александр III родился 26 февраля 1845 г.; 36 лет ему исполнилось за два дня до покушения на Александра П.
{188} Екатерина Михайловна (1827 — 1894) — великая княгиня, дочь великого князя Михаила Павловича, внучка Павла I, в замужестве герцогиня Мекленбург-Стрелицкая.
{189} Боткин Сергей Петрович (1832 — 1889) — выдающийся врач-терапевт, ученый-материалист, с 1873 г. — почетный лейб-медик.
{190} Александр II скончался в своем кабинете в Зимнем дворце, куда он был доставлен с места покушения, в 15 часов 35 минут 1 марта 1881 г. При кончине императора присутствовали врачи, наследник престола великий князь Александр Александрович, его жена великая княгиня Мария Федоровна, братья великие князья Владимир и Михаил Александровичи, все другие члены царской семьи, министры, высшие государственные сановники, военные и гражданские чины, придворные.
{191} Исполнительный комитет «Народной воли» представлял собою законспирированную группу занимавшуюся организацией и осуществлением террористических актов.
{192} Построенная по типу крепостей Себастиана Вобана (1633 — 1707), знаменитого французского маршала и строителя военных укреплений.
{193} После убийства Александра II Гатчина стала главной резиденцией его преемника.
{194} Николай Александрович (1843 — 1865) — великий князь, старший сын Александра II, наследник престола. Умер в Ницце 12 апреля 1865 г. от туберкулеза.
{195} Грот Яков Карлович (1812 — 1893) — академик, лингвист и историк литературы; с 1852 г. преподавал русский и немецкий языки, историю и географию великим князьям Николаю и Александру Александровичам.
{196} Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825 — 1888) — граф, виднейший государственный деятель эпохи Александра

II. В феврале 1880 г. назначен начальником Верховной распорядительной комиссии, учрежденной в связи со сложившейся в стране революционной ситуацией, став фактическими диктатором России. В 1880 — 1881 гг. министр внутренних дел и шеф жандармов. Борясь с революционным движением, Лорис-Меликов в то же время допускал возможность сотрудничества с оппозиционно-прогрессивными кругами общества.
{197} Третьего марта 1881 г. полиция произвела обыск на конспиративной квартире на Тележной улице в Петербурге, которую содержали Н. А. Саблин и Г. М. Гельфман. Во время обыска Н. А. Саблин застрелился, а Г. М. Гельфман была арестована и приговорена к смертной казни, которая в июле того же года ввиду предстоящих родов была заменена каторжными работами.
{198} Березовский Антон Иосифович (1847 — ?) — поляк, участник восстания 1863 г.; жил в Париже; 6 июня 1867 г. стрелял в Александра II; приговорен к пожизненной каторге.
{199} М. Т. Лорис-Меликов обладал искусством маскировать борьбу с революционным движением либеральной фразеологией, давая туманные и неопределенные посулы реформ и обещания привлечь представителей земств и городских дум и участию в разработке государственных законов (так называемая конституция Лорис-Меликова).
{200} Долгорукая Екатерина Михайловна (1847 — 1922) — в 1880 г. морганатическая жена Александра II (5 декабря 1880 Л высочайшим указом ей присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской).
{201} Гольденберг А. Д. (1855 — ?) примыкал к крайним террористам. Арестованный в ноябре 1879 г., был подвергнут особым методам психологического воздействия, в результате которых дал обширные показания, назвав 143 члена революционных организаций. Осознав размеры предательства, 15 июня повесился («Народная воля» и

«Черный передел». Воспоминания участников революционного движения. Л., 1989, с. 335-336).
{202} Малиновская Александра Николаевна (1849 — 1891) — художница; ее квартира в Петербурге служила конспиративным центром землевольцев; арестована в 1878 г.; приговорена к ссылке в Тобольскую губернию; во время заключения в Петропавловской крепости неоднократно покушалась на самоубийство; в 1880-м переведена в Казанскую психиатрическую больницу (Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1930, с. 417).
{203} Предполагая устроить взрыв на улице, по которой чаще всего ездил Александр II, народовольцы сняли помещение в доме Менгдена на Малой Садовой, где должны были открыть сырную лавку. Исполнительный комитет поручил содержание лавки А. В. Якимовой и Ю. Н. Богдановичу, которые и поселились там в январе 1881 г. под видом супругов Кобозевых.
{204} В тот же день Александр III писал Победоносцеву: «Благодарю от всей души за душевное письмо, которое вполне разделяю» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты, т. 1. М. — Пг., 1923, с. 44. Названное издание Г. И. Чулков обильно использовал в главе об Александре III).
{205} Николай Николаевич старший (1831 — 1891) — великий князь, дядя Александра III, сын Николая I, генерал-фельдмаршал, занимавшийся в Государственном совете военными делами.
{206} Генеральные штаты (фр.).
{207} Либеральные предложения Лорис-Меликова были абсолютно неприемлемы для правящей бюрократической верхушки, и их обсуждение в Государственном совете окончилось полным провалом. В августе 1881 г. Лорис-Меликов вынужден был уйти в отставку.
{208} После объявления крестьянской реформы во второй половине мая 1861 г. Александр II с семьей выехал в Москву,

где провел три недели (Татищев С. С. Император Александр II, т. 1, с. 392 — 393).

{209} Фреденсборг — замок в Дании, осенняя резиденция датской королевской фамилии. Построен в 1720 г.

{210} Мария Федоровна (1847 — 1928) — жена Александра III, до бракосочетания в 1866 г. принцесса Мария-София-Фридерика-Дагмара, дочь датского короля Христиана IX.

{211} Граф А. В. Олсуфьев был начальником канцелярии императорской главной квартиры; А. А. Половцов служил государственным секретарем (с 1883 г.) и был учредителем Императорского русского исторического общества, автором известных дневников, содержащих множество сведений о жизни правящих кругов России в 1880-е гг.; принц А.П.Ольденбургский командовал гвардейским корпусом.

{212} У Александра III было три сына и две дочери: Николай (р. 1868), Георгий (р. 1871), Ксения (р. 1875), Михаил (р. 1878), Ольга (р. 1882).

{213} Шереметев Сергей Александрович (1836 — 1896) — генерал-адъютант, помощник главноначальствующего гражданской частью на Кавказе. Государственный секретарь А. А. Половцов характеризовал его как «весьма умного и на месте находящегося человека» (Дневник государственного секретаря А. А. Половцова, т. П. М., 1966, с. 453).

{214} Выступление В. С. Соловьева результатов не имело, кроме того что по докладу Лорис-Меликова В. С. Соловьев был отстранен от публичных лекций. Предвидя расправу над участниками покушения, Л. Н. Толстой обратился с письмом к Александру III и просил его простить не только цареубийц, но и всех государственных преступников (Волк С. С. Народная воля. М, — Л., 1966, с. 119).

{215} Игнатьев Николай Павлович (1832 — 1908) — граф, в 1881 — 1882 гг. министр внутренних дел, продолжавший осуществление программы Лорис-Меликова преимущественно в той ее части, которая касалась крестьянского вопроса. В мае 1882 г. уволен в отставку.

{216} Толстой Дмитрий Андреевич (1823 — 1889) — граф, реакционный политический деятель; прокурор Синода (1865 — 1880 гг.), министр народного просвещения (1866 — 1880 гг.), министр внутренних дел (1882 — 1889 гг.), шеф жандармов, руководитель разработки «контрреформ», инициатор закрытия журнала «Отечественные записки».
{217} Мещерский Владимир Петрович (1839 — 1914) — князь, писатель и публицист, выступавший не только против революционного движения, по и против либеральных реформ; Слизкий к придворным и правительственным кругам; издатель «Гражданина», проповедовавшего незыблемость самодержавия и отрицавшего возможность в России всяких прогрессивных преобразований.
{218} Катков Михаил Никифорович (1818 — 1887) — публицист, издатель журнала «Русский вестник»; в 1880 г. — апологет реакционной правительственной политики, один из вдохновителей «контрреформ».
{219} Имеется в виду брошюра товарища обер-прокурора Синода Я. П. Смирнова «Современное состояние наших финансов, причины упадка их и средства к улучшению нашего государственного хозяйства» (СПб., 1885), в которой автор с реакционных позиций критикует реформы Александра II, усматривая в них причину тяжелого финансового положения страны.
{220} Расследованием обстоятельств крушения царского поезда занимался знаменитый юрист А. Ф. Кони. Результаты расследования им изложены в специальной обстоятельной статье, в которой отмечается, что причиной крушения стали серьезные нарушения технически-эксплуатационного характера (Кони А. Ф. Собрание сочинений, т. 1. М., 1966, с. 420 — 495).
{221} Черевин Петр Александрович (1837 — 1896) — генерал-адъютант, в 1880 — 1883 гг. товарищ министра внутренних дел, начальник охраны Александра III.

{222} Боголюбов Алексей Петрович (1824 — 1896) — внук А. Н. Радищева, художник-передвижник, основатель Музея русского искусства в Саратове и школы живописи, названной его именем, автор «Воспоминаний» (СПб., 1895).

Содержание

Примечания